

Сергей Хазов-Кассиа

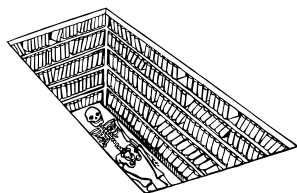
Другое детство



Kolonna Publications
МИТИН журнал

Москва, 2017

ББК 84(2рос=рус)6



С. А. Хазов-Кассиа

Другое детство / Сергей Хазов-Кассиа. — Kolonna publications, 2017. — 388 с.

ISBN 978-5-98144-188-2

«Другое детство» — роман о гомосексуальном подростке, взрослеющем в условиях непонимания близких, одиночества и невозможности поделиться с кем бы то ни было своими переживаниями. Мы наблюдаем за формированием его характера, начиная с восьмилетнего возраста и заканчивая выпускным классом. Трудности взаимоотношений с матерью и друзьями, первая любовь — обычные подростковые проблемы осложняются его непохожестью на других. Ему придётся многим пожертвовать, прежде чем получится вырваться из узкого ленинградского социума к другой жизни, в которой есть надежда на понимание.

«Мать» — взгляд на ту же проблему с другой стороны, исповедь матери, узнавшей об ориентации её сына-подростка. Неспособность понять, желание настоять на своём, изменить природу ребёнка, пусть даже в ущерб ему самому, приводят к трагедии.

© С. А. Хазов-Кассиа, 2014

© И. В. Павликова, 2014

Содержание

Другое детство	
История 1. Знакомство	9
История 2. Любовь	115
История 3. Имя	231
Эпилог	346
Мать	351

À Philippe

Другое детство

История 1. Знакомство

Вообще-то, даже если учесть, что лето закончилось, первое сентября — не такой уж плохой день. Идёшь в школу, но учиться не нужно. Несёшь огромный букет гладиолусов, все на тебя смотрят и умиляются. Потом постоишь немного на линейке и возвращаешься домой, где мама с бабулей наготовили салатов, пожарили куру, купили лимонада и пирожных. Если не думать о том, что завтра снова в школу, но уже взаправду, можно оставаться в хорошем настроении до самого вечера.

Став старше, я перестал ходить в школу первого сентября. Гладиолусы куда-то исчезли, лимонад и пирожные меня не интересовали, а салаты и курица вызывали изжогу при одной лишь мысли о семейном торжестве. Но поначалу это был всамделишный праздник.

Если представить себе дремучий лес многоэтажек, в котором по велению городского архитектора появилась поляна, то на такой вот поляне и стояла наша школа. Из окон тёти Лены она походила на букву Н, одна перекладка была чуть ниже — меньше этажей. В низкой части находились фойе, столовка, спортзал и актовый зал, а в высокой — классы. Торжественные линейки проводили в спортзале. По такому случаю в нём открывалась маленькая дверь, ведущая прямо на улицу, позволяя миновать раздевалки, откуда не очень-то приятно пахло.

Самое главное было улизнуть с линейки первым, особенно если пришёл без родителей. И тем более если Пень, Миха и остальная компания тоже без родственников, а эти никогда никого не приводили даже на школьные спектакли. Выскользнув из сине-бело-коричневой толпы, можно незаметно обогнуть угол школы, пробежать до ближайших высоток и потом уже спокойно идти домой. Получался небольшой крюк, но всё лучше, чем пересекать футбольное поле, где ты как на ладони маячишь телебашней — каким был маленьким ни хотел казаться и как бы быстро ни шёл.

Это был непростой манёвр. Нужно пробиться к классной сквозь толпу и вручить ей букет, что не всегда получалось сделать быстро. Вернее, никогда не получалось, потому что классная всё с кем-то говорила, жеманно улыбалась, принимала другие цветы и как нарочно даже не смотрела на мои гладиолусы. И когда, наконец, я дожидался своей очереди, шанс незаметно улизнуть был упущен.

Так произошло и на этот раз. Разделавшись с букетом, я прокрался к выходу, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Двери школы были открыты, и терпкий осенний воздух, какой бывает в нашем городе только в начале сентября, выплеснул в лицо запах умирающих листьев и предстоящих дождей. Ещё стояло лето, но оно шептало, что нам всем недолго осталось греться в тёплых лучах балтийского солнца и скоро придётся надеть куртки, достать зонтики и надолго забыть о каникулах.

Я вдохнул летне-осенний воздух и, втянув голову в плечи, направился к тому углу школы, где летом старшеклассники играли в теннис, колотя мячом о стену, за которой открывался путь к свободе. Но, обогнув спасительный угол, я почувствовал толчок в правое плечо. Я не обернулся, не сомневаясь — толкнувший стоит слева. Я уже изучил все их «шутки» и знал: главное — не реагировать. Мне в принципе было даже

не интересно, кому из них сегодня стало скучно и кто решил, что поиздеваться надо мной — лучшее развлечение. Выбор, впрочем, невелик. Меня ещё раз ударили и засмеялись. Пень. И Миха с Длинным из «В» класса. Я продолжал идти как ни в чём не бывало. Вернее, старался идти: это не просто, когда тебя то и дело подпихивают.

— Эй, мудик, ты куда направился?

— Слышь, Миха, откуда он притащил такие огромные гладиолусы выше него самого?

— А у него мамочка их выращивает в ванной, поэтому мудик так воняет, правда, мудик?

Мудик. Что-то новое. Шпендик, шибздик, сифа, говник (от говна на палке, конечно) — это всё мы проходили. Видимо, за лето мои одноклассники набрались новых вариантов, к которым нужно привыкать. Непонятно только, откуда это взялось. Соседка по даче как-то кричала своему мужу: «Хозяйство вести — не мудями трясти!» Я тогда так и не выяснил, что это такое — муди. Может, сиськи? Сосед был очень толстым. Но у меня-то никаких сисек нет...

Тут Миха толкнул особенно сильно, я споткнулся о ребрик и рухнул в траву. Дождей давно не было, и газоны стояли сухие. А жаль. Иначе все увидели бы меня по уши в грязи и отвязались. Но раз всё относительно чисто, я не заслуживал поблажек.

— Слышь, ты, муда, хоть бы к школе помылся, а то даже училка после линейки сказала, воняет, мол, как в тубзике.

Это была неправда, конечно, — я мылся вчера перед сном, как и всегда перед первым сентября.

— Может, нам его помыть, ребзя, чтобы в школу ходить нормально?

Дело принимало опасный оборот. Миха и Длинный из «В» схватили меня подмышки, Пень — за ноги, и поволокли к канаве, огибавшей футбольное поле. Я заметил, что у меня

порвалась брючина на коленке, вот мама будет теперь ругаться. Новые брюки ведь, только купили.

Я делал вид, что сопротивляюсь, хотя знал — бесполезно. Я и с одним-то из них не справился бы, что уж говорить, когда их трое. Меня донесли до канавы и под весёлый гогот бросили в неё. Я упал спиной на что-то твёрдое, наверное бутылку, ноги увязли в осенней слизи из размокших сигаретных пачек, прошлогодних листьев и прочего мусора. Попытался подняться на локтях, но они залипли в грязи, это ещё больше раззадорило всю компанию. Наконец, им наскучило, и они ушли, смеясь над тем, как смешно я пытался выкарабкаться из своей «ванны».

Выбравшись из канавы, я побрёл в сторону дома короткой дорогой через футбольное поле. Теперь бояться было нечего. Даже если мне встретятся старшекласники, которые захотят надо мной посмеяться, — плевать, никто не сможет сделать больше, чем вывалить меня в канаве первого сентября.

Самое неприятное ждало впереди. Сейчас мама всплещёт руками, вскрикнет и начнёт причитать. Это всё я тоже знал наизусть. «Господи, да что ж такое-то? Да сколько же можно, ты что, издеваешься надо мной? (Тут я никогда не мог понять, к кому она обращается — ко мне или к богу.) Что же за наказание такое? Только купили новые брюки, я деньги, что ли, печатаю, чтобы каждый день форму покупать? Нет, ну это же надо! Ты специально, что ли, делаешь это всё? Специально, я тебя спрашиваю? Отвечай, когда с тобой разговаривают, смотри мне в глаза. Зачем ты это сделал? Боже, когда закончится это всё, невозможно же так! У всех дети как дети, а у меня одной такое наказание». И так далее.

Хорошо ещё, если без затрецин, хотя без них, наверное, не обойдётся. А потом заставят стирать и гладить испачканную форму, не дадут торта, и всё это время мама будет

ходить по квартире и ругаться. Вечером, конечно, поуспокоится, а бабуля даст-таки вкусный кусочек перед сном. Но праздника не будет.

Можно, правда, проскользнуть невидимкой через коридор в свою комнату и быстро переодеться. Позже мама всё равно найдёт грязную и порванную форму, но уже после обеда. Торт будет съеден, и до конца дня останется совсем немного. Но это если повезёт, и мама с бабулей стряпают на кухне и не услышат, как откроется входная дверь.

Разрабатывая план незаметного проникновения, я дошёл до дома, поднялся, осторожно открыл дверь квартиры и оказался в коридоре. В нос ударил запах жареной курицы. Я подумал, что это почти как день рождения или Новый год, только без подарков. Ну, если не считать подарком новый портфель, без которого было не обойтись и который мне вовсе не нравился. Слишком большой: такой в пору профессору в университете или доктору в больнице. А красный кожаный пенал так и не купили, придётся ходить со старым деревянным. Впрочем, может, оно и к лучшему: всё равно у меня нет десятка разноцветных ручек и фломастеров, чтобы разложить их по всем отделениям. В деревянный положишь одну ручку и пару карандашей — и он уже полон.

В коридоре оказалось пусто. Повезло. Надо теперь быть тихим и быстрым. Как придворные в покоях спящего короля. Я осторожно снял ботинки и, стараясь ступать бесшумно, пошёл к своей комнате.

«Артём», — окликнула мама из зала своим показательно-любящим голосом. Значит, у нас гости.

У мамы было несколько интонаций для моего имени. Первая — раздражённо-наказательная. Это если я забывал поднять стульчак, и она звала меня, чтобы указать на всю глубину моего падения, упрекнуть в негигиеничности и попросить вымыть туалет. При звуках этого её голоса никогда

нельзя быть уверенным, что именно случилось, — если только я сам заранее не знал, в чем виноват.

Вторая — вопросительно-требовательная. Если нужно вынести мусор или почистить картошку для супа. Чаще всего такая интонация означала одно: надо немедленно всё бросить и спешить помогать маме. Здесь самое неприятное заключалось в невозможности предугадать, сколько времени потребует выполнение её просьбы и когда я вернусь к игрушкам или урокам.

Она умела по-разному звать меня — к обеденному столу или если я слишком далеко отходил от неё в магазине.

Существовала ещё одна интонация, которая мне доставалась нечасто, заставлявшая по-особенному сжиматься сердце так, что хотелось зарыться маме в подмышку и там заплакать. Её следовало заслужить — например, смастерить что-нибудь на уроках труда. Выпилить деревянное сердце из фанеры и выжечь на нём специальным прибором «С днём рождения, мама». И тогда она могла неожиданно ласково посмотреть и произнести моё имя с этой интонацией. Но мы уже давно ничего такого в школе не делали, так что повода для этой доброты не было.

Показательно-любящий тон стопроцентно означал — у нас гости.

Меня не очень прельщала перспектива предстать перед гостями в растерзанном виде, хотя в этом была и своя положительная сторона — по крайней мере, затрещину получу не сейчас. Дорога в большую комнату показалась бесконечной. Ноги налились такой тяжестью, что я их с трудом передвигал, думая, что следующий шаг станет последним, и я вот-вот упаду на каменные плиты замка. Но нет, надо идти — в большой зале ждала судебная комиссия, которая вынесет решение по делу о моём падении. Ещё теплилась надежда, что про меня забудут и удастся незаметно свернуть в мою комнату

и быстро переодеться, — но она вдребезги разлетелась от нового окрика: «Артём, ну где ты там?!»

Я вошёл — и оторопел. За столом с бабулей и мамой сидел мужчина. Само по себе обстоятельство это не было удивительным. Мужчины появлялись в нашем доме не так уж редко. Одни приходили, исчезали, потом снова возвращались. Другие ненадолго задерживались, затем уходили в никуда. Они были разными, но все казались похожими друг на друга, словно братья. При знакомстве со мной пытались поддержать беседу, задавали одни и те же вопросы: как дела в школе, много ли друзей, хорошие ли оценки и кем я хочу стать. Приходилось бурчать под нос, что дела нормально, друзей нет, спасибо, четвёрки, и я не знаю, кем хочу стать. Я вёл себя не слишком любезно, чем, впрочем, подтверждал репутацию робкого мальчика, предпочитающего одиночество. Обычно после первого разговора они ограничивались рукопожатием и вопросом «как дела?», который не предполагал ответа.

В общем, моё сегодняшнее удивление объяснялось не тем, что первого сентября у нас в гостях был новый мужчина, а тем, что он сильно отличался от остальных. Он был большим. Похожим на строителя. Или нет, на боксёра. Из-под водолазки выпирали огромные мускулы, на широких плечах сидела большая голова с коротко стриженными русыми волосами. Шея была такой массивной, что, наверное, потребовалось бы пять моих ладоней, чтобы её охватить. Черты лица тоже были какими-то объёмными, широкими, как у русского богатыря с картины Васнецова из учебника истории. Широко посаженные голубые глаза, большой нос, полные губы — всё создавало образ открытый и притягательный.

Он расположился на трёх четвертях стола, где могли поместиться две такие семьи, как наша, заполнив собой эту большую, такую маленькую для него комнату, а также всю квартиру. Локти на столе, голова повернута в мою сторону.

Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и как будто готов был рассмеяться, потому что я глядел на него с нескрываемым удивлением. Я забыл о порванной брючине и грязной форме.

«Что опять случилось?» — мой вид был настолько ужасающим, что мама с трудом справлялась с раздражением, несмотря на присутствие гостя. «Упал», — пробормотал я. «Артём, иди переоденься, и за стол» — снова показательно-любящий тон, в котором только я мог уловить грядущую бурю.

Я ушёл к себе. В своей комнате я чувствовал какую-то защищённость, даже если учесть, что двери всегда были открыты, да и мама могла прийти в любой момент. Это была небольшая длинная узкая комната, размеры которой сильно сокращала стоявшая в ней мебель. Дверь находилась в торце прямоугольника, напротив окна, выходявшего на большой проспект, по нему днём и ночью гроыхали трамваи. К ним, впрочем, все привыкли и не обращали внимания. Рядом с входом стоял коричневый платяной шкаф, где лежало бельё и моя одежда, а сверху — игрушки, книги и ещё масса вещей, которые никто не доставал уже долгие годы. Между шкафом и окном образовывался узкий проход, с одной его стороны — софа, а с другой — секретер. Это была странная мебель, такую я ни у кого больше не видел.

Софа представляла собой конструкцию из фанеры с выдвижным ящиком и шестью продавленными от времени зелёными подушками: три лежали плашмя и три прислонялись к стене. Она могла раскладываться и становилась достаточно широкой, но тогда загромождала всю комнату.

Секретер был тоже большой, основную его часть занимали книжные полки с расставленными по цвету и размеру книгами. С одной стороны откидывалась доска, превращавшаяся в длинный и очень удобный письменный стол. Внутри имелись три полки с аккуратно разложенными тетрадами

и учебниками. На полу лежала красная ковровая дорожка с тёмно-зелёными полосками по краям, ковер висел и над софой. На окне стояли цветы, а единственный незанятый мебелью участок стены был оклеен фотообоями с изображением реки, протекавшей по осеннему сосновому бору.

Эта комната навсегда осталась такой, даже спустя многие годы. Никогда в ней не появятся ни плакаты с рок-звездами, ни теннисные ракетки, ни велосипед, ничто другое, что могло бы сообщить: здесь живёт ребёнок или подросток. Но ещё было далеко до тех времён, когда она начала вызывать раздражение и, более того, ненависть. Сейчас она моя, пусть даже всё, отличавшее её от других комнат, запрятано по полкам и углам и хранится в строжайшем секрете от взрослых.

Переодеваться я не спешил. С одной стороны, хорошо, что мы обедаем не одни, не исключено, что тогда мне и вовсе удастся избежать взбучки. Особенно если Боксёр останется на ночь. Тогда мама немного поругает меня завтра, но это совсем другое дело. Ну и брючину придётся зашить, иначе не в чем идти в школу. Но и уйди он вечером — обычного скандала уже не получится. С другой стороны, я чувствовал: к вечным темам про школьных друзей и оценки прибавятся ещё и расспросы о сегодняшнем происшествии, если, конечно, он не поверит в историю о падении.

Я растянул время, насколько возможно, вернулся в большую комнату и сел за стол. «Артём, это дядя Саша», — сказала мама. Дядя Саша протянул огромную руку, моя ладонь скрылась в ней, как в пещере. Хорошо ещё, что в отличие от других маминых друзей он не стал жать мне руку до хруста, а бережно подержал её пару секунд и отпустил. Мама щебетала что-то по поводу еды — пора, мол, за неё приниматься, иначе кура совсем остынет. Весь обед я просидел молча. Как ни странно, вопросов про оценки не последовало. Боксёр иногда посматривал на меня и улыбался то ли мне, то ли

маме, предлагавшей ему ещё салата. Бабуля сидела с явно недовольным видом, вряд ли вызванным моей испачканной формой, что не мешало ей играть роль первой хозяйки.

— Доча, ну ты вот ещё винегрета Александру не предложила.

— Мама, я всё положила, Саша просто уже не хочет винегрета.

— Исключительно ради вас, Софья Константиновна!

Впрочем, ей надо было уезжать на дачу на пятичасовой электричке.

Посреди обеда Боксёр вышел в коридор и вернулся через пару минут с какой-то коричневой коробкой в руках. Он раскрыл чехол и вынул из него настоящий фотоаппарат. Я видел такой только в кино, ни у кого из моих друзей фотоаппаратов отродясь не бывало.

— Ну что, семейный портрет на память? — весело спросил он.

Мы с мамой сели напротив фотообоев, бабуля участвовать отказалась: «Ну ладно, меня-то что снимать, старую калошу». Он сделал несколько снимков нас с мамой вместе, потом меня одного, но фотосессия на этом не закончилась — после обеда мама хотела ещё пофотографироваться в разных платьях.

Я решил быть послушным ребёнком и не убегать из-за стола сразу, маме это никогда не нравилось. Подумал, что таким образом будет легче получить индульгенцию за форму, хотя знал — план может и не сработать. Всё теперь зависело от Боксёра и его фотоаппарата.

После обеда мама с бабулей отнесли грязную посуду на кухню и занялись пирогом (тоже редкий случай, обычно мама покупала торт или пирожные в универсаме). Я остался с Боксёром наедине и собирался уже соскользнуть под стол, чтобы незаметно уйти, но тут он огорошил вопросом:

— Из-за чего подрался-то, команчи?

Я замер. Во-первых, никто меня раньше не называл «команчей», к тому же я слабо представлял, что это такое. Что-то индейское. Но интриги при французском королевском дворе интересовали меня куда больше, чем войны с бледнолицыми. А самое главное — никто никогда не делал предположений, что я с кем-то подрался. Более того, я не дрался ни разу в жизни и даже не мог представить себя в такой роли. Это был вопрос про какого-то другого мальчика. В общем, я растерялся и не знал, как реагировать. Мой собственный ответ удивил меня ещё больше. Ни с того ни с сего я выложил незнакомцу правду:

— Я не подрался, меня побили.

— Почему?

— Потому что я самый слабый в классе.

— Ну ты, брат, даёшь. Почему же самый слабый? Не можешь дать им сдачи? Надо с ними разобраться хорошенько.

Это было уже слишком. Я представил себе, как Боксёр разберётся с Михой и Пнём, и чем потом всё для меня обернётся. Самое лучшее сейчас просто убежать в комнату, но я не мог пошевелиться, загипнотизированный его прямым взглядом.

— Хочешь, схожу завтра с тобой в школу, поговорю с ними?

— Нет.

— Боишься их?

— Нет.

— А что же тогда?

— Не знаю. Не нужно никуда ходить.

— Ну ладно, посмотрим, что можно сделать.

— А когда будут готовы фотографии? — спросил я, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Нужно их проявить. Хочешь, вместе займёмся? Только надо реактивы и лампу принести.

Ничего себе предложение! Конечно, я хотел проявлять фотографии вместе с ним! Было в этом даже что-то шпионское и потому захватывающее.

— Ну, давай на выходных попробуем, у меня раньше времени не будет.

В комнату вернулась мама с пирогом и чайным сервизом. К школе больше не возвращались, но я чувствовал: тема не закрыта. Во мне была надежда, что обещание «что-нибудь сделать» только дань вежливости, но где-то глубоко в душе догадывался — Боксёр говорил искренно.

Вечером я лежал на большой кровати с балдахином в неприступной башне своего замка, вддали от утомительных церемоний. Я был молодой королевой, которой удалось сбежать от придворных. Я ни в ком не нуждался и сам никому не был нужен. Обо мне все забыли, потому что я сам так захотел. За окном шумел осенний лес, сентябрьский ветер яростно срывал с деревьев ещё зелёные листья. Ветер знал — ему не удастся изменить мир за одну ночь и ещё потребуется много-много ночей, чтобы земля стала по-настоящему унылой и голой. Но он уже приступил к своей безрадостной работе. Иногда мимо скакали кавалькады припозднившихся охотников, или это был поздний трамвай. Я дышал запахом чистого белья и время от времени ворочал головой, чтобы лишний раз почувствовать хруст выглаженной наволочки.

Я думал о произошедшем сегодня за обедом. В сущности, ничего особенного. Если завтра Боксёр забудет о моём существовании, как о нём забывали все остальные после первого же разговора, всё встанет на свои места. Жаль только, что фотографии вместе не проявим. Завтра надо идти в школу, писать в тетрадях, скучать на переменах... Новый учебный год начался так, как начинались все предыдущие и как будут начинаться все следующие долгие учебные годы.

С утра мне нужно было ко второму уроку, математичка заболела. Это очень хорошо, потому что надёжно страховало от утренней встречи с мамой и Боксёром. Мама и так обычно уходила из дома раньше меня, работая на другом конце горо-

да, а если уж вставать ко второму, то даже если она проспит, у нас нет шансов пересечься. Ну и, конечно, она не оставит в квартире его одного.

Я потянулся, прижался всем телом к чистому белью и подумал: молодой королеве не пристало думать ночью о таких глупостях, как Боксёры и школа. Лучше помечтать о своём короле. Но никакого короля не было, и я решил — буду одинокой молодой королевой, лежащей в огромной спальне посреди лесов, полей и холмов, простирающихся вокруг замка на много миль, так что и самому настойчивому всаднику никогда сюда не доскакать. Но он скачет и скачет, этот всадник на сером в яблоках коне. Я вдруг увидел, что всадник похож на Боксёра, и он гонится за Михой и Пнём, но никак не может их догнать — ведь они давно спрятались в канаве. И конь уже в мыле, и всадник устал, но он знает, что должен догнать врагов своей королевы, а вокруг него кружатся холмы, ветер срывает листья, хлещет в лицо ветками деревьев, но он скачет и скачет и скачет...

Электрический будильник, моя гордость, заставил меня вылезти из-под одеяла, в пятый раз нажать на кнопку и, наконец, встать. Как я и ожидал, квартира была пуста. Я быстро оделся, решил не чистить зубы — вчера чистил их дважды, выпил чаю с бутербродами и был готов к выходу. Оставалась ещё одна деталь. Портфель. Он был огромный. Если держать его в вытянутой руке, он почти касался пола, так что приходилось всё время немного сгибать руку в локте. Внутри поместились бы все мои учебники вместе взятые, хотя тогда, наверное, я не смог бы его поднять. Мама, конечно, гордилась своей покупкой и уверяла, что вся школа будет мне завидовать — ведь ни у кого нет портфеля из такого качественного кожзама! Она оказалась в чём-то права.

Мои одноклассники уже не первый год ходили с рюкзаками, которые непременно носили на одном плече, чтобы эффективно снимать их и бросать на парту перед началом урока. Я и думать боялся о том, какой фурор вызовет среди школьной общественности мой портфель и сколько потребуется времени, чтобы он перестал быть объектом насмешек.

Вчера я «забыл» его дома, это, впрочем, не спасло меня от канавы. Сегодня такой манёвр невозможен, выбора нет. В общем, пришлось взять его и приготовиться делать вид, что портфеля не существует.

Я всегда приходил к самому началу первого урока или даже немного опаздывал, чтобы ни с кем лишней раз не встречаться. Но на сей раз, выйдя на футбольное поле, я разглядел вдалеке знакомые фигуры. Миха, Пень, Длинный, другие ребята из их компании и... Боксёр! Я хотел ретироваться, но было слишком поздно: они заметили меня и повернулись в мою сторону. Пришлось пересечь поле со своим нелепым портфелем. Я старался двигаться очень медленно, надеясь, что это мираж и вся компания исчезнет, пока я буду идти. Но они не исчезали, а, наоборот, становились всё ближе. Я не мог обойти их, сделав вид, что не заметил — они расположились у противоположного выхода с поля. Боксёр расправил свои огромные плечи, как будто собирался взмахнуть крыльями и взлететь, а вся компания стояла перед ним — ссутулившись, с опущенными головами. На их лицах читалось неподдельное раскаяние. Я-то знал — они принимали такое выражение всякий раз, когда приходилось выслушивать нотации взрослых, но от него и следа не оставалось, как только рядом никого не оказывалось.

«Ну, ребята, значит, договорились?» — спросил Боксёр, и все хором что-то промычали в ответ в знак согласия. Подойдя, я пропищал «здравствуйте» Боксёру, проигнорировав остальных. Он ответил: «Доброе утро, Артём». Потом

закончил разговор с моими мучителями: «Ладно, давайте в школу, и, я надеюсь, нам больше не придётся встречаться».

Все быстро направились к школьному крыльцу, я шёл за ними на почтительном расстоянии. Я не оборачивался, но знал: мой незванный защитник смотрит мне вслед, думая, что сделал сегодня доброе дело. Я приблизился к двери и, не удержавшись, обернулся. Так и есть. Он стоял на том же месте, глядя на меня, и даже приветливо помахал рукой. Я не ответил и зашёл внутрь.

На урок я опоздал, пришлось извиняться. Но математичка не была занудой, как некоторые другие учителя, и просто позволила сесть, не отчитывая. Весь класс был в сборе и глазел на меня, так что достойный дебют моего портфеля состоялся.

Сам процесс обучения меня интересовал мало. Нужно было делать то, что говорят учителя. Одно получалось лучше, другое не получалось вовсе, но я старался по возможности скрывать свои слабые стороны. Мне нравились уроки математики, потому что надо было писать много разных ненужных цифр, и тонкие тетрадки быстро заканчивались. Я испытывал почти садистское удовольствие, выбрасывая старую тетрадь и открывая новую, ей, я знал, скоро предстоит повторить судьбу предшественницы. Я любил уроки русского и литературы — читал много. И хотя мы не проходили тех книг, о которых хотелось говорить, я всё равно любил брать их в библиотеке, перелистывать страницы, потом обсуждать на занятиях или излагать своё мнение в сочинениях. Это была привычная рутина, и она не мешала мне жить. Были только два неприятных момента: перемены и уроки физкультуры.

На переменах полагалось ждать учителя в рекреации. Даже между спаренных уроков нас выгоняли из класса, чтобы мы ничего не разбили. Девчонки играли в скакалки или приставали друг к другу с очередными дневниками, в которых надо было отвечать на интимные вопросы. Мальчики

носились по этажу, а став постарше, бегали за угол школы, и потом от них неприятно пахло сигаретами. Если только никому не приходило в голову поиздеваться надо мной.

Я обычно стоял в углу, стараясь слиться со стеной хамелеоном. После того как Пень отобрал у меня библиотечную книжку, бегал с ней, а потом утопил в туалете, я перестал читать на переменах и просто ждал, когда прозвенит звонок. Если сложить все перемены, которые я провёл у стены, получатся, наверное, годы. Мне не было грустно оттого, что я один и никто не позовёт меня курить или, не дай бог, играть в скакалки. Мне не хотелось этого так же, как и моим одноклассникам. Я бы лучше стал невидимкой, чтобы обо мне все забыли — и учителя, и ученики. Впрочем, я бы с удовольствием читал или сидел за партой, рисуя в тетради: стоять без дела было мучительно скучно. Не получалось даже представлять что-нибудь королевское — слишком уж неудобные поза и обстоятельства. Попробуйте проторчать у стены пять раз в день по 15 минут в течение нескольких месяцев. На вторые сутки у вас пропадёт воображение и вообще способность думать, зато вы приобретёте умение отключаться и смотреть в одну точку.

Когда звенел звонок, все врываются в класс, чтобы быстрее занять лучшие места — подальше от доски. Я заходил одним из последних, потому что не любил толкаться, да и не претендовал на заднюю парту с не самыми приятными соседями. Но по крайней мере был вместе со всеми и не становился предметом всеобщего внимания, как сегодня.

Я прошёл так, будто у меня вовсе нет портфеля, но тем не менее с задних парт раздался характерный звук, в котором угадывался едва сдерживаемый смех, а также проблемы, ожидающие меня на многих и многих грядущих переменах.

Весь урок я думал о том, что Боксёр хотел как лучше, но взрослые часто вмешиваются в нашу жизнь, совсем не

представляя, по каким законам она течёт. Наверное, у них было какое-то другое детство, где старший брат или папа могли вот так пойти разбираться с обидчиками сына, и те навсегда переставали его доставать. Что-то такое встречалось в фильмах про послевоенное время. Не знаю, почему, но я был уверен — эта тактика никогда не сработает с моими одноклассниками, которые слабо подвергались внушению.

Доказательства моим догадкам не заставили себя долго ждать. На первой же перемене ко мне подвалила вся ватага во главе с Пнём.

— Муда, а зачем тебе такой большой портфель? Что ты там носишь? Грязные носки?

— Не обижайте его, а то он побежит ябедничать мамочке.

— Ха, ребзя, а вы видели его мамочку сегодня утром, она такая же огромная, как его портфель!

— А может, это не мамочка, а может, у Муды появился ухажёр, как вы думаете?

— Ага, он не Муда, он на самом деле Пида.

Они валялись по полу от этой шутки. Я стоял, прислонившись к колонне, как будто был здесь один. В голове крутилась квинтэссенция моей гордости и презрения к ним — фраза Пушкина про фрак, на который плюнули сзади и которым должен заниматься лакей. Никакого лакея у меня не было, но я старался относиться к юмору всей этой компании по-пушкински. То есть игнорировать.

Хотя портфель и стал одной из центральных тем перемены, никто не попытался отобрать его у меня, чтобы проверить, нет ли там грязных носков. Возможно, внушение Боксёра всё-таки подействовало, но нельзя было быть уверенным, надолго ли.

Возвращался я короткой дорогой. Миха прогулял последний урок, значит, они пошли к кому-то домой, так что

опасности встретить их не было. Если не считать школы и детского сада, наш район был застроен девяти- и шестнадцатизэтажными домами, стоявшими вдоль улиц и во дворах. Как будто прочерченные по линейке проспекты. Такие же правильные и прямые здания. Даже футбольное поле идеально овальной формы не выбивалось из общей картины. Большие дворы с детскими площадками, где гуляли женщины с колясками, универсам, булочная — всё казалось незыблемым и вечным. Дома были такими громадными и холодными, что я порой боялся поднимать глаза и шёл, смотря в землю и пиная крышку от пивной бутылки. Они должны были бы защищать меня, эти стены, но вместо этого, наоборот, угрожали. В каждом закоулке, куда не доставало солнце, крылось что-то злое и враждебное.

В субботу Боксёр исполнил и второе своё обещание, принеся какие-то порошки, бутылки и лотки для проявки плёнки и печати фотографий. Он начал объяснять мне, что нужно делать. Фиксаж, реактивы, проявители — все эти незнакомые слова завораживали, хотя я мало что понимал. Проявка была невероятно интересным процессом, но печать мне понравилась ещё больше. Боксёр повесил в ванной красный фонарь, и мы заперлись, предупредив маму, чтобы не входила.

Он колдовал над бумагой и плёнкой, попутно объясняя свои действия. Но я ничего не слышал. Мне нравилось просто наблюдать за его чёткими размеренными движениями, сосредоточенным лицом, таким мистическим в красных отсветах. Было немного душно, пахло чем-то химическим и ещё непривычным и терпким — мужским потом, который особенно сильно ощущался, когда мы вместе склонялись над лотком, вытаскивая очередную фотографию.

...Мне хотелось бы, чтобы эти карточки лежали сейчас передо мной — потрогать их, почувствовать подушечками пальцев старую шершавую фотобумагу. Но я не могу этого сделать. Я открываю отсканированные файлы на экране своего компьютера, чтобы посмотреться — и не узнать далёких и почти незнакомых людей.

Вот мальчик с правильными, немного прибалтийскими чертами лица, пухлыми щеками, твёрдым подбородком и очень серьёзными глазами. Карточка черно-белая, но я знаю — глаза у него голубые, особенно при ярком свете. Губы плотно сжаты, как будто что-то рассердило его. Мягкие светлые волосы закрывают лоб, он только что вернулся после летних каникул с дачи, волосы выгорели на солнце, и оттого все пряди разных оттенков. Белая рубашка застёгнута на все пуговицы, на лацкан старого пиджака от школьной формы прикреплён октябрятский значок. Мальчик предпочёл бы быть на этой фотографии в новой форме, но она испачкана, ведь его вывалили в канаве. Он так пристально смотрит на меня, что кажется — сейчас моргнёт, отвернётся и убежит, смущённый тем, что я слишком долго разглядываю его.

Вот несколько фотографий ещё молодой и по-своему красивой женщины. Она очень хочет нравиться тому, кто делает эти снимки. Сидит в короткой юбке, развернувшись к камере в профиль и закинув ногу на ногу. Стоит в облегающем платье с широким лакированным кожаным поясом, прислонившись к стене и по-балетному изогнувшись. Крашенные белые волосы придают её лицу что-то скандинавское, но она слегка полновата, и первое впечатление стирается из-за большой груди и широких бёдер. Она улыбается, чуть склонив голову, — это придаёт её лицу игривое выражение. Карие глаза и тонкие губы подчёркнуты косметикой, но не слишком — не хочет выглядеть вульгарно. Она позирует, но, кажется, не для снимка, а чтобы быть красивой и желанной здесь и сейчас.

Этих людей больше нет, потому что нет ни мыслей, ни чувств, которые владели ими в момент, захваченный плёнкой. Этот мальчик и эта женщина — они исчезли, пропали навсегда, остались в небытии. И мне даже кажется, что вытаскивать на свет эти старые снимки — непростительное кощунство.

Воспитание в нашей семье было весьма однозначным. Если я делал что-то плохое, получал серьёзную взбучку. Не могу сказать, предполагались ли награды за хорошее поведение, — насколько помню, ничего выдающегося я никогда не совершал. Таким образом, система кнута и пряника являлась в ипостаси кнута либо его отсутствия. Мама много работала, большую часть времени я был предоставлен самому себе. Но воспитательно-карательные меры принимались достаточно часто, потому что поводов было предостаточно.

Вторым инструментом была психология. Среди подруг мама считалась хорошим психологом, способным не только найти корень проблемы, но и помочь выйти из замкнутого круга. Не знаю, пользовались ли они её советами, но задушевные беседы случались достаточно часто и длились далеко за полночь. Время от времени испытывать на себе мамины психологические таланты приходилось и мне.

Перед каждой такой беседой мама подзывала меня особой задушевно-психологической интонацией, которая, несмотря на то что я знал, к чему это ведёт, действовала, словно флейта факира на кобру. Я послушно шёл в её комнату и готов был рассказать, о чём бы она ни спросила. Я знал, что за психологическими разговорами никогда не последует взбучка, поэтому страшиться нечего. И тем не менее боялся их, потому что всякий раз рассказывал то, чего не собирался

говорить никому. Иногда я начинал плакать и признавался в самых страшных своих грехах и помыслах. Мама успокаивала меня, на какое-то время становилось легко и хорошо, как, наверное, христианину после исповеди. Только много позже, когда беседа была давно закончена и я сидел один в своей комнате, я начинал вспоминать, в чём покаялся на этот раз, и мне становилось невыносимо горько и обидно. Я снова плакал, теперь в одиночестве, и мне казалось, что несчастнее меня нет мальчика на всём белом свете. Я знал, что рано или поздно мои откровения всплывут, чтоб обратиться против меня, когда будет за что отругать. Но не это было причиной моих слёз. Я чувствовал, что меня открыли, выпотрошили, вычистили, вывернули наизнанку и снова закрыли. Внутри было пусто, я мог часами лежать, уткнувшись в стену, сотни раз повторяя один и тот же рефрен: «Меня никто не любит, меня никто не любит, меня никто не любит...»

В один из выходных после истории с канавой мама позвала меня к себе таким задушевым тоном. Я не представлял, что могло послужить причиной сегодняшней беседы, потому что ничего особенного за последнее время не произошло.

Я остановился на пороге, как будто зашёл на минутку и готов выполнить её поручение, если таковое последует. Я надеялся, что ошибся и беседы не будет. Я мог подмести полы или отутюжить бельё, только бы не пришлось сейчас садиться рядом с ней. Но нет. Она была настроена на психологический лад.

Мама сидела в кресле с видом оракула и курила. Клубы сигаретного дыма придавали ей таинственность и значимость. Она ласково взглянула на меня сквозь сизую завесу и пригласила на соседнее кресло. Главное теперь не встречаться с ней взглядом, иначе она сразу всё поймёт. Я не вполне отдавал себе отчёт, что именно она может узнать, посмотрев мне в глаза, но точно знал, что этого следует избегать.

— Знаешь, Артём, когда мы переехали в эту квартиру, у меня тоже был период, когда мне было одиноко. Я сложно приспособилась к новой школе, казалось, что я никогда не найду друзей. Все уже разбилось на компании, но меня никто не хотел принимать в свою, даже за одной партой отказывались сидеть. Но потом это прошло, и я нашла себе подруг. Вот тётя Света — одна из них. Она теперь второй раз вышла замуж, так что мы общаемся очень редко, ты знаешь, её муж такой сложный человек, но до сих пор я считаю её близким другом. Ведь главное — это просто пережить тёмную полосу, потому что за ней непременно начнётся светлая.

Мама всегда начинала психологические беседы с притчи.

— Ты должен помнить, Артём, самое главное — ты не один, даже если тебе так кажется. У тебя ведь есть я, со мной всегда можно поделиться всем, что тебя тревожит, правда?

— Да, мам.

— Не нужно держать в душе то, что тебя беспокоит, тогда решение проблем обязательно найдётся.

— Да, мам.

— Тебе в школе сейчас непросто, я понимаю. Наверное, одиноко, не с кем поговорить, да?

— Да, мам. Просто у меня нет друзей.

— А тебе не хочется подружиться с кем-то из твоих одноклассников? Может, стоит сделать первый шаг?

— Нет, никто не будет со мной дружить. Я не могу делать первый шаг. Все только смеются надо мной.

— Почему смеются?

— Потому что я самый слабый в классе.

— Ну это ерунда какая-то. Как можно быть самым слабым в классе?! Вы что, силой мерялись? Из чего ты сделал такой вывод?

— Не знаю.

— Почему ты думаешь, что они все сильные, а ты такой слабый? Кто тебе это сказал?

Тут наступил тот момент, когда я перестал контролировать себя, начал плакать и взахлёб говорить всё, что пришло в голову:

— Потому что надо мной все смеются. Меня только обзывают и говорят разные гадости. Со мной никогда никто не захочет дружить, потому что им скучно. Я всегда буду один, как сейчас. Меня в школе все только обижают, потому что я не могу дать сдачи. Они знают, что я самый слабый, и каждый день что-то придумывают. И у меня такой большой портфель, что над ним все смеются, а я ни-ни-че-го, ни-ни-че-го не-не могу сде-ла-а-ать. Я не-не хочу больше ходить в школу-у-у-у, мне там плохо-о-о-о...

Больше я не мог произнести ни слова, хотя многое ещё хотелось рассказать — и про Боксёра, и про канаву, и про свои прозвища. Я сидел в кресле и рыдал. Мама всё курила, смотрела на меня и ждала, пока я успокоюсь.

— Артём. Во-первых, физическая сила — совсем не главное. Главное — сила духовная. Поверь мне, когда ты окончишь школу и станешь взрослым человеком, все эти проблемы покажутся тебе смешными. Надо быть сильным в душе, потому что душевная сила остаётся с нами навсегда, а физическая — нет. Во-вторых, так же как и я, ты не похож на остальных. Я знаю, тяжело быть белой вороной, но от этого никуда не деться. Я уверена, ты просто лучше многих твоих одноклассников, они завидуют тебе, боятся тебя и именно поэтому пытаются внушить, что ты слабее и хуже их. Не поддавайся на эти провокации, Артём. Будь сильным. Нужно уметь быть другим. Вспомни сказку про гадкого утёнка. Важно поверить, что рано или поздно ты найдёшь единомышленников, которые станут твоими друзьями. Но таких людей за всю твою жизнь встретится совсем немного. Подумай сам, почему они должны по-

явиться на твоём пути сегодня, а не завтра или, скажем, через несколько лет. Это так трудно — найти близких по духу людей. Нужно просто уметь ждать и быть достаточно сильным, чтобы справляться с сиюминутными неприятностями.

Её уверенный и спокойный голос заставлял меня плакать ещё сильнее. Мне хотелось раствориться в своём горе, исчезнуть навсегда. Я понимал: всё, что она говорит, не имеет ко мне никакого отношения. У меня никогда не будет друзей и тем более единомышленников. Ведь если есть на свете такие же слабые и неинтересные мальчики, как я (в чём у меня были большие сомнения), они точно так же не решатся сделать первый шаг и заговорить со мной. Мне не хотелось быть белой вороной. Я хотел быть обычным человеком, к которому никто не пристаёт. Гадкий утёнок был на самом деле лебедем, только об этом никто не догадывался. А я просто слабак. Я даже не был уверен, что действительно нуждаюсь в ком-то, мне и одному неплохо. И уж конечно, меня совсем не успокаивали картины будущего, из которого я свысока смотрю на школьную жизнь.

Мало-помалу истерика сошла на нет, я утонул в своём несчастье, навалилась безграничная усталость, хотелось забраться в постель и снова оказаться в неприступной башне замка, куда не проникнут ни мамин голос, ни собственные рыдания. Я готов был согласиться с чем угодно и сделать что угодно, только бы психологический сеанс закончился и мне позволили уйти.

— Да, Артём, важно, чтобы ты понимал — сила не в мускулах, она внутри тебя. Я думаю, тебе не хватает уверенности. Пусть ты не можешь постоять за себя, в этом нет ничего страшного, но прежде всего нужно самому поверить в свои силы. Я тут посоветовалась с дядей Сашей, и он мне дал неплохой совет — записать тебя в секцию карате. Ты знаешь, у него какой-то там пояс по карате, и он сказал, что в этой

борьбе самое главное — умение не драться, а держать себя уверенно и не отступать перед противником. К тому же там будут новые ребята, с которыми ты сможешь подружиться.

Я не нашёлся, что ответить, хотя плакать перестал. Дядя Саша посоветовал записать меня на карате. Зачем мама вдруг решила советоваться с ним относительно моих трудностей в школе? Почему они не могут просто забыть обо мне, как будто меня вовсе нет? Неужели нужно постоянно придумывать что-то новое, лишь бы не оставлять меня в покое?

— В новом доме у метро есть такая секция. Там разные кружки, карате в том числе. Я вчера сходила посмотрела, мне очень понравился тренер, я записала тебя на среду. Это два раза в неделю в пять вечера, ты сможешь заниматься после школы, а потом как раз будет оставаться время на уроки.

На этом сеанс закончился. Я вернулся к себе, но вместо того чтобы плакать на диване, уткнувшись в стену, сел в состоянии не столько опустошения, сколько недоумения.

Карате. Если бы меня попросили составить список вещей, которыми я не хотел заниматься, карате просто не пришло бы мне в голову. Любая спортивная активность вызывала смешанное чувство отвращения и страха. Уроки физкультуры были второй неприятностью после перемен. В тесной и грязной раздевалке плохо пахло, к тому же никогда нельзя быть уверенным, чем закончится сам процесс переодевания. Каждый раз, когда я снимал брюки, возникала реальная опасность лишиться и всей остальной одежды. Как-то мальчишки стянули с меня трусы и забросили их на дерево. Те провисели синим флагом моего позора всю осень и половину зимы, пока в одну ночь их, наконец, не сорвал ветер. Но такие эксцессы случались нечасто, потому что я выработал более-менее безопасную стратегию.

Как и к первому уроку, на физру нужно было прийти чуть позже, чтобы в раздевалке уже никого не было, но не опоздав

при этом на урок ни на минуту. Если ты входил в спортзал после звонка, физрук был неумолим. Нельзя сказать, что его фантазия отличалась изощрённостью — требовалось лишней раз подтянуться или подняться по канату перед всем классом. Для меня это было абсолютно недопустимо — подтягиваться я не умел, а на канат залезал только на высоту собственного прыжка. Так что приходилось висеть на турнике под хохот класса, пока учитель не решит, что большего от меня не добиться и экзекуцию можно заканчивать.

Бесполезен я был и во время игр, которых весь класс с нетерпением ждал. Я не видел смысла в беготне с мячом по залу или полю, боялся упасть и разбить коленки и чаще бежал от мяча, если кому-то вдруг приходила странная идея дать мне пас. В результате никто не хотел брать меня в свою команду, и понимающий физрук позволял мне ждать конца урока, сидя на лавке. Ему, впрочем, нужно было ставить оценки, поэтому иногда он устраивал нечто вроде контрольных работ. Помимо упомянутых уже подтягиваний и каната, мы бросали мяч в баскетбольное кольцо, прыгали через козла и бежали кросс. Всё это получалось у меня из рук вон плохо. Если очень везло, я попадал в кольцо один раз из двадцати. Бежал я быстро, но всё равно еле дотягивал до тройки по нормативам. Чаще всего урок физры ограничивался для меня разминкой, после которой я тихо скучал в углу.

Зимой ждало новое издевательство — лыжи. Приходилось тащить их из дома, что уже само по себе было не самым приятным занятием: они были вдвое выше меня. Кроме того, физра с лыжами почти стопроцентно означала, что я закончу урок в сугробе со снегом за шиворотом. И хотя ходьба на лыжах не казалась такой ужасной, как бег или баскетбол, вся эта суета, снежки и мокрые варежки не сулили ничего хорошего.

И вот карате. Безапелляционный мамин тон не оставлял надежд на то, что получится увильнуть. Лучше подчиниться

и посмотреть, что из этого выйдет. Может, там будет не так плохо, как на физре? Или тренер окажется приятным человеком, а мальчики из секции — лучше Михи.

Я представил тренера, похожего на Джеки Чана или Брюса Ли: как он будет учить нас кричать и махать руками. Или, например, это окажется старый мудрый японец, он поделится древними секретами своего мастерства, главный из которых — священная молитва буддийских монахов, парализующая противника. Вот ребята из школы снова решили отобрать у меня портфель и побегать с ним по рекреации. Я встаю в боевую стойку и говорю что-то по-японски, после чего они все падают на пол в страшных муках, а я спокойно иду на урок литературы.

Я, разумеется, не верил, что смогу когда-нибудь использовать карате по назначению. Мысль ударить кого-то заведомо сильнее меня представлялась мне лишённой логики. Ведь если сопротивляться, будет только хуже, потому что обидчик разозлится. Зачем испытывать судьбу, если можно просто переждать бурю.

Я не знал, что нужно надевать для занятий карате, мама на этот счёт ничего не сказала, и в среду я просто взял форму для физры. Секция находилась в большом красном кирпичном доме, построенном совсем недавно. Его фасад был не плоским, как у других зданий, а в форме зубцов крепостной стены. Это делало его немного громоздким, но внушало уважение. Вообще-то в нашем районе ничего не появлялось, так что когда строители разобрали забор, установленный вокруг нового здания, это стало настоящим событием. Все ходили в новое кафе поесть мороженого и в новый магазин игрушек поглазеть на витрины. Очень быстро новый дом стал

понятием нарицательным, все так и говорили: «Встречаемся у нового дома» или: «Пойду в булочную в новом доме». В торце находилась небольшая дверь с прикреплённым к ней листом бумаги. На нём крупными печатными буквами было написано: «Успех. Клуб восточных единоборств. Карате-до, кунг-фу, дзю-до и пр.» Мне стало немного не по себе, как будто я делал что-то запретное, но раз уж пришёл сюда с формой, отступить поздно.

Я зашёл, пересёк коридор и заглянул в деревянную дверь, где висела такая же табличка. За обычной школьной партией сидел мужчина, я сразу понял, что это тренер, хотя он и отдалённо не походил на японца. Он был одет в странный белый костюм и казался слишком большим для своей партии. Я подумал про Боксёра — как бы он смотрелся на этом месте? — и решил, что, наверное, так же нелепо. Мужчина спросил мою фамилию, пометил что-то в лежащем перед ним журнале и показал, где нужно переодеваться.

Раздевалка была просторная и чистая, здесь пахло свежей краской и резиновыми сиденьями. Странно, что с того момента, как я вошёл в дверь с надписью «Успех», я не встретил никого, кроме тренера. Может, это специальные курсы, где карате обучают один на один? Было бы неплохо. Я быстро переоделся, но вскоре мои мечты о персональных тренировках рассеялись — в раздевалку один за другим стали входить другие мальчики. Я подумал, что самое ужасное сейчас — встретить кого-нибудь из школы. Вот уж тогда позора не оберёшься. И представил, как ко всем моим кличкам добавится ещё одна — «мудик-каратист». Вот будет смешно-то! Я сел в угол и стал наблюдать за приходящими — к счастью, все они были мне незнакомы.

Занятия проходили в зале с резиновым полом и зеркалами на стенах. Пожалуй, я не встречал ещё помещений с таким большим количеством зеркал. Куда бы я ни глянул,

я видел десятки своих и чужих отражений. Сначала это показалось забавным, потому что позволяло незаметно наблюдать за другими. Но потом я понял, что это опасно, ведь всегда есть риск встретиться взглядом с объектом наблюдения. Тренер в белом костюме расставил нас в шахматном порядке и встал перед нами.

— Ребята, добрый день. Меня зовут Алексей, я ваш тренер по карате. Для начала несколько правил, которые нельзя нарушать, иначе будем исключать из клуба. Первое — не опаздывать. Если вы опаздываете, то лучше вообще не приходите, потому что в карате главное — равновесие, в том числе равновесие группы. Если вы станете приходиться по очереди после начала тренировки, никакого равновесия не получится. Второе — пропускать можно не больше двух раз подряд, иначе потом сложно навёрстывать. Если возникнут какие-то форс-мажоры, будем решать в индивидуальном порядке либо переводить в другую группу.

Тренер — невысокий коренастый широкоплечий мужчина маминого возраста — говорил медленно, с расстановкой, заложив руки за спину и расхаживая взад-вперёд. Было видно, что он произносит этот текст не в первый раз, но тот всё равно даётся ему с трудом. Слова получались угловатыми и тяжёлыми, как будто он считал, что мы не очень хорошо понимаем по-русски и если говорить быстро, до нас ничего не дойдёт.

— Карате — древнее боевое японское искусство. В переводе с японского это слово означает «путь пустой руки». То есть способ поразить противника, не имея оружия. Карате создано для самозащиты, и то, чему вы здесь научитесь, нельзя использовать во вред или для нападения, иначе оно обернётся против вас. Самое главное в карате — душевное равновесие. Именно оно придаёт силы и устойчивости вашим мышцам, вы становитесь гораздо эффективнее с теми

же физическими данными. Если нет равновесия, ничего не получится.

Я решил сохранять душевное равновесие во что бы то ни стало, особенно во время тренировок. Это было несложно, если не заставляли подтягиваться, отжиматься или делать ещё какие-то упражнения. Нас учили правильно стоять и держать кулак, чтобы сразить воображаемого противника наповал. Я не совсем понял, как проверить, сражён ли воображаемый противник или нет, но вопросов не задавал, чтобы не привлекать внимание.

После тренировки полагалось принять душ. В школе у нас тоже были душевые кабины, но ими никто не пользовался. Не знаю даже, была ли в кранах вода или они простояли всухую с самого открытия школы и потому стали такими грязными. Последний раз я мылся в компании года в два — мама купала меня на даче в лохани вместе с соседским мальчиком. Я и сейчас не смог бы объяснить, почему эта идея вызвала тогда во мне бурный, хотя и скрытый восторг. Но с тех пор прошло много времени, и теперь я чувствовал себя неловко. Мне стало стыдно раздеваться, казалось, все будут смотреть на меня. Я хотел просто переодеться и пойти домой, но тренер сказал о душе таким не допускающим возражений тоном, что пришлось подчиниться. Внутреннее равновесие было окончательно утрачено.

Я раздевался медленно, в расчёте на то, что все помогут прежде, чем я зайду. Но снимать было особо нечего, поэтому времени я почти не выиграл. Красный от смущения, я шёл к душевым, смотря в пол и боясь взглянуть на других мальчиков. Но даже то, что я увидел украдкой, заставило меня залиться краской: все они были разного возраста, и я оказался одним из самых маленьких. Остальные чувствовали себя прекрасно: смеялись, пародировали тренера и кидались мылом. Я закончил как можно быстрее и вышел из душевой. Два парня, которые, видимо, были давно знакомы, о чём-то

шептались, посматривая на меня и улыбаясь. Они, наверное, заметили, как я всех разглядывал, и теперь поднимут меня на смех. Я оделся и выбежал на улицу.

На карате я решил больше не ходить, потому что не был готов к новым переживаниям. Добром это точно не кончится. Нужно придумать что-то для мамы, но сейчас никакие отговорки в голову не приходили. Ну ничего, до следующей тренировки оставалось ещё два дня, авось что-нибудь да придумается.

— Ну как, понравилось тебе на карате? — спросил Боксёр.

— Нормально.

— Что вы делали там сегодня?

— Разные стойки. Учили, как правильно держать кулак.

— А, это важно, да. Кулак — основа основ.

Боксёр появлялся у нас всё чаще, опередив по длительности присутствия многих других маминых мужчин. Иногда он даже проводил с нами выходные, чего раньше почти не случалось. Впрочем, со мной он общался немного — я всё себя не слишком любезно, всем своим видом показывая, что предпочитаю одиночество.

Каждый раз, приходя к нам, он предпринимал осторожные попытки разговорить меня, но мне хватило студии карате и его беседы с Михой и Пнём, чтобы понять — каждое моё слово может иметь последствия. Хорошо ещё, что он не был мастером психологических бесед, как мама, и моему душевному равновесию не угрожал.

— Ну как, одноклассники твои больше не трогают тебя?

— Нет.

— Испугались, я так и думал.

Обманывать старших нехорошо, но я не особо и обманывал — меня действительно никто не трогал, а все шутки в мой адрес можно было расценивать как разыгравшееся чувство юмора, пусть и не очень тонкое.

Боксёр занимал всё больше места в нашей, а самое главное, моей жизни. Он проявлял столько усилий к тому, чтобы сблизиться, как никто до него, интересуясь мной иногда даже активнее, чем мама. И в этом интересе не было ничего угрожающего, поэтому хоть я и относился к нему с прежним подозрением, стал понемногу привыкать к его присутствию.

Он был сильным, но никогда не бравировал этим. Так, другие могли ни с того ни с сего начать со мной понарошку драться, валить на диван, щекотать. Мне такие демарши не нравились, я уже не был детсадовским ребёнком. Боксёр же каждый раз осторожно пожимал мне руку, когда здоровался и прощался, и этим наши физические контакты ограничивались.

Однажды мы втроём пошли в зоопарк, мне купили мороженое и сахарную вату. Я ел и думал, что так вот, наверное, обычные дети и ходят в зоопарки с мамой и папой. С той лишь разницей, что Боксёр мне вовсе не папа, к тому же рано или поздно он исчезнет, как и все остальные мамы и друзья.

Пару раз он даже пытался играть со мной, расспрашивая про армию моих мягких игрушек, но это было царство, в которое не было доступа никому.

- А эта мышь, она кто у тебя? Королева?
- Герцогиня.
- Она тут самая главная, верно?
- Да.
- Это её друзья?
- Нет.
- Слуги?
- Нет.

— Так кто же?

— Придворные.

Меня тронуло, что Боксёр искренне старался вникнуть в мою игру, но он оставался чужаком из мира взрослых, поэтому играть с ним было опасно. Он всегда мог рассказать что-нибудь маме, и мне пришлось бы снова разговаривать с ней или, чего доброго, с ним. Мои односложные ответы давали ясно понять — играть вместе у нас не получится, поэтому Боксёр оставил эту идею. Впрочем, время показало, что в некоторых вопросах на него можно было положиться.

Прошло два месяца с тех пор, как меня записали на карате. За это время я пропустил много занятий. Иногда опаздывал минут на десять, и тренер не пускал меня в зал, иногда просто оставался дома, если был уверен, что мама задержится. Несмотря на угрозы перевести прогульщиков в другую группу, меня никуда не переводили — да я и не был уверен в её существовании. Не могу сказать, что мне не нравились тренировки, хотя толку в них было не больше, чем в уроках физкультуры. Я научился правильно стоять, держать кулак и даже наносить удары воображаемому противнику, по-прежнему не представляя, как бы пользовался этими навыками с противником реальным.

Много сил уходило на душ, где я не мог задерживаться ни на минуту. Секрет был в том, чтобы прийти туда первым, занять крайнюю кабинку, быстро помыться, отвернувшись к стене, и пулей вылететь из здания. Пока остальные раздевались и дурачились, я был уже на улице.

Ребята быстро подружились друг с другом и разбились на группы, я же избегал новых знакомств. Иногда они посматривали на меня и чему-то смеялись, но им было не интересно

ни общаться, ни шутить надо мной — все они были старше. К тому же Боксёр пару раз забирал меня после тренировки. Думаю, это прибавило мне авторитета.

Была, впрочем, ещё одна причина, заставлявшая меня посещать тренировки по карате с большим рвением, чем уроки физкультуры. У тренера была своя раздевалка, вход в неё вёл прямо из спортзала. Обычно он ждал, когда мы выйдем, и затем переодевался и мылся. Однажды, завязывая шнурки в прихожей, я бросил взгляд в зал и в сложном переплетении зеркальных отражений увидел тренера, только что вышедшего из душа. Мне было видно совсем немного в чуть приоткрытую дверь, но я не мог оторвать глаз от обнажённого тела в течение нескольких минут. Позже я заметил, что дверь в тренерскую была слегка перекошена и никогда не закрывалась плотно. Теперь к моим хитростям добавилась ещё одна — начинать шнуровать ботинки в правильный момент, чтобы застать переодевание тренера.

Что я тогда чувствовал? Выходя из зала, я немного боялся, что сегодня он решил не принимать душ, или что дверь починили, или что в нашей раздевалке сидит Боксёр либо кто-то из родителей. Когда я видел его отражение, сердце замирало и падало. Мне хотелось находиться рядом с ним, но быть невидимкой, стоять и наблюдать за его движениями: вот он наклоняется, чтобы вытереть ноги, надевает синие трусы, садится, чтобы натянуть носки. Где-то в тёмных уголках моей души я надеялся увидеть нечто большее, зная, что на таком расстоянии всё равно ничего не разгляжу. Самое неприятное было в том, что через считанные минуты приходилось вставать и выбегать из раздевалки, чтобы не быть застигнутым на месте преступления.

Один древнегреческий охотник поплатился за такие подглядывания жизнью, не могло это ничем хорошим закончиться и для меня. Однажды, когда я подсматривал за трене-

ром, в прихожую ввалилась компания ребят. Они не ожидали меня увидеть, привыкнув к моим быстрым исчезновениям. Заворожённый объектом своего наблюдения, я не сразу среагировал на их появление, и этих секунд хватило, чтобы они подошли ко мне и увидели причину моего оцепенения. Моё странное поведение после тренировок, смущение в душе и сегодняшнее происшествие сложились для них в одну картину.

— Ребзя, да Артёмка-то у нас гомик, смотрите, подглядывает за голым Алексеем!

— Фу-у, я не хочу с ним мыться, он за нами тоже подглядывает.

— Гомик, гомик!

— Эй, гомик, хочешь на мой посмотреть?

Что-то большое и опасное надвинулось на меня. Как ожидающий своей участи кролик не смеет шелохнуться перед удавом, так и я замер на лавке, смотря по сторонам и не находя сил встать, чтобы убежать домой. Люди вокруг меня двигались, как в замедленной киносъёмке. Вот они плавно поднимают и опускают руки, как космонавты на Луне, раскрывают широко рты в беззвучном смехе, неестественно медленно шевелят губами, как будто произносят слова по слогам, но слов не слышно, звук отключён. Один из них так сильно смеётся, что прислоняется к стене и сползает на пол. Другой непристойно двигает бёдрами. Вот практически одновременно открываются противоположные двери, и в прихожую входят тренер и Боксёр. Они смотрят на нас, не понимая, что происходит. Никто, кроме меня, не замечает их, но я никак не реагирую на их появление.

— Так, что тут за катавасия? — это тренер останавливает замедленную съёмку, все поворачиваются к нему и хором начинают оправдываться.

— ...да он подглядывал за вами, Алексей...

— ...пока вы переодевались...

- ...он каждый раз так делает...
- ...уходит раньше всех и потом подглядывает...
- Так, давайте живо все по домам. Артём, ты подожди, мне нужно с дядей Сашей поговорить.

Если я получал двойку, терял ключи от дома или покупал мороженое вместо школьного обеда, то всегда знал, какое последует наказание. Я допускал, что поступил плохо, но меня никогда не мучила совесть. Проступки объяснялись стечением обстоятельств и не вызывали во мне настоящего стыда, как бы я его ни демонстрировал маме и учителям. Природа его была мне в принципе непонятна. Я думал, стыд — это когда ты публично признаёшь, что повёл себя плохо и больше так делать не будешь. Но всё это говорилось скорее для взрослых, чем взаправду.

Сегодня я впервые в жизни почувствовал настоящий стыд, причём никак не мог его себе объяснить. Да, я сделал что-то нехорошее, но в списке проступков подглядывание и подслушивание не занимали высокого ранга. Меня и раньше ловили за этим занятием дома, но мама обычно ограничивалась лёгким подзатыльником. Теперь же все включая меня придавали произошедшему исключительное значение.

Я вспомнил фразу, которую употребляла мама, если ей приходилось беседовать с учителями. «Я готова сквозь землю от стыда провалиться», — так говорила она. Это было именно то, чего я желал в тот момент — провалиться, исчезнуть, чтобы меня никогда не было раньше и никогда не существовало после. Я не боялся наказания, но меня охватывал ужас при мысли, что придётся жить дальше: ходить по улице, завтракать, писать контрольные работы, когда все вокруг знают о том, что я сделал. Я бы хотел попасть в машину времени и устроить так, чтобы не родиться вовсе, тогда бы я не оказался в этой переделке. Или нет, лучше попасть в машину времени и не ходить на карате, ну или хотя бы не подглядывать за

тренером. Или хорошо бы, чтоб мимо нового дома пролетал самолёт, у которого отказал двигатель, и он упал бы прямо на нас. Тогда я, тренер и Боксёр погибли бы, и никто не вспомнил бы больше об этой истории.

Не знаю, сколько я провёл в ожидании: 15 минут, час, два, три? Время тянулось так медленно, но всё равно слишком быстро... гораздо быстрее, чем хотелось.

Я ожидал увидеть на лице Боксёра насмешку. Она бы усилила мои страдания, но я был готов — уж с насмешками-то я научился справляться. Он вышел с таким расстроенным видом, будто именно его застали за подглядыванием. Это превзошло самые пессимистичные ожидания касательно глубины моего падения.

По улице шли молча. На одном ботинке болтался шнурок, который я так и не успел завязать — не до того было. Я смотрел под ноги и думал о том, что произойдёт дома. Мне не было до конца ясно, есть ли какое-то оправдание, способное смягчить мою вину. Вдруг Боксёр выдохнул:

— Ладно. Маме говорить ничего не будем. Я что-нибудь придумаю, чтобы ты больше не ходил сюда.

От неожиданности я наступил на развязанный шнурок и споткнулся. Это был нокаут. Сначала я не совсем понял, радоваться мне или огорчаться, но потом откуда-то поднялась волна счастья и захлестнула меня всего, смыв стыд и страх. У меня есть общий секрет с Боксёром! Я не думал о характере этого секрета, было важно само его наличие. У меня нет общих тайн ни с кем. То есть своих собственных очень много, порой казалось, что половина моей жизни скрыта завесой, но общих тайн с кем бы то ни было — никогда, а уж тем более с мамиными мужчинами.

Единственный человек, с которым у меня были секреты от мамы, — отец. Он редко ругал меня и часто скрывал мои проделки от остальных. Он мог выслушать жалобы

воспитательницы на моё поведение, а потом посмеяться над ней за стенами детского сада. Казалось, он не вполне серьёзно относился к своим родительским обязанностям или ему было лень заниматься мной. Так или иначе, при полном отсутствии педагогики с его стороны между нами была какая-то общность. Но однажды он пропал так же внезапно, как и все остальные.

Все каникулы, включая летние, я проводил на даче с бабулей. Родители приезжали каждые выходные, и я ждал их, несмотря на то что с приездом мамы у меня всегда прибавлялось поручений. Я знал, что они привезут в дом жизнь, шум, шоколад, фрукты, а возможно даже и подарки.

Летние каникулы были ярким пятном на фоне рутины детского сада и школы. На три месяца я тонул в звенящем жарком воздухе деревни. Миллионы звуков, таких родных и таких разных, сначала оглушали меня, как оркестр — непривыкшего к опере слушателя, и только через некоторое время я начинал различать отдельные инструменты, игравшие лучшую в моей жизни увертюру. Жужжание назойливых мух днём и комаров ночью, мопеды деревенских парней, мычание коров и блеяние овец, стук волана о ракетку для бадминтона, скрежет старой пилы. И смех, смех, много смеха. Сотни красок обступали меня со всех сторон, и я не мог чётко разглядеть ни одного предмета, как будто неожиданно прозревая после долгой зимней слепоты.

Ничего особенного не происходило, но жизнь была наполнена событиями. В отличие от города, на даче у меня были приятели — соседские дети, вместе с их родителями мы ездили купаться на озёра. Вряд ли можно было назвать их друзьями в полном смысле слова, но всё же какое-никакое

общение. Каждый июнь я не просто уезжал на дачу, но становился другим мальчиком — открытым, радостным, счастливым и общительным. Казалось, все остальные тоже преобразуются и становятся добрыми, любящими и ласковыми. Мама даже наказывала меня гораздо реже (или причиной было то, что мы виделись только раз в неделю?).

И вот несколько лет назад мама стала приезжать на дачу одна. Когда папа пропустил несколько выходных, чего не случилось прежде, я не очень удивился, поверив в его занятость на работе. Но когда он не появился и на моём дне рождения, в голове стали крутиться смутные вопросы.

Однажды по дороге из магазина я вдруг подумал с неприятной лёгкостью: «Наверное, они развелись». Это слово было склизким и гадким, как след от слизи на широком плоском листе осоки. Я не совсем понимал его значения и даже не смог бы объяснить, откуда оно взялось. Наверное, сквозь сон слышал обрывки фраз. Я попытался отогнать от себя эту навязчивую мысль, но она преследовала меня, мешая думать о чём-то другом. «Развелись, развелись, развелись», — шелестели деревья. «Развели-и-ись», — скрипела велосипедная цепь. Нет, не может быть. Зачем я вообще начал думать об этом? Мама всегда говорила, что мысли материализуются. Нельзя думать ни о чём плохом, потому что сам будешь виноват, если всё окажется правдой. Но я не мог остановиться, мысль как будто уже жила сама по себе.

Внезапно с меня слетела пелена летнего настроения, всё вокруг сделалось чётким и осязаемым, я снова стал городским. Мир больше не был радушным. В глаза бросились незамеченные раньше детали: полуразрушенный дом с провалившейся крышей и заколоченными окнами, разбитый асфальт с глубокими выбоинами, потрёпанная, давно не крашеная стена сельского магазина, на которой из-под бежево-оранжевой отлупившейся краски выглядывала серая штукатурка.

Мне захотелось вернуться в город, чтобы не портить дачу своим новым состоянием.

Я вернулся домой. Именно тогда я впервые услышал мамин задушевно-психологический голос. Раньше таким тоном она никогда со мной не говорила, поэтому я удивился какой-то новой для меня угрожающей ласке и подумал: сейчас меня будут ругать за мысли, которые я думал по дороге из магазина. Но я даже представить не мог, какое наказание меня ожидает.

В первый и последний раз в жизни я начал психологическую беседу сам:

— А почему папа не приезжает?

— Видишь ли, Артём. В жизни часто случаются ситуации, когда люди долго живут вместе, а потом вдруг перестают по разным причинам.

Мама говорила и говорила что-то важное и нужное, но я как будто погрузился в дрему. Не в приятный сон после насыщенного дня, а в такой, где ты тонешь, как в зыбучих песках, из которых никак не выбраться. Страшная мысль обволокла меня и потянула вниз: я был прав. Я во всём виноват. То утреннее слово больше не звучало в голове, что-то большое и тяжёлое обступало меня со всех сторон, сдавливало, грозясь раздавить. Я всё разрушил.

— ... в общем, папа больше не приедет.

Огромное и вязкое, наконец, засосало меня целиком, я не мог больше стоять и упал на колени, мама уложила меня на диван. Я отвернулся к стене, чтобы эта тяжесть не давила мне на лицо, а только на спину, и начал повторять про себя, как молитву: «Я виноват, что меня никто не любит, сам виноват, что меня никто не любит...»

Нельзя сказать, что летние каникулы с тех пор стали другими, но что-то навсегда изменилось. Я научился жить с этим вязким чувством. Оно особо мне не докучало, и только

мамина психологическая интонация иногда напоминала о нём, заставляя ложиться лицом к стене. Память о папе со временем стёрлась, он стал одним из многих мужчин, которые появлялись и исчезали в нашей жизни. И только теперь, когда я неожиданно почувствовал заговорщическую общность с Боксёром, я вспомнил, что такое уже было раньше.

Не знаю, что Боксёр рассказал маме, но тема единоборств больше не поднималась. Мне в целом нравилось, когда он приходил к нам, потому что мама оставляла меня в покое. Он по-прежнему предпринимал ненавязчивые попытки подружиться со мной, интересовался школьными делами и старался понять сложную систему взаимоотношений между мягкими игрушками, населявшими мою комнату:

— Понимаете, дядя Саша, это герцогиня де Мышек, она мышь. Она здесь самая главная, вот у неё знак висит на цепи. Это граф Медведь, он — принц-консорт.

— Кто-кто?

— Ну, муж королевы, то есть герцогини, но не самый главный, ведь он не может быть герцогом. Это вот графиня де Лис, она в опале, из-за того, что была любовницей Медведя.

— Кем-кем?

— Любовницей, ну это когда они ночью тайно встречаются в замке.

— А ты кем бы хотел быть, если бы сам жил при своём дворе?

— Как кем? Герцогиней, конечно, она же здесь самая красивая.

Постепенно я не только привык к его присутствию, но мне стало не хватать его, когда он долго не приходил. Мама провела со мной ещё один длинный психологический разговор на тему, нравится ли мне дядя Саша — вопрос в высшей степени странный, потому что раньше она моим мнением не интересовалась. Я, впрочем, не стал распространяться, отделавшись односложными ответами, но с положительным уклоном.

Новый год мы встречали дома. Давным-давно, когда я был совсем маленьким, бабуля жила и работала в городе, дед был жив, а папа ещё не пропал, это был большой праздник. К нам приезжали гости, многие с детьми. Вечером непременно приходил Дед Мороз, под двумя стоявшими вместе пышными ёлками лежали подарки, всё было шумно, весело и долго. Никто не следил, во сколько дети ложились спать, мы укладывались сами, когда уже не оставалось сил играть и ползать за сладостями. Потом состав нашей семьи сильно изменился, друзья родителей куда-то испарились вместе со своими детьми, и со временем мы стали встречать Новый год втроем, переместившись на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Потом мы переместились на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Зимой жизнь в общем-то большого дома сосредотачивалась в двух маленьких комнатах, расположенных по две стороны разлапистой русской печки. В одной из них и помещался праздничный стол, срубленная в лесу ёлка и телевизор. Мы ужинали, смотрели один из выученных наизусть фильмов, после курантов запускали на улице фейерверки и ложились спать.

На даче было слишком мало места для четверых, так что в этом году празднество снова перенеслось в город.

Не знаю, в какой момент Новый год перестал быть праздником. Сначала я понял, что подарки под ёлку кладут родители, и разочаровался в приходивших в сочельник Дедах Морозах. Нельзя сказать, что эти открытия сильно меня раздрадовали, хотя, несомненно, вымыли первый кирпич из фундамента моего доверия. Год за годом дата эта теряла свою значительность. Новый год ещё сохранял отличительные черты: стол с салатами, подарки, приподнятое настроение, но всё это стало банальным, новогодняя ночь больше не была особенной и долгожданной. Тем более что праздничный стол, с оливье, винегретом и селёдкой под шубой в хрусталь-

ных салатницах, шпротами, варёными яйцами с майонезом, жареной курой, красной икрой и неизменной бутылкой советского шампанского, накрывался в нашем доме по самым разным поводам: от дня рождения до 9 Мая.

Я любил получать подарки, но почти всегда знал заранее, что спрятано в этих завёрнутых в цветную бумагу пакетах: конфеты, плитки шоколада, какие-нибудь школьные принадлежности или машинки. Я не имел ничего против шоколада и игрушек, но они не заставляли моё сердце радостно биться. Мне бы так хотелось получить новое платье для герцогини де Мышек или хотя бы золотую корону для её мужа... Но я боялся просить это у мамы, потому что не был уверен в её реакции.

Да и сам процесс вручения подарков заставлял меня чувствовать себя немного странно. Из года в год повторялось одно и то же. Посреди застолья меня отправляли на кухню выключить духовку или принести лимонад. Я шёл, зная, что произойдёт дальше: когда я вернусь, нужно будет занять своё место с самым обычным видом и подождать несколько секунд, пока бабуля не скажет:

— Ой, а что это под ёлкой-то лежит? Коробки какие-то. Давайте-ка посмотрим, может, Дед Мороз нам принёс что-то.

Не то чтоб мне не нравились подарки, или было неинтересно раскрывать пакеты с моим именем, или я не радовался набору из кубиков «Кижис» либо пластмассовому грузовику (в конце концов, можно сделать из него карету для герцогини). Но ко всему примешивалась некоторая неловкость. Неужели они не догадываются, что я уже давно всё понял? Я чувствовал себя виноватым в том, что не верил в их Деда Мороза. Они же хотели как лучше, я знал это и даже подыгрывал им. Но ведь они всё делали искренне, а я лишь играл, и от этой вынужденной игры мне становилось стыдно.

Хотя были ли они так уж искренни? На этот вопрос тоже не было однозначного ответа. В сочельник меня никто не

ругал, и до известных пределов можно было делать всё, что вздумается, — этим Новый год походил на день рождения. Но, как и в день рождения, я знал, что эта вседозволенность закончится уже на следующее утро. Я не понимал, почему мама не может быть такой же доброй круглый год и надо непременно приурочивать любовь к каким-то праздникам.

Одним из самых приятных и никогда не надоедавших новогодних занятий было наряжать ёлку. С антресолей доставались игрушки, которые были гораздо старше мамы, а некоторые — и бабули. В этом году мы привезли все эти коробки с дачи. Помимо обычных шаров, здесь встречались герои мультфильмов и сказок, разные животные и даже Щелкунчик, которым нельзя было расколоть ни одного ореха, потому что он был стеклянный. Мне нравилось прикреплять игрушки к ёлочным лапам, колоться щеками об иголки, когда нужно было повесить гирлянду ближе к стволу, дышать свежим хвойным почти морозным воздухом. Я бы с удовольствием наряжал её без посторонней помощи, но то ли бабуля не могла доверить мне ёлку полностью, то ли ей самой хотелось в этом поучаствовать. Под конец она вешала гирлянды и разноцветный дождь, водружала на верхушку красную звезду — такую же, как на башнях Кремля (о чём она с гордостью напоминала мне каждый год, хотя я уже давно это усвоил).

— Ну вот, теперь готово. Доча, поди посмотри, какую мы с Артёмом ёлку нарядили!

Потом они вместе занялись салатами и жарким, а я был предоставлен самому себе до самого ужина. К празднествам готовились и во дворце герцогини де Мышек. Специально для этого вечера она надела серьги с рубинами (тайно позаимствованы из бабулиной бижутерии), а также золотую цепь, присланную из африканских владений (это уже из маминого шкафа). Придворные соберутся вокруг своей повелитель-

ницы ровно в полночь, чтобы чествовать меня всем двором. Я буду стоять в лучах тысяч свечей, мои глаза будут сверкать ярче, чем драгоценности, я буду купаться во всеобщем восхищении. Молодые дворяне, все как один влюблённые в меня, будут ждать, пока я оброну платок, чтобы сделать его своей реликвией. Но им известно, что моё сердце навеки отдано другому, а он...

— Артём, открой дверь, дядя Саша пришёл.

Боксёр ввалился фыркающим и отряхивающимся сугробом из коробок, свёртков и пакетов и мгновенно занял собой не только коридор, где ему было сложно развернуться, но и всю квартиру. Мне нравилось стоять и смотреть, как этот огромный сильный мужчина раздевается, разувается, отряхивает шапку, осторожно ставит на пол звенящие сумки. Я вдыхал ароматы мокрого пальто, тающего снега, мандаринов и свежего хлеба. Эти запахи и сам тот факт, что к Новому году у нас гости, напоминали мне о чём-то далёком, что никогда уже не повторится.

— Та-ак. Это в холодильник, это можно сразу на стол, мандарины помыть неплохо бы. Артём, ты чего стоишь, как вкопанный, давай разбирать сумки.

— Боже мой, доча, икра. Откуда взял-то? Это же дорого так!

— С ума сошёл, Саш! Ну можно было и без икры, зачем же...

В этом году традиционная процедура обнаружения и распаковывания подарков закончилась неожиданно. По крайней мере, для меня. Помимо привычных конфет и фломастеров, под ёлкой лежала увесистая коробка, завёрнутая так, что у меня не сразу получилось её открыть. Сразу видно, что паковали в магазине. Я догадывался о содержимом, хотя до конца не верил, что это может быть правдой. В коробке лежал настоящий фотоаппарат «Зенит», отделанный коричневым кожаном. К нему прилагались плёнки и журнал «Советское фото». Я воровато посмотрел на взрослых, мама улыбнулась мне:

— Дед Мороз щедрый в этом году.

— Спасибо, — прошептал я.

Боксёр помог мне вставить плёнку и показал, как пользоваться фотоаппаратом. Весь ужин я, конечно, только и делал, что фотографировал. Этот подарок знаменовал новый этап в моей жизни. Я теперь был не просто младшеклассником, у меня был фотоаппарат. Если бы он мог сделать меня сильнее... Но это ведь не самое главное. Важно, что он у меня есть. Я даже, наверное, не понесу его в школу, а то Миха может и отобрать.

И ещё мне была приятна мысль, что Боксёр понял, что именно обрадует меня на самом деле. Мама никогда бы не догадалась, а даже если и знала, всё равно не купила бы ничего подобного — слишком дорого. Значит, он не просто так интересуется моими играми и прочим. Значит, я и правда для кого-то важен.

Эта новогодняя ночь затянулась. После курантов мы ещё долго сидели, потом гуляли, затем вернулись домой и снова сели за стол. Мне давно уже хотелось спать, но фотоаппарат делал меня взрослее, поэтому я крепился изо всех сил, чтобы не уснуть прямо за столом. Все быстро запьянели и стали говорить немного странно, растягивая слова, потом пели. Мама включила музыку, и они с Боксёром стали выделывать коленца, изображая танцы. Она вытащила меня на середину комнаты, чтобы я танцевал вместе с ними. Я старался прыгать под музыку, но получалось не очень. «Артём, смотри, как надо», — сказала мама и чуть присела, проводя руками по своим бёдрам и поглядывая на Боксёра. Мне было неприятно смотреть на неё, казалось, она делает что-то стыдное. Я испугался, что Боксёр подумает, будто мама всегда так танцует, и уйдёт от нас.

Я не понимал природы алкоголя. Как-то попробовал водку, она оказалась отвратительной. В «Крокодиле» и по те-

левизору показывали много карикатур и юмористических передач про пьяниц. Когда на улице нам встречались люди подшофе, мама всегда строила презрительную гримасу и старалась обойти их как можно дальше. Многие психологические беседы, которые она вела со своими подругами, посвящались теме «муж запил» или, наоборот, — «встретила мужчину, работает на стройке, не пьёт». И, наконец, каждый раз после больших праздников мама целый день болела, прикладывая к голове мокрое полотенце, стонала и не вставала с постели до самого вечера. Из всего этого я сделал вывод, что пить плохо, неприятно и бесполезно. Но при этом всякий раз история с больной головой повторялась, и это всегда оставалось для меня загадкой.

От танцев меня спасла бабуля: «Доча, ладно вам издеваться над ребёнком, ему уже спать пора». Я с деланным неудовольствием пожелал всем спокойной ночи, лёг в постель и очень быстро уснул.

На следующий день мы с бабулей уехали на дачу, где я должен был провести остаток каникул. Деревня напоминала больничную палату. Всё было чёрно-белым: чёрные остовы деревьев в белых рубахах сугробов, низкое серое небо, полосы чёрного асфальта, просвечивающие сквозь серый после проехавшей машины снег. Редкие люди в тёмных фуфайках и шапках, везущие санки с дровами или бидонами с водой. Маленькие, утонувшие в снегу домики. Серый дым из труб.

И тишина. Такая тишина бывает, наверное, только в пустыне или тайге. И на даче зимой. Нежданная электричка только подчёркивает её, делая ещё глубже и величественней. Хочется зарыться с головой в сугроб, чтобы заставить эту тишину замолчать, потому что она оглушает тебя, не даёт дышать. Можно натянуть шапку на голову, чтобы слышать биение собственного сердца, дыхание, хруст валенок по снегу. Но даже за этими звуками прячется всё то же безмолвие,

и стоит тебе лишь на мгновение остановиться, как оно поглотит тебя всего.

Приезжая на дачу, я и сам менялся. Приспосабливался к тишине, срастался с морозом. Если летом я раскрывался, как бутон пиона, готовый вобрать в себя всю жизнь, бурлящую вокруг, то зимой я уходил в себя, вмерзал в окружающий мир, как рыба в пруду вмерзает в лёд.

Наш дом был похож на десятки других домов, расставленных на участках в шесть соток по обеим сторонам одинаковых аллей. Если взять набор «Кижы» и на большой плоский прямоугольный кубик положить треугольный, но так, чтобы он покрывал лишь часть основы, легко представить эту стандартную конструкцию.

Летом дом был окружён кустами черноплодки, скрывавшими его от посторонних глаз, под окнами разводили цветник, а остальной участок занимали грядки и парники. Сейчас всё было скрыто под снегом, так что оставалась лишь узкая траншея, которую надо было расчищать каждое утро.

В доме мы с порога попадали в длинную прихожую, служившую летом кухней, столовой и верандой одновременно. Стёганое одеяло стен, оклеенных оставшимися от ремонтов в городе разноцветными обоями переходило в такой же пёстрый дощатый пол, частично покрытый линолеумом. На месте разбитых стёкол в большом витражном окне трепетала на ветру плёнка, к целым же стёклам с двух сторон прилепился белёсый иней. Прорытая в снегу на улице тропинка переходила здесь в такой же узкий проход среди принесённых со двора вёдер и тазов. Было немного странно проходить по этому рву — вроде бы ты в доме, но здесь так холодно, что невозможно выйти без фуфайки. Холодной оставалась и большая гостиная, где я спал летом. В серванте мёрз дешёвый хрусталь, по обеим сторонам журнального столика с фарфоровой фигурой хозяйки Медной горы стояли два

старинных кресла с резными деревянными подлокотниками и бордовой обивкой сидений. И только две комнаты в глубине дома были пригодны для жизни в холодное время года. Зимой здесь было довольно тесно, потому что кроме диванов приносили ещё стол, газовую плитку, а также воду и продукты. Но чем теснее здесь было, тем казалось уютнее, особенно по сравнению с остальными комнатами.

Все зимние каникулы я проводил в одиночестве. Даже в деревне мало кто оставался на зиму, а уж наши соседи-дачники и того подавно. Тропинка от станции обрывалась на нашем доме, дальше начинались необъятные пространства, покрытые снегом, куда до самой весны не ступит ни одна нога. Помимо немногочисленных хлопот по приготовлению обеда, бабуля целыми днями смотрела телевизор или сидела в гостях у единственной подруги (та однажды умерла, оставив бабулю одну).

Но мне вовсе не было скучно. С утра до вечера я строил из снега замки и города, населял их людьми, которые ссорились и устраивали войны, влюблялись и играли свадьбы, вынашивали интриги и боролись за власть. Это был мой мир, в котором я творил историю. Я был здесь богом, но в то же время сам был этим миром. Я разлетался на десятки маленьких кусочков, чтобы заселить снежные дворцы и стать персонажами, которыми я жил. Я умирал вместе с теми, кто погибал в битвах, устроенных мной же, и рождался заново под сенью сводов ледяных замков. За две недели зимних каникул я проживал столько жизней, сколько другие не могли прожить и за век. Я играл в полном одиночестве, но мне и не нужны были никакие приятели, которые внесли бы сумбур в эту игру, ведь тогда кроме моей воли появились бы ещё какие-то сторонние силы.

Даже теперь, когда эти снежные каникулы кажутся такими далёкими, мне порой хочется снова стать мальчиком

в фуфайке и валенках, который строит ледяные крепости и живёт в этой хрупкой стране, обречённой на гибель грядущей весной.

В ту зиму моё одиночество было нарушено самым странным и безжалостным образом. Всё началось утром, когда я, выйдя за ворота, обнаружил, что половина моего снежного города лежала в руинах из-за проехавшего автомобиля. Событие само по себе необычное: до нашего дома зимой никто обычно не доезжал. Я тут же сочинил, что страну настигло ужасное землетрясение, большая часть жителей погибла, в живых осталась только горстка дворян, укрывшихся в храме и спасённых молитвой (собор стоял на сугробе в стороне от дороги). Увлечённый учётом пострадавших и восстановлением города (бедный граф Берёза, от его дома совсем ничего не осталось, так же как и от его молодой супруги), я даже не подумал о том, куда ехала злополучная машина. Работы предстояло много, ведь из утрамбованного колёсами снега было сложно строить что-то новое. Пришлось перенести город на соседнюю аллею. Когда я заканчивал возведение королевского дворца, стоя на коленях, чтобы проложить галерею от одной террасы к другой, брошенный кем-то снежок неожиданно сбил шапку с моей головы. Я поднял голову и увидел существо, похожее на меня, — бесформенную массу из слишком большой фуфайки, шапки-ушанки, рукавиц, шарфа и валенок.

— Привет, ты чё эт тут копаешь? — сказала мне существо звонким голосом, приглушённым шерстяным шарфом.

— Ничего такого. Дворец строю. Вот — машина утром проехала.

— Это мы приехали. А ты чего тут?

— На каникулах.

— И я. У меня родители разводятся, скандалят каждый день, так вот меня отправили к ба-ушке от греха подальше

(она именно так произнесла «ба-ушку» — пропустив вторую букву «Б»). Тебя как зовут?

— Артём.

— А меня Ира.

— Хочешь, построй себе замок вон там, у ёлки.

Вообще-то я с девочками никогда не дружил. Были, наверное, какие-то случайности в детском саду, и на этом всё закончилось. Да мне и не очень-то хотелось. Они жили своими интересами, играли в свои игры и, несмотря на то что всё это было мне ближе, чем пятнашки или другие спортивные мальчишковые забавы, я не испытывал желания иметь с ними дело. У меня, правда, был двор герцогини де Мышек, но в куклы я никогда не играл. (Может, потому что мне их не покупали?) И вот теперь она, Ира.

Когда она принялась за свой замок, я продолжил как ни в чём не бывало копать галерею, размышляя над тем, что принесёт мне это знакомство. Я скорее был раздражён появлением новой приятельницы: придётся вписывать её в мой снежный мир с наименьшим ущербом для самого этого мира. Может, она построит себе отдельный город и будет играть самостоятельно? Иногда можно будет устраивать совместные балы или, наоборот, войны, но в целом не обязательно часто контактировать с соседями. В любом случае надежды на спокойное существование были разбиты. Ира вдруг легла на собственный замок, развела по снегу руки в стороны и спросила: «Умеешь делать ангела? Смотри, что получается». Я понял, что пока она рядом, со снежной страной покончено.

На следующее утро, когда я был занят чаем с бутербродами, бабуля вошла в комнату с заговорщическим видом: «Артём, там тебя какая-то девочка спрашивает», — произнесла она, сделав на «девочке» особенное ударение. Тон этот означал одновременно массу вещей: «У Артёма появилась невеста» (так потом бабуля сообщила об этом знакомстве

остальным); «Захотел держать всё в секрете, но не тут-то было, всё тайное рано или поздно становится явным» — и добавила что-то вроде: «Смотри мне, не балуй там». Всё это немного покорило меня, захотелось сказаться больным и остаться дома, но бабуля непременно подумала бы, что я просто струсил, и подняла бы меня на смех.

Ира была моей ровесницей. Резковатая повадками и чертами лица, она напоминала мальчишку с давно не стриженными чёрными цыганскими волосами. Угольки глаз перебегали с одного предмета на другой, ни на чём не задерживаясь, что делало её похожей на юркого милого зверька. На её мальчишеском лице была одна женственная деталь: её губы. Они жили отдельной жизнью. Большие, яркие, как будто намаженные (хотя ни о какой косметике в то время речи не шло), они двигались не переставая. Она то кусала их изнутри, то закусывала нижнюю губу, то шевелила очень активно, когда говорила, то надувала их, то сворачивала в трубочку. На каждое настроение или жизненную ситуацию у её губ было своё выражение, они никогда не оставались равнодушными или неподвижными. Эти особенности стали заметны не сразу: всё время, пока мы были на улице, её лицо было наполовину скрыто шарфом и огромной не по размеру шапкой-ушанкой.

С самого утра Ира не только окончательно обрела мой снежный мир, но и заставила меня делать вещи, совершенно мне не свойственные:

— У тебя лыжи есть?

— Нет.

— А кататься-то умеешь?

— Да, в школе учили.

— Ну, пойдём посмотрим, может, у ба-ушки есть.

Мне вовсе не хотелось кататься на лыжах, но никакие отговорки в голову не приходили, так что я поплёлся к ба-ушке. Почему у меня не было дефекта коленок, при котором был

бы противопоказан любой спорт?.. Ба-ушка жила совсем недалеко от нас, но в магазин и на станцию ходила по параллельной аллее, так что мы не были с ней знакомы. Участок у них был такой же, как у всех дачников: шесть соток, на которых располагались достаточно большой одноэтажный дом с чердаком, недавно срубленная баня и сарай, где мы и нашли две пары лыж.

— Куда поедет-то? Я здесь не знаю ничего.

— Можно за магазин, а потом в лес за железной дорогой.

— Пойдём!

Куда только ни заносили нас летом велосипеды, но зимой я был так увлечён своим ледяным царством, что отлучался только в магазин и к колодцу. Да и что было делать в лесу, где ты проваливаешься в снег по колено и вокруг ни души. Но если уж и идти куда-то на лыжах, то лес был интереснее, чем аллеи дачного посёлка.

На даче было место, вызывавшее во мне особенные чувства, — опушка леса, зажатая берёзовой рощей с одной стороны и железной дорогой с другой. Она находилась недалеко от деревни, но не была напрямую соединена с полями, и пастухи не доходили до неё, так что здесь всегда было безлюдно. Летом мне нравилось приходить сюда — посидеть в траве и поглазеть на проезжающие электрички. Если смотреть на поляну с железнодорожного полотна, она представляла собой идеальный пейзаж, которым хотелось любоваться ещё и ещё: кромка леса слегка изгибалась, образуя углубление, куда вдавалась поляна, рассечённая тропинкой. Слева вдоль леса протекал скрытый кустами ручей, который выдавали высокие плакучие ивы и пробивавшиеся кое-где камыш и осока. Солнце светило из-за леса, поэтому часть опушки всегда находилась в тени, и тень эта передвигалась в течение дня.

В зависимости от времени года пейзаж был разным. В середине марта — серым и безжизненным. Но за этой мёртвой

пустотой угадывалась бурлящая мощь наступающей весны. Снег в такие дни становился коричневым и проседал, так что были различимы холмики поляны. Ничто не двигалось, но всё словно висело на волоске. Невидимые силы подтачивали изнутри снежное спокойствие, готовые прорваться в любую минуту.

Летом полоса белых берёзовых стволов сверкала в ярко-зелёной оправе из листвы и высокой травы. Здесь всё двигалось даже в спокойные безветренные дни. Пейзаж был наполнен жизнью, светом, цветами, запахами и звуками. Сойдя с железнодорожной насыпи, ты становился частью этого мира. Сначала шёл по жаркой душистой траве, потом входил в прохладу леса, пахнущего сырым торфом и муравейником. Иногда приходилось снимать с лица невидимую нитку паутины, под ногами то и дело трещали ломающиеся сучки и, если повезёт, можно найти куст черники или голубики, набрать горсть сочных ягод и разом запихнуть их в рот. Порой я просто стоял наверху, смотрел на опушку со стороны и представлял, что будет, когда я туда спущусь. Поляна манила меня, не хотела, чтобы я оставался безучастным зрителем, но какое-то время мне удавалось противостоять её зову. Рано или поздно я всё же спускался и растворялся в этом летнем хаосе. Иногда я часами ходил сначала по поляне, потом по лесу, представляя, что это парк рядом с моим замком, а я в длинном платье с корсетом прогуливаюсь по заброшенным аллеям. Трава щекотала голые икры, и казалось, это юбки шуршат крахмалом, а ветер дует в лицо, развевая мои длинные золотистые волосы. Я снова был в своём царстве, куда не было доступа никому и где я чувствовал себя в безопасности.

Осенью траву скашивали (косарей я ни разу не видел, будто моя опушка сама сбрасывала с себя тяжёлые летние одежды). Кроме берёз здесь росли разве что несколько скромных молодых ёлок, поэтому осенний пейзаж не был особенно

красочным. Светло-серая дымка неба ложилась на жёлтые верхушки деревьев, сменяясь белыми стволами и опускаясь на тёмно-жёлтый покров поляны. Даже когда сильный осенний ветер срывал с веток последние листья, всё оставалось неподвижным. Если я смотрел на поляну с железной дороги в такие дни, она гипнотизировала меня — порывы ветра, волнение деревьев становились медленнее, а то и вовсе пропадали. Я срастался с этим видом, и мне начинало казаться, что всё это и вправду нарисовано на огромном холсте.

В тот день я впервые пришёл сюда зимой и в первый раз привёл кого-то с собой. Будто обидевшись на меня, опушка стояла растерянная, укрытая девственным снегом, прекрасная в своём одиночестве и нетронутая. Это был редкий в наших краях солнечный день, она искрилась миллионами кристаллов, от которых щурились глаза. Утонувшие в снегу берёзы образовали тёмный альков, за которым таилась бесконечная пустота. Мы остановились на железной дороге (лыжи сняли, чтобы перейти насыпь), я посмотрел на поляну, и снова ощутил, что всё это нарисовано. Казалось, сделаешь ещё два шага — и упрёшься в стену.

— Ну что, дальше-то пойдём? — спросила ни о чём не догадывавшаяся Ира.

— Может, вернёмся? И так уже далеко зашли. Ты не замёрзла? — я подумал, что если мы нарушим покой моей опушки, посягнув на её нетронутый снег, она так и будет стоять до самой осени, обиженная, поруганная, разломанная надвое нашей лыжнёй.

Мы пошли назад. Теперь я был сзади, и мне нравилось скользить, как по рельсам, по утрамбованной лыжне. Иногда Ира нагибалась, быстро лепила снежок, оборачивалась и кидала его в меня, я отвечал тем же, и между нами завязывалась потасовка, которая неизменно заканчивалась тем, что мы оба лежали в сугробе, смеялись, вытирали рукавицами мокрые

красные лица. Потребовалось всего несколько часов, чтобы я забыл своё раздражение и даже начал радоваться тому, что она появилась в моей жизни.

Мы вернулись и пошли к ба-ушке пить чай. Здесь-то я и разглядел Ирины губы, которые вызвали во мне некоторое смущение. На первый взгляд, в них не было ничего неординарного — губы как губы, просто очень большие и полные жизни. Но мне хотелось смотреть и смотреть на них — оставаясь лишь зрителем, который наслаждается объектом своего внимания, но не вступает с ним в контакт. Наверное, я слишком пристально её разглядывал, потому что она вдруг спросила:

— Чего уставился-то. Влюбился, что ли?

Я не нашёлся, что ответить, и просто тупо продолжал глядеть на неё.

— Влюбился, влюбился! Эх ты, жених...

Я никогда не рассматривал отношения с людьми в этом аспекте. Любовь существовала на страницах романов. Её природа была мне непонятна, но я предполагал, что рано или поздно со мной это тоже произойдёт. Я знал — объектом любви может быть только девочка, но внутри всё равно рисовались картины чего-то большого, сильного, нежного и совсем не женского, что должно прийти и поглотить меня, это и будет любовью.

Я знал такие словосочетания как «первая любовь», «любовь с первого взгляда», «страстная любовь» и «безумная любовь». Первые три для меня до сих пор оставались загадкой, последнее мама применяла иногда к каким-то обыденным вещам: «Я безумно люблю жареную куру». Я догадывался, что можно и человека полюбить так же безумно, как жареную куру, но пока не мог похвастаться, что со мной это случилось.

И вот теперь, когда Ира сделала своё смелое предположение, я задумался, что же на самом деле чувствовал, глядя

на её губы и, главное, почему это доставляло мне такое удовольствие, что хотелось смотреть на них как можно дольше. В тот вечер я ушёл от неё в некотором смятении. С одной стороны, всё говорило за то, что это и есть любовь. Но с другой — в глубине души скреблось, что это не совсем та любовь, которая была предметом моих робких мечтаний, когда я гулял по летней опушке или лежал, растянувшись в чистой воскресной постели. И уж конечно с такой любовью я не мог оставаться королевой. Надо было выдумать какую-то другую роль, другое поведение и другие мечты. Это всё было невероятно сложно, но мне нравилась мысль, что теперь у меня есть любовь, потому что она, как и подаренный на Новый год фотоаппарат, делала меня взрослым и серьёзным.

Я размышлял, была ли то любовь с первого взгляда, но решил — нет, ведь я не очень обрадовался, когда впервые увидел Иру. Но уж точно это была моя первая любовь! Дойдя до дома, я окончательно утвердился в мысли, что страстно влюблён, хотя первая часть этой идиомы всё ещё не была полностью мне понятна.

На следующее утро я проснулся необычно рано, быстро съел свой завтрак и отправился к Ире. Она ещё спала. Тётя Паня, её «ба-ушка», сказала, что я могу прийти «через часок». Этот часок мне было абсолютно нечем заняться — возвращаться домой не хотелось, а строить что-то из снега казалось бессмысленным. Как и полагается влюблённому, я маялся, ходил вокруг её дачи и думал, что любовь — такая сложная штука, которая непременно доставляет хоть самую малость, но страданий. Даже когда вот так топчешься вокруг дома, где твоя любовь спит, не испытывая ни малейшей потребности тебя видеть.

Наконец, Ира вышла из дому, заспанная и вялая, и спросила:

— Ну, что делать будем?

— Не знаю, ты что хочешь?

— Скучно... На лыжах неохота.

— Пойдём на электрички смотреть? Там есть мост, по которому они проезжают, можно под ним спрятаться и ждать, пока она проедет.

— М-м. И что?

— Да ничего, просто смешно...

— Не. Скучно на электрички смотреть. Что я, не видела электричек?

Повисла пауза, после которой Ира произнесла:

— Ну. Придумай что-то.

К такой постановке вопроса я был не готов. Раньше меня никто не просил ни о чем подобном, занятия всегда находились сами собой, в крайнем случае можно просто болтаться по даче в ожидании чего-то интересного. Но сегодня Ира, видно, решила поиграть в барыню.

Я смотрел на неё и ждал, что всё разрешится само собой. Либо мне в голову придёт какая-то гениальная идея, либо Ире надоест меня мучить. Но ничего не происходило. Она начала раздражаться ещё больше, в конце концов повернулась и пошла домой, бросив на ходу: «Если что-то придумаешь, приходи».

Я был сражён. Прежде всего, я не вполне понимал, в чём состояла моя вина и чем я заслужил такое обращение. Кроме того, меня поразила скорость, с какой изменились наши отношения. Ещё вчера никто не задавался вопросом, чем мы будем заниматься: мы просто ходили на лыжах, кидались снежками и дурачились. Наверное, я просто не умею правильно дружить, поэтому в городе мной никто не интересуется. А здесь у Иры не было выбора, и вот тебе результат — со мной просто скучно и нечем заняться.

Я вернулся к дому. Рядом с воротами изборождённый колёсами лежал в руинах мой город, хотя за ночь его и припоршило снегом. Заброшенные ледяные галереи грустно

смотрели своими мёртвыми проёмами. В этих замках больше никто не жил, остались лишь снежные стены, тосковавшие по человеческой фантазии, без которой их ждёт скорая погибель: с первым же снегопадом они превратятся в бесформенные сугробы. Я принялся было за новые постройки, но быстро бросил это дело. Было скучно и тоскливо.

Я никогда не смог бы стать хорошим другом, потому что всегда был самым слабым. И, разумеется, такая девочка, как Ира, никогда не влюбится в меня. Кроме того, я не только слабый (о чем она пока не догадывается), но и самый скучный. Поэтому меня в любом случае ждёт вечное одиночество. Не стоило даже тешить себя надеждами, будто из этой любви может что-то получиться. Я так и останусь маленьким, никому не интересным слабаком.

Вот, значит, что такое неразделённая любовь. Придётся привыкать, ведь никакой другой в моей жизни нет и не будет.

Я решил — раз уж делать всё равно нечего, пойду посмотреть телевизор. Может, там идут мультфильмы или «Кортик», который всё время показывали на зимних каникулах, но я так и не посмотрел его от начала до конца. Когда я разделся и поставил на печку чайник, то вдруг понял, как решить проблему: фотоаппарат! Как же я мог забыть про него?!

Я поиграл с ним один день, но, кроме заснеженных аллей, снимать было нечего, так что всё остальное время он пролежал на книжной полке. Я схватил его, снова оделся и помчался к Ире. За несколько метров до её дома я сменил аллюр на шаг — она не должна заметить, что я запыхался. Но я не успел окончательно отдышаться, потому что мы столкнулись с ней в воротах.

— Ну что? — с чуть наигранной скукой спросила она.

— Вот, смотри.

— Это чего такое?

— Ты что, не видишь? Фотоаппарат!

— Ничего себе. У тебя откуда? — она хотела продолжать играть свою роль, но не могла преодолеть растущее любопытство.

— На Новый год подарили, — ответил я с деланным безразличием, стараясь не выказать ни малой толики гордости, как будто такой подарок был обычным делом.

— А ты и фотографировать умеешь?

— А чего тут уметь?

Вообще-то я не очень понимал назначение дисков, составлявших выдержку и всё такое, я уже и забыл, как это всё называется. Боксёр объяснил мне тонкости разных видов съёмки, но это было ужасно сложно, так что я просто попросил его установить фотоаппарат на «Зимний пейзаж». Но Ире я всё рассказал с видом знатока. Она, впрочем, запомнила ещё меньше моего — в общем, я не беспокоился, что меня уличат в профанации.

Много лет спустя я понял: в каждом существе женского пола живёт фотомодель, даже если существо это одето в фуфайку и валенки и позирует на фоне занесённых снегом канав. Мы провели весь тот день, снимая друг друга, а потом ещё попросили ба-ушку сделать несколько фотографий, где мы вместе. Ира немного расстроилась, что плёнку нельзя проявить сразу, но мы договорились, что я напечатаю всё в двух экземплярах и отдам ей при встрече летом.

С утра Ира пришла ко мне сама. Бабуля с таинственным лицом впустила её и усадила с нами завтракать. Ира была непривычно спокойной и отстранённой. Выражение её лица можно было трактовать как скучающее или расслабленное. Я не знал, что и думать. Будет ли она снова играть со мной, как кошка с мышкой? Если нет, зачем пришла? Или всё-таки фотосессия сделала своё дело?

Весь завтрак мы молчали, иногда односложно отвечая на вопросы бабули:

— Вы бы сегодня не гуляли долго-то, а то вон ветер какой, простудитесь.

— Да.

— Что делать-то будете?

— Не знаю.

— Дома, что ли, будете сидеть?

— Наверное.

Я не смотрел на Иру, да и она была слишком занята черничным вареньем. Позавтракав, бабуля ушла к подруге, оставив нас наедине.

— Будешь телевизор смотреть? Скоро «Гардемарины» начнутся.

Мы устроились на диване и стали смотреть «Гардемаринов», которых знали наизусть. Впрочем, смотрела фильм только Ира, а я снова не мог оторваться от её губ: они опять нервно подёргивались, будто шепча что-то. Я опасался, что она заметит моё внимание и высмеет меня, поэтому не забывал для вида поглядывать на экран телевизора.

Вдруг она развернулась ко мне, глянула каким-то новым глубоким взглядом, улыбнулась, медленно поднесла руку к лицу и спросила: «Хочешь поцеловать?»

Я опешил. Не знаю, обрадовался ли я, потому что не ожидал такого развития событий. Мне нравилось любоваться её губами, и я не мог себе представить, что можно желать большего. Я не то чтобы не хотел поцеловать её, просто это удовольствие было за гранью моих фантазий.

В общем, я остолбенел — и она приняла это за согласие, потянулась и чмокнула меня в губы. Потом мы стали быстро прижиматься губами друг к другу, не открывая рта, иногда задерживаясь, как это делают взрослые.

Кроме мамы и бабули, меня никто не целовал, а уж в губы не целовали даже они. Эта была очень странная и волнующая близость. Раньше мне казалось, что когда люди целуются,

они смотрят и наслаждаются красотой друг друга. Но я вовсе не видел Ирино лица, но чувствовал её запах, дыхание, тепло. Мне хотелось раствориться, чтобы ни о чём не думать и только лишь наслаждаться непривычными ощущениями.

Наконец, бабуля загремела дверью, и нам пришлось вернуться к гардемаринам. Ира сидела вся красная, я, надо думать, тоже, потому что первыми словами бабули были: «Что раскраснелись-то, как дёвицы, чудили тут без меня?» Ира смутилась ещё больше, я пробормотал что-то невразумительное и уставился в телевизор.

После фильма мы пошли гулять. Вопросы «чем заняться» не возникало, мы просто бродили по деревне. Больше всего мне хотелось поцеловать её снова, но когда я предпринял робкую попытку (мешали шарфы), Ира отстранилась от меня, проговорив: «Ты что, дурак? Губы потрескаются».

Так мы дошли до самой моей опушки. Я снова не решился спуститься вниз, да и лыж в этот раз не было. Поэтому мы стояли и смотрели на пустынный пейзаж, застывший и умиротворённый. Я робко взял её за руку, и хотя сквозь варежки было сложно что-то почувствовать, мне показалось, что её рука тепло и нежно ответила на моё прикосновение.

Я был счастлив.

Наш роман встал на накатанную лыжню. Ира приходила завтракать, бабуля через некоторое время оставляла нас одних, мы включали телевизор и целовались на протяжении часа или двух. Так же по-детски. Потом бабуля возвращалась, а мы шли гулять. Почти всегда мы ходили на опушку, смотрели на неё несколько минут, держась за руки, и возвращались в посёлок.

Нельзя сказать, что всё шло совсем уж гладко и безоблачно. Если я был определённо влюблён (счастлив или нет — зависело от обстоятельств), то Ира постоянно примеряла на себя разные амплуа. Она могла придумывать что-то новое по

несколько раз на дню, и не успевал я подстроиться под одно настроение, как оно тут же сменялось другим. Иногда ей становилось скучно, и она рано оставляла меня, всем своим видом показывая, что устала от моего занудства. В такие дни я ходил вокруг её дома, надеясь, что её настроение переменится. Надежда моя была настолько слаба, что каждый раз мне казалось — она не выйдет никогда. Я возвращался домой, запирался в холодном сарае и сидел, уставившись в стену, иногда плача, пока не замерзал настолько, что не мог пошевелиться. В другие дни она вдруг становилась загадочной и мечтательной, подолгу смотрела на меня, отвечая на все вопросы лишь улыбкой. Или могла быть роковой, взглянуть и ни с того ни с сего мрачно произнести: «Наверное, я никогда не буду счастлива». Несмотря на то что в таком её поведении не было прямой для меня угрозы, я не ждал ничего хорошего и надеялся, что эта таинственность скоро пройдёт.

Из-за частых перепадов её настроения я падал духом, но готов был всё стерпеть ради тех минут счастья, когда она забывала о своих ролях и просто гуляла со мной или целовала на диване у телевизора.

Однажды на исходе зимних каникул Ира пришла, окружённая ореолом тайны, и весь завтрак просидела с загадочным лицом. Когда мы остались одни, она достала колоду карт и спросила:

— А ты уже делал это?

— Ну, мы с бабулей в дурака иногда играем.

— Сам ты дурак. На вот, посмотри.

Она вынула карты из картонной коробки, и я увидел на них фотографии. Колода называлась «Августин». Из первых картинок — женщины в длинных платьях стояли спиной к зрителю, образуя круг, — становилось ясно, что это иллюстрации к сказке Андерсена, где свинопас получает плату за свои поделки. Удивляло лишь, что юбки фрейлин задрались и под

ними ничего не было. Это рассмешило меня. Я рассудил так: они решили закрыть принцессу юбками, забыв, что на них нет нижнего белья. На следующих фотографиях дамы расступались, и мы попадали в центр круга. Тут я, наконец, понял, что имела в виду Ира, спрашивая, делал ли я «это».

У меня было общее представление о том, что происходит между мужчинами и женщинами — всякие там поцелуи, взаимные поглаживания и шёпот на ушко. Я был уверен: если не принимать во внимание, что взрослые делают это ночью в постели, наши отношения с Ирой от них почти не отличались.

Ирины карты кардинально перевернули моё представление о любовных связях. Я быстро просматривал картинки одну за другой, терзаемый смутным чувством отвращения и некоторого страха, что всё это правда, потому что ведь даже не нарисовано, а сфотографировано. То есть этот мужчина с усами (свинопас) и ярко накрашенная женщина с большой грудью (принцесса) взаправду делали все эти вещи перед фотоаппаратом. Мне было отчего-то стыдно не только за них, но и за себя. С одной стороны, наряду с брезгливостью, я ощущал какое-то необъяснимое удовольствие в разглядывании этих картинок. С другой — было очевидно, что сам я на такое вряд ли способен. Меня раздирали противоречивые желания, вызванные пониманием, что теперь всё навсегда изменится, я стану другим. Мне хотелось бросить карты, не смотреть их — хотя я, наверное, не смог бы в будущем делать вид, будто ничего не произошло. Они притягивали, манили в свой мир, такой чужой и новый.

Ира всё это время сидела тихо, разглядывая картинки вместе со мной, впрочем, было видно, что она уже прежде просмотрела их, и не раз.

— А что, детям так тоже можно делать? — наконец произнёс я. Из всех вопросов, вертевшихся в моей голове, этот был единственным, который можно было высказать вслух.

Моя реакция удивила Иру, лицо её чуть вытянулось, но она быстро опомнилась и рассмеялась:

— Ха-ха. Детям. Нет, малыш, детям нельзя. А ты у нас ещё маленький, да? Никогда не видел таких картинок? Ну иди мамочку спроси, она тебе расскажет, откуда дети берутся.

Я покраснел и готов был заплакать, поняв, какую глупость сморозил, но сдержался и молча терпел Ирины насмешки, пока вернувшаяся бабуля не спасла меня от этой пытки. Ира спрятала карты, мы оделись и вышли на улицу.

Настроения гулять не было, тем более что она продолжала подкалывать меня. Хотелось остаться одному и всё хорошенько обдумать, но удобного предлога уйти не представлялось, поэтому я ходил за ней, угрюмый и пристыженный, пока ей не наскучило шутить над моей неопытностью. На прощанье она бросила что-то типа: «Ну, раз у тебя нет никаких идей, я пошла домой».

Целый день я проштатался в одиночестве. Помимо технических вопросов касаясь фотографий, меня мучили сомнения по поводу Иры. Раз она так уверенно смеялась надо мной, значит, сама уже делала «это». Ира, маленькая Ира в большой шапке-ушанке никак не подходила на роль женщины с грудью, как я ни старался представить. И уж совсем было неясно с кем. Не с таким же взрослым мужчиной, как на картах.

Я был абсолютно уверен в одном: даже при нашем обоюдном желании я не смогу повторить увиденное. Это заставило меня ещё острее почувствовать собственную неполноценность. Я понял — моё счастье с Ирой так хрупко, что рано или поздно закончится крахом. Скорее, рано.

Ночью я долго лежал с открытыми глазами, изучая трещины в побелке на потолке. Миллионы мыслей и видений проносились в моей голове. Мужчина с усами и женщина с грудью, Ира, делающая «это» с мужчиной с усами, мужчина

с усами один... В конце концов я уснул, но мне по-прежнему снились эти карты, теперь я уже был участником истории с Августином. Вот я стою, окружённый женщинами с задранными юбками, но из-за тканей не вижу их лиц — они просто декорация, а не реальные живые люди. Вот мужчина с усами входит в круг. На нём ничего нет, кроме жилетки свинопаса. Мне страшно опускать глаза, я боюсь того, что могу там увидеть. Со мной должно произойти что-то важное, но я не знаю, что именно, и просто проваливаюсь в глубокий сон, где всё смешивается — чувства, ощущения, порывы тела.

На следующий день Ира пребывала в ореоле грустной таинственности. Целоваться не захотела (лишнее подтверждение моих вчерашних предчувствий, что нашему счастью конец), после завтрака мы пошли гулять. Я решил взять фотоаппарат, надеясь, что он защитит меня от новых шуток. Я снимал деревья и дома, Ира молчала и подолгу смотрела на меня, чему-то мечтательно улыбаясь. Наконец произнесла:

- Всё. Сегодня уезжаю в город.
- Как, ещё два дня каникул осталось!
- Меня забирают сегодня.

Потом состоялся один из тех странных диалогов, когда Ира говорила загадками, не имеющими отгадок, а я осторожно пытался вытянуть из неё как можно больше информации. Это была такая игра. Мне были ясны её правила, но одним из них было требование притворяться, что я не вижу Иринога лукавства, потому что в противном случае она могла начать играть во что-то другое, а мне этого очень не хотелось. Мы всегда рады привычному (пусть и томительному) положению вещей и страшимся неизвестности, способной принести облегчение.

Между вопросами и ответами были длинные паузы, и, если не вслушиваться в смысл реплик, можно было подумать, что два актёра ради смеха решили одновременно де-

кламировать две разные пьесы. Иногда эти паузы повисали посреди Ириной фразы, как будто она забыла текст и внимательно смотрит на суфлёра, потерявшего нужное место в книге.

— Как я буду Олегу в глаза смотреть, не представляю.

— М-м. Не знаю. А что случилось?

— Да нет, ничего.

— А кто это Олег?

— Да так, никто... Просто раньше я ему никогда не изменяла.

— И что теперь?

— Что, что... ничего, — молчание, — придётся всё скрывать, — снова пауза, — надеюсь, он ничего не узнает, — она надолго затихла, ожидая моего очередного вопроса, но мне ничего не приходило в голову, — ...а то ведь он у меня каратист. Не поздоровится ни мне, ни тебе.

Я шёл с маской отрешённости, будто мне не особо интересно, что она там говорит, но внутри что-то оборвалось. Мгновенно нашлось объяснение всем её странностям, картам, вопросам про «это», умудрённости в плане любви. Каратист. Я подозревал, что ничего хорошего от сегодняшнего дня ждать не стоит, но такого развития событий не ожидал.

Самое неприятное заключалось в том, что после этого диалога наша дальнейшая прогулка, в общем-то, теряла смысл. По крайней мере для меня. Но мы всё шли в направлении железной дороги, а значит, моей опушки. Ира время от времени тяжело вздыхала и бросала отрывочные трагичные фразы наподобие «Эх, бедный Олег, он ничего не должен узнать».

Я чувствовал себя униженным, причём несправедливо. Мне хотелось побыть одному, лечь лицом к стене и плакать, но я не находил в себе сил оставить Иру и следовать за ней, как пёс, которому не нравится гулять, но он всё плетётся за хозяином, потому что поводок слишком сильно стягивает шею.

Ира делала вид, что не замечает моего состояния, а вернее сказать, меня. Ей нужны были уши, чтобы не говорить самой с собой, и никакой ответной реакции не требовалось.

Мы дошли до железной дороги, поднялись по насыпи и стали смотреть на поляну. Начиналась оттепель, снег слегка просел и побурел. Покрытый неприятной ломающейся от прикосновения коркой, он уже не был чистым и ласковым. Свидетельница моего счастья, опушка стояла будто отвернувшись от меня, не желая разделить моё горе. Я хотел было сделать фотографию, но передумал — слишком уж уныло выглядел мой пейзаж.

Я не стал брать Иру за руку, потому что был уверен — одёрнет. Мы постояли немного, пока подъезжавшая электричка не заставила нас сойти с насыпи, и повернули назад.

На перекрёстке рядом с домом Ира бросила: «Ну пока, дальше не ходи». Я был рад, что она отпустила меня, и даже не хотел смотреть ей вслед, но вдруг, повинувшись внезапному порыву, догнал её и надел ей на шею фотоаппарат. Боясь отказа, я сделал всё настолько стремительно, что Ира, не успев опомниться, так и осталась стоять с подарком, я же быстро ретировался в свои ворота. Чтобы не встречаться с бабулей, я пошёл в сарай, заперся там и долго сидел, смотря в одну точку и ёжась от холодного, пропахшего заиндевевшим сеном воздуха.

Наконец, короткие, но насыщенные каникулы закончились. Я вернулся в город. Я не смог бы объяснить этого словами, но ясно понимал — во мне что-то безвозвратно изменилось. Раньше у меня был свой, обособленный от других мир. На даче он превращался в снежное царство, в городе — в герцогский двор. Но колеса Ириной машины, раздавившие ледяную страну, проехали не только по дворцам и замкам. Вместе с ними была разрушена вся моя вселенная, потерявшая для меня всякий интерес. А за её пределами я чувствовал себя ещё более уязвимым, чем раньше.

Я больше не играл после школы, мои придворные пылились на шкафу. Сделав уроки, я валялся на диване, задрыв ноги на стену и глядя в потолок. Мне было скучно. Когда мама и Боксёр бывали дома, я лежал с книгой и делал вид, что читаю, но если и просматривал за вечер две-три страницы, то ничего не запоминал, мысли мои носились где-то далеко.

Меня одолевала тоска. Сплин, о котором я читал в книгах. Но это был не романтический сплин, заставлявший людей отправляться в дальние страны на поиски приключений, а ленивое расслабленное бездействие, когда сил хватает лишь на то, чтобы размышлять.

Я много думал об Ире. О том, что при любых раскладах мы бы не смогли быть вместе, ведь у неё был Олег. Зачем тогда она всё это затеяла? Было бы глупо предполагать, что её посетила неожиданная любовь — очевидно, что никто не может полюбить такого зануду, как я. Ей просто было одиноко на даче. Безусловно, она коварная девочка, разрушительница сердец, но это не мешало мне любить её. Я с горечью думал, что никогда не буду счастлив, потому что не разлюблю Иру, но при этом понятия не имел, что могло бы заставить её предпочесть меня своему Олегу.

Если бы я жил в одном веке с героями моих романов, то ушёл бы в монастырь и посвятил свою жизнь молитве и воспоминаниям о былой любви. Но в наше время монастыри были не в моде. К тому же мама вряд ли одобрила бы мой выбор.

Я думал об Олеге. Какой он из себя, победитель-каратист? Может, он вообще старшеклассник. Но даже если и так, это наверняка не единственное его достоинство. Я видел их. Длинных старшеклассников, которые курили за углом школы, играли в футбол, пили пиво. Интересно, когда я подрасту, тоже стану таким? Наверное, нет. Миха и Пень — несомненно, уже покуривают. А я останусь слабаком. К тому

же что меняет возраст? Ведь и Олег повзрослеет, поступит в институт, они с Ирой поженятся, и тогда можно навсегда забыть о ней. Впрочем, так далеко мои мысли заходили редко, мне было сложно представить Иру в роли матери семейства и жены — пусть даже и каратиста.

Однажды мама решила устроить очередную фотосъёмку в новых платьях, пошитых из доставшейся по блату дефицитной ткани. Поскольку у нас в семье теперь был фотоаппарат, она не стала просить Боксёра принести свой, но дождалась его, не полагаясь на мой фотографический талант.

Это была тихая ничего не предвещавшая суббота. Я лежал в своей комнате с «Всадником без головы», заставившим меня забыть о страданиях. Мама с Боксёром смотрели телевизор в большой комнате. Суп сварен, хлеб куплен, бельё я обещал отутюжить завтра, так что обо мне должны были забыть до самого ужина. Когда мама позвала меня, я по привычке прислушался к тону её голоса, найдя его расслабленным и даже весёлым — влияние Боксёра. Наверное, просто хочет попросить меня заварить им чаю или что-то в этом роде.

Я вошёл в большую комнату. Это была парадная зала, где принимались гости, раскладывался праздничный стол (в обычные дни он хранился на балконе в сложенном виде) и где мама проводила выходные перед телевизором. В серванте был красиво выставлен хрусталь, на софе лежали новые красные подушки, с обеих сторон от коричневого деревянного журнального столика стояли два кресла, недавно заново обтянутые цветастой тканью: бежевой с красными маками. Напротив этой композиции — цветной телевизор «Рубин». Боксёр сделал к нему дистанционный пульт управления, провод от которого незаметно тянулся к мамину креслу.

На пульте имелось шесть кнопок для переключения программ, чтобы регулировать громкость, приходилось вставать, но на этот случай у мамы был я. На полу лежал бежевый палас с коричневыми тропическими цветами, стену украшали фотообои с кромкой летнего леса и берегом реки. Они были чем-то похожи на обои в моей комнате, но выцвели от времени и местами потёрлись. На потолке висела мамина гордость — жёлтая (под золото) люстра с прессованным чешским хрусталём. Если сильно прыгнуть прямо под ней, то хрусталь качался и звенел. Правда, один раз я допрыгался — одна из висюлек упала и разбилась, за что мама устроила мне нагоняй.

Они сидели в креслах. Когда я вошёл, оба посмотрели на меня, мама спросила:

— Артём, можешь нам фотоаппарат свой дать? Дядя Саша меня снимает немного.

Вот она, расплата. Сказать, что я забыл его на даче? Всё равно потом узнает, будет ещё больше ругать за то, что соврал. К тому же мне было на руку присутствие Боксёра, может, при нём скандал будет не таким сильным.

— Он потерялся, — глухо ответил я.

Мама не поверила своим ушам:

— Что?

— Потерялся. На даче. В снегу где-то.

— Так, поди сюда, — я подошёл, мама взяла меня за подбородок и повернула к себе, — ты мне будешь опять врать? Как это «потерялся»?

— Ну так. Гулял и не заметил, что он упал, а потом не нашёл.

— Артём, ты смеёшься надо мной, что ли? Ты что такое творишь-то? Как это потерялся? Тебе кто его вообще на дачу брать разрешил? Ах ты, дрянь такая, потерялся он! Тебе для чего его купили, чтобы ты по канавам с ним шлялся?! Что за ребёнок такой, никакого сладу с ним нет, что за выродок?! —

мама была так шокирована этой новостью, что даже не стеснялась Боксёра и отчитывала меня, как будто мы одни. Ну разве что ни разу не ударила, что уже хорошо. — Почему ты мне раньше не сказал? Ты думал, дрянь, что я не узнаю, так, что ли? Ты решил ещё и скрывать от меня? Да ты вообще больше никаких подарков не получишь, ни на Новый год, ни на что ещё, если ты так ко всему относишься. Ты что думаешь, люди деньги печатают, что ли? Что всё просто так достаётся? Нет, ты подумай только, и так спокойно говорит ещё мне, что он потерялся! Ах ты сволочь, выродок небесный!

— Ну ладно, зай, что ты кипятишься, подумаешь, фотоаппарат, — сказал примирительным тоном Боксёр.

Это был неожиданный и приятный демарш. Раньше меня никто не защищал. Разве только папа, да и то в крайних случаях, к которым потеря фотоаппарата не относилась бы. Я почувствовал тёплую благодарность, но немного пожалел Боксёра, зная, что в мамины монологи вступать нельзя. Она посмотрела на него неодобрительно и продолжила:

— А я и не кипячусь. Мне что, это же не мой фотоаппарат. Просто ведь он, зараза, думает, что всё для него тут устроено, что все должны на карачках ползать, лишь бы его удовлетворить, так ведь, Артём? Смотри на меня, когда с тобой разговаривают! Ты что себе думаешь, ты самый важный тут, что ли? Одно потерял, другое поломал, а все остальные должны только новое покупать?

— Ну ладно тебе, зай, перестань, — тихо повторил Боксёр.

Мама снова бросила на него грозный взгляд и, видимо, боясь, что он будет защищать меня и дальше, закончила:

— Так, иди с моих глаз, и чтобы больше я тебя не видела. Никаких подарков больше не получишь.

Я был уже достаточно взрослым, чтобы знать цену маминим угрозам, так что они меня вовсе не расстроили. До дня рождения оставалось ещё несколько месяцев, за это время

всё забудется. В целом я легко отделался, и Боксёр сыграл здесь важную роль. Если бы не он, мама кричала бы на меня все выходные, а так поругает немного и оставит — историю можно считать исчерпанной.

Я снова принялся за Майн Рида, но через некоторое время услышал знакомое недовольное гудение за стеной. Обычно оно раздавалось, когда мама ругала меня, оставшись наедине с собой: порой не могла успокоиться часами. Но сейчас она была не одна, ей отвечал бас Боксёра. Я стал вслушиваться в их разговор, но мама плотно закрыла дверь, так что слов было почти не разобрать. Доносились лишь отрывки фраз: «Зачем кричать?» — говорил Боксёр, — «Бу-бу-бу сама знаю, как бу-бу воспитывать, бу-бу-бу, не лезь, бу-бу, сколько можно, бу-бу». Мне стало тревожно. Они скандалили из-за меня. Опять я всё испортил, не надо было отдавать Ире фотоаппарат. Или хотя бы соврать, что я забыл его на даче, пусть ложь раскроется позже, но тогда, может, пострадал бы я один. Теперь она будет ругать Боксёра за то, что он защищал меня, а тот, наверное, не станет слушать её молча. Он-то не знает — чем больше с ней споришь, тем сильнее она распаляется.

Я сел на краю дивана, готовый быстро лечь, если они выйдут из комнаты, ловя каждое слово. Они поругались ещё немного и притихли. Боксёр, кажется, понял, как надо действовать, чтобы успокоить маму.

Этот день стал для меня уроком: нельзя допускать, чтоб тебя защищали, иначе последствия могут оказаться ещё хуже. Я был благодарен Боксёру, более того, почувствовал, что после истории с карате это был ещё один шаг, по-настоящему сблизивший его со мной. Но несколько следующих дней я ходил в тревоге, боясь, что они будут ругаться снова или что Боксёр вообще больше не появится в нашем доме.

В субботу, пару недель спустя, мама позвала меня своим психологическим голосом, от которого я уже было отвык.

Я испугался, что предстоит разговор про Боксёра, мол, у него много работы, поэтому он теперь придёт не скоро. Как обычно в таких случаях, она сидела с видом сивиллы и курила (одна нога поджата под другую, рука с сигаретой на отлёте). Вид её предвещал длинную беседу, так что я внутренне съёжился и приготовился к худшему.

— Артём, я хотела с тобой поговорить, садись, — мама глубоко затынулась, пока я устраивался в кресле напротив, — помнишь, когда ты был маленький, то спрашивал, откуда берутся дети, и задавал ещё много других вопросов, на которые я тебе тогда не могла ответить. Теперь, думаю, пришло время всё тебе рассказать.

От неожиданности я чуть не рассмеялся. Никогда бы не подумал, что мама способна обсуждать такие вещи. Я вспомнил Ирины карты (которые, надо признаться, никогда и не забывал).

После возвращения с дачи я попытался найти больше информации об отношениях между полами, и мои предположения подтвердились. Обрывки разговоров мальчишек в школе, их шутки и ухмылки говорили о том, что всё увиденное мною на даче было правдой. Я сопоставил эти факты с тем, что знал раньше относительно деторождения, и в моей голове сложилась более-менее полная картина. И теперь мама сидела напротив меня с профессорским видом, как будто решила, наконец, объявить, что Деда Мороза не существует.

— Видишь ли, тела мужчины и женщины, как ты уже мог заметить, устроены по-разному. Мужчины выше и сильнее, женщины слабее. Тело женщины создано таким образом, чтобы она могла выносить и родить ребёнка. Внутри у каждой женщины есть орган, который называется матка, в нём ребёнок проводит первые девять месяцев своей жизни. Это, впрочем, для тебя не секрет, ты же видел — когда тётя Аня была беременна, её Павлик был у неё в животе.

— Да, мам.

— Но ты, наверное, задаёшься вопросом, откуда же ребёнок появляется в матке у женщины?

— Ну... э...

— Вот тут-то становится понятной роль мужчины. Дело в том, что женщина от мужчины отличается не только наличием матки. Когда ты ходишь в туалет писать, то орган, которым ты это делаешь, называется половым членом. У женщин его нет. У нас вместо полового члена есть впадина, которая называется влагалищем. Так вот, для того чтобы у женщины в матке появился ребёнок, мужчина должен вложить свой половой член во влагалище женщины, — последние слова она произнесла нарочито просто, как будто объясняла задачу по математике: «Если у Кати два брата, а у каждого брата по одной сестре, то в семье три ребёнка. Почему? Потому что Катя является той самой сестрой для обоих братьев».

Несмотря на то что я хорошо представлял себе механическую сторону процесса, мамины термины были для меня в новинку. Я снова подумал про карты и понял, что свинопас вкладывал свой половой член во влагалище принцессы. Почему-то эта мысль показалась мне противной, но я продолжал сидеть с таким видом, будто мама рассказывает захватывающую сказку.

— Тебе пока всё понятно, Артём?

— Да, мам.

— Так вот, когда мужчина вкладывает свой член во влагалище, происходит семяизвержение, то есть он как бы писает, но на самом деле это не моча, а сперма — белая жидкость, в которой содержатся маленькие сперматозоиды. Эти-то сперматозоиды, соединившись с яйцеклеткой в организме женщины, и образуют зародыш, из которого потом получится ребёнок.

Меня слегка затошнило от всех этих сперматозоидов и яйцеклеток, образовавших в моей голове невнятную массу из невкусных и неприятных слов.

— У мальчиков сперматозоиды не вырабатываются, потому что они ещё не готовы к половым отношениям, но рано или поздно ты поймёшь, что это такое. Это называется период полового созревания. Помимо того что мальчики становятся молодыми мужчинами, есть и негативные стороны, такие как прыщи, например, сложности с характером и прочее. Но нужно понимать — это всё временно, и самое главное — остаться преданным своей семье. Чтобы мы не стали с тобой врагами, ты должен бороться с собой и не забывать, что я твоя мать.

Мама поговорила ещё про особенности периода полового созревания и трудности в отношениях, а потом, как она часто это делала, неожиданно задала вопрос, выбивший меня из колеи:

— А что там у тебя произошло с девочкой Ирой, расскажи-ка мне? Вы что, поссорились?

Я не знал, что ответить, потому что произошедшее нельзя было назвать ссорой. К тому же это была последняя тема, которую я хотел обсуждать.

— Видишь ли, Артём, первая любовь никогда не бывает счастливой. А в твоём возрасте и подавно. Девочки взрослеют быстрее, поэтому вам сейчас сложно найти общий язык. Но ты не должен переживать, рано или поздно ты подрастёшь и на тебя будут обращать больше внимания. Можешь дядю Сашу расспросить про его детство, когда ему было столько же лет, сколько тебе. Он мне сразу сказал, что вряд ли что у вас получится с Ирой, но так и должно быть.

Мамин пассаж привёл меня в замешательство. До сих пор мне казалось, что зимнее приключение навсегда останется не то чтобы секретом, но чем-то скрытым от посторонних

глаз. Мне было немного стыдно, не хотелось, чтобы подробности тех каникул кто-то знал. Но мало того, что стараниями бабули эта тема перестала быть тайной, она ещё и обсуждалась между мамой и Боксёром, будто это была программа телепередач или погода на выходные.

— Мальчик-то наш влюбился. Ира там у него какая-то.

— Ну, в этом возрасте это нормально. Ничего не выйдет у них, конечно, но не страшно, пострадают и забудут.

Неприятнее всего было осознавать, что и у Боксёра есть своё мнение по этому вопросу. Он не должен был ни о чем знать. Я отчего-то стыдился его больше, чем маму или бабулю.

Мы не проводили много времени вместе, не вели психологических бесед, но иногда он заходил ко мне и спрашивал, как дела, как настроение, почему я больше не играю со своими придворными, что я читаю. Сначала мне расспросы его не нравились, как настораживали все вопросы, задаваемые взрослыми, но потом я привык к ним, слыша в них желание подружиться. Оно было неподдельным и потому особенно ценным, ведь обычно я не представлял никакого интереса для взрослых и они общались со мной только чтоб выказать уважение маме. Так гости непременно треплют за ухом хозяйского кота, даже если мучаются от аллергии. Впервые кто-то хотел понравиться мне ради меня самого.

Я боялся, что история с Ирой нарушит этот хрупкий баланс. Безусловно, она была, как выразилась мама, моей первой любовью, но мне не хотелось, чтобы она влияла на мою повседневную жизнь.

Я подумал, что Боксёр теперь перестанет приходить ко мне, потому что решит, что я уже достаточно взрослый, раз у меня была первая любовь. Или, наоборот (что ещё хуже), станет говорить со мной об Ире или девочках вообще, и тогда с ним станет сложно общаться, как и со всеми остальными.

После этой беседы было о чём подумать. Помимо неприятного чувства, что сокровенное снова стало публичным, этот разговор в его общеобразовательной части не принёс ничего нового. Я даже не могу сказать, что он расставил всё по местам. У меня возникло гораздо больше вопросов, но я боялся их задать, опасаясь новой беседы, которая могла закончиться большими потерями.

Как я должен понять, что наступил период полового созревания? Когда у меня начнёт вырабатываться сперма и что с ней делать? Как определить, что я превратился в молодого мужчину? Самые сокровенные мысли касались всё тех же Ириных карт. После маминой лекции стало ясно — они не были просто постановкой для фотографий, даже мама делала нечто подобное по крайней мере один раз в жизни (и, надо думать, делает до сих пор с Боксёром, только почему-то у них не появляются дети).

Другими словами, это было нормальной стороной отношений между мужчинами и женщинами. Но когда я думал об этом и вспоминал принцессу с задранной юбкой, мне становилось противно и стыдно за свинопаса. Я хотел, чтобы принцессы там не было вовсе — как, впрочем, и её фрейлин. Меня преследовало смутное ощущение, словно со мной что-то не так и я не должен таким образом реагировать на вещи, по всей видимости, обыденные.

Я нашёл-таки простое объяснение своей реакции — просто я ещё не стал молодым мужчиной, а мама не упоминала о том, как должны относиться к этой стороне жизни мальчишки. Но ведь Ира тоже отнюдь не была женщиной, а её Августин не шокировал.

В самом начале лета Боксёр пригласил нас на свою дачу в Карелию. Не то чтобы я не хотел ехать к бабуле, но это было хорошее начало каникул. За исключением давнишнего отпуска в Крыму, который я почти не помнил, мы не путешествовали. Правда, каждое лето проводили целый день в одном из дворцовых пригородов, гуляли по паркам, ели мороженое и смотрели на фонтаны. Но со временем эти регулярные поездки превратились во что-то приятное, но заурядное.

Карелия была далеко. Предстояло добраться на поезде до Выборга, потом пересесть на дрезину (я понятия не имел, что это такое) и ехать почти до границы с Финляндией. Пришлось заранее заказывать пропуска — дача Боксёра находилась в приграничной зоне. Только чтобы добраться туда, требовался день, так что это было несравнимо с поездкой в пригород.

Транзит через незнакомый город, близость чужой страны, избранность местности, в которую не каждый мог попасть — всё придавало путешествию ореол новизны и особой романтичности. К тому же это был первый совместный выезд с Боксёром, который, я надеялся, не станет говорить со мной про половое созревание. Мама оживилась перед поездкой и отдалась суете — покупала продукты, собирала вещи и погружалась в долгие телефонные разговоры с подругами об энцефалитных клещах.

Я уже вышел из возраста, когда родителей держат за руки, поэтому шагал между мамой и Боксёром с гордым видом, уверенный, что вокзальная публика смотрит на нас и обсуждает нашу семью, которая направляется не иначе как в Финляндию. Мы купили билеты, нашли свой поезд. Несмотря на то что дорога была не такой уж долгой, я стал мечтать о далёком захватывающем путешествии в дальние страны, полном неожиданных открытий — которое, впрочем,

начинается с плацкартного вагона (липкий столик в коричневых пятнах, сломанная шторка на пыльном окне с останками раздавленной оси). Мама уснула, Боксёр читал газету, а я глядел в окно и представлял, что на мне длинное платье с несколькими нижними юбками, шуршащими при ходьбе. Точнее, я не представлял их, а физически ощущал, расставив ноги таким образом, чтобы мне было достаточно места в моих юбках.

Мимо проходили одетые в дорожные костюмы и твидовые пиджаки джентльмены, а рядом сидел огромный, громкий и жизнерадостный Боксёр, роль которого менялась на протяжении всего пути. То он был моим спутником, оберегающим меня во время долгого и опасного бегства из охваченной революцией страны; то превращался в слугу, оруженосца-телохранителя, неотступно следовавшего за мной; или вдруг я видел в нём некую тёмную личность, похитившую меня из дому и увозившую неизвестно куда и зачем.

Он не заводил разговоров на скользкие темы, ни слова об Ире или неудачах первых влюблённостей. Я был благодарен ему за это и готов был поверить, что он, наверное, лучший мужчина, который когда-либо был рядом со мной, и если бы он не был маминым другом, вполне возможно, мог бы стать моим.

Мы приехали в Выборг. Город было решено посетить на обратном пути, потому что мы опаздывали на ближайшую дрезину, которая мало чем отличалась от электрички, только тащилась очень медленно. Я мог бы оставаться в своих мечтах, рассматривая непривычные пейзажи, если бы вагон не был набит битком так, что мы простояли почти всю дорогу.

В посёлок приехали затемно. Дача находилась на самом краю, и минут сорок мы шли по ничем не примечательным аллеям с домами более новыми, чем у бабули, но всё равно похожими один на другой. Дом Боксёра, достаточно

большой, с недостроенным ещё чердаком, стоял последним в ряду близнецов, за ним зияла чернота леса.

Я долго не мог уснуть. Через открытое окно слушал шум ветра в деревьях и думал, как хорошо было ехать рядом с Боксёром, читавшим свою газету. Я мог бы всю свою жизнь вот так следовать за ним, отвечать на его короткие и простые вопросы такими же короткими и простыми фразами и чувствовать, что мы составляем странное, непонятное и весьма неустойчивое, но всё-таки одно целое.

Утром мы пошли купаться на озёра. Лес сильно отличался от того, что рос в наших краях. В нём было не так много кустарника, зато росли высокие прямые сосны, из которых мы неожиданно выходили на большие светлые поляны. Пейзаж походил на фотообои в моей комнате. Под ногами приятно шуршало: тропинка была выстлана сухой хвоей. Казалось, что это не лес, а парк, за которым ухаживает заботливая рука садовника — так здесь было чисто, прибрано, аккуратно. Не торчали случайные кусты, сосны были одинаковой толщины, изредка появлявшийся подъельник производил впечатление только вчера высаженного. Боксёр рассказал, что осенью за пятнадцать минут набирал здесь полную корзину грибов, а рыбы в озёрах столько, что за полдня можно наловить на целую неделю. Видно было, что он знал и любил эти места, хотя дачу свою начал строить недавно. Мы долго шли по тропинке, вилявшей между сосен и оврагов, пока, наконец, за одним из поворотов не появилось озеро. Вода была так спокойна, что казалась покрытой стеклом. Озеро смахивало на ринг, тихий и немного сонный перед поединком, окружённый канатами ив, прикреплённых к столбикам сосен. Было немного боязно приближаться к нему — не хотелось нарушать его спокойствие.

Впервые мы с Боксёром были без одежды. Мне и раньше встречались мужчины в плавках, но в этот раз я чувствовал

нечто особенное. Сладко засосало под ложечкой. Я понял, что всегда хотел увидеть раздетым именно его и что большая часть моего возбуждения и радости от поездки исходили именно из предположения, что мы пойдём купаться.

Это было похоже на мои ощущения, когда я подглядывал за тренером карате. Мне нравилось смотреть на его тело, но я понимал, что это удовольствие запретно, его нельзя проявлять, более того, нужно стыдиться. Причём если в случае с тренером табу было неосознанным, интуитивным, то теперь я знал, что подглядывание за мужчинами жестоко пресекается.

Я украдкой смотрел на него, бросая взгляды на мощное тело. Чтобы разглядеть его всего, требовалось время, я выхватывал то широкие плечи, то необъятный торс, то сильные ноги, чтобы потом сложить в уме общую картину. Мне хотелось бы потрогать эти мышцы, стянутые под белой кожей и игравшие при каждом движении. Он не замечал моего внимания, рядом была мама: вода казалась ей слишком холодной, Боксёр уговаривал её окунуться.

Он зашёл на ринг уверенно, не пробуя воду и не останавливаясь, чтобы привыкнуть, а потом нырнул с головой и оказался на поверхности в нескольких метрах от берега. Всё это время я зачарованно наблюдал за его мускулистой спиной и уверенными сильными движениями.

Плавать я не умел, поэтому ходил по илистому дну рядом с берегом, поджимая ноги и по-собачьи барахтаясь. Боксёр звал меня к себе на середину озера, но я только смеялся в ответ и мотал головой. Он подплыл ко мне и спросил:

— Ты чего, Артёмка, плавать, что ли, не умеешь?

— Не-а, — улыбнулся я.

— Да ладно! Это же проще простого! Хочешь, научу?

Я промямлил что-то в ответ — ни да ни нет. Тогда он вдруг поднял меня на руки, посадил к себе на плечи и поплыл. Я обнял его за шею и прижался к нему. Даже в самых

смелых мечтах я не мог представить себя на плечах Боксёра. К сожалению, возможности полностью отдаться своим ощущениям не было — робкое удовольствие от прикосновения к чужому телу заглушалось страхом, что мы отплывём далеко от берега и если Боксёр начнёт тонуть, никто не сможет меня спасти. Ровно посередине озера он стряхнул меня с плеч, и я оказался в воде. Он держал меня за руки, а я изо всех сил дёргал ногами, стараясь удержаться на плаву. В моих глазах, видимо, стоял такой ужас, что Боксёр счёл нужным успокоить меня:

— Ну ладно тебе, хватит трусить, я же рядом, ничего не случится. Давай-ка я буду сзади тебя страховать, а ты плыви к берегу. Если не получится, я тебя подхвачу.

Он развернул меня и отпустил. Я поплыл по-собачьи, захлабываясь и дёргая конечностями, как в эпилептическом припадке. Тогда он обхватил меня поперёк живота, как мамы купают младенцев, и принялся учить разводить руки и ноги. Через какое-то время я стал лучше держаться на воде и, хотя плыл медленно, чувствовал себя более уверенно.

На берегу я подумал, что, наверное, просто не создан для плавания, и Боксёр зря тратит время. Но он смотрел на положение дел более оптимистично:

— Ну, для первого раза очень хорошо. Главное, что ты, Артёмка, страх переборол и поплыл. Завтра ещё попробуем, и через неделю ты у меня будешь готов к Олимпийским играм.

Я не очень-то поверил про Олимпийские игры, но меня переполняла гордость за то, что я переборол свой страх. Эти слова было особенно приятно услышать от Боксёра, который не был щедр на комплименты, да и вообще редко давал оценки.

Я снова представил, как наша троица смотрится со стороны, и подумал, что если бы Боксёр не был просто дядей Сашей, который всегда может исчезнуть, мы бы выглядели

как счастливая семья на летнем отдыхе, не омрачённом ничем, кроме редких карельских гроз.

Утром я проснулся поздно, долго валялся в постели, наслаждаясь тем, что меня никто никуда не зовёт, и когда стало совсем скучно, спустился вниз, где спали мама и Боксёр. Мама ушла в магазин, а Боксёр лежал в кровати перед телевизором. Он посмотрел на меня, заспанного, и рассмеялся.

— Что-то не выспавшийся у тебя вид, Артёмка. Хочешь, вместе телек посмотрим? Запрыгивай.

Я откинул угол одеяла и лёг.

Я ещё не совсем проснулся и не соображал, что делаю, поэтому только через несколько мгновений до меня дошло, что я снова оказался в необычайной ситуации. Голой ногой я чувствовал бедро Боксёра под семейными трусами — оно было тёплым и мягким. Я смотрел в экран, но ничего не видел, отдавшись ощущениям. Боясь выдать возбуждение, я застыл, как хамелеон в ожидании пролетающей мухи. Все мои мускулы напряглись, ни один не шевелился, я даже дышать старался неслышно. Меня разрывало изнутри, и эта буря была тем сильнее и разрушительнее, чем больше я боялся пошелохнуться. Это было мучительно и приятно. Мне хотелось повернуться к Боксёру и прижаться к нему всем телом. Казалось, что если я лягу на него сверху, а он обнимет меня, я просто растворюсь в нём. Я не находил сил, чтобы встать и прекратить эту сладостную пытку, и если бы мама не вернулась из магазина («Ну, лежебоки, давайте, вставайте!»), моё сердце, наверное, не выдержало бы и разорвалось.

Боксёр встал первым, я снова бросил взгляд на его ноги и ягодицы, но остался ещё ненадолго в постели, боясь, что взрослые заметят моё возбуждение. Потом незаметно проскользнул наверх и оделся.

За завтраком и в течение всего дня я думал о том, представится ли мне завтра возможность повторить утреннее

приключение. Я одновременно желал этого и боялся, что мои надежды сбудутся. Вдруг Боксёр заметит мою реакцию? Или вовсе не пригласит меня к себе? Или мама будет рядом, а он постесняется? Почему, впрочем, он должен её стесняться, ведь если он позвал меня сегодня утром, значит, в этом не было ничего предосудительного. То есть когда двое мужчин лежат в одной постели — это не страшно. Но нормально ли моё возбуждение? Или оно стоит в одном ряду с подглядыванием?

Иногда я ловил себя на том, что не думаю об Ире столько, сколько следовало бы, и тогда нарочно погружал себя в меланхолию и воспоминания. Но у меня не получалось задержаться в этом настроении сколь-нибудь продолжительное время, и незаметно для себя я отвлекался на что-то другое.

В тот день повторились уроки плавания. У меня было меньше возможности хвататься за Боксёра, потому что он хотел, чтобы я плавал самостоятельно, но иногда я смело опираться о его руку, и в этот миг по моему телу пробегала та же дрожь страха, напряжения и удовольствия.

Под конец недели я чувствовал себя в воде более-менее уверенно, стараясь размахивать руками, как настоящий пловец. Мама, впрочем, не разрешала мне купаться одному, но я рассчитывал, что на даче у бабули усовершенствую полученные навыки.

Каждое утро я просыпался с надеждой, что Боксёр лежит один, бегом спускался на первый этаж, ожидая, что он снова пригласит меня смотреть телевизор. Я не знал, можно ли как-то использовать это положение, мне просто хотелось снова ощутить прикосновение его бедра, полежать рядом с ним в мучительном возбуждении. Но случая больше не представилось — либо в кровати лежала мама, либо они оба уже были на ногах.

Боксёр ежедневно заявлял, что ему пора братья за недостроенный чердак. Но всегда находились вещи поважнее —

купание, устройство пикников и походы в магазин на станции, день пролетал за днём, а к стройке так никто и не приступал. Зато мы много времени проводили вместе и под конец каникул ещё больше сблизились. Нельзя сказать, что мы стали друзьями, ведь он всё равно оставался маминым другом, но лёд отчуждённости и недоверия окончательно растаял. Он тоже чувствовал это. Мы часами гуляли по лесу, он рассказывал истории из своей жизни и детства (вырос в деревне в средней полосе, приехал в город после армии). Я был благодарным слушателем: никто из взрослых никогда не говорил со мной просто так, без нравучений или морализаторства.

Он осторожно задавал вопросы о дружбе с девочками, отношениях с одноклассниками, но по ответному мычанию понял, что я не готов обсуждать эти темы, и больше их не касался, чем необычайно меня радовал.

Маме нравилось это сближение, она часто оставляла нас одних и делала вид, что мы теперь одна семья: «Мальчишки, еда стынет, давайте быстрее мойте руки — и за стол!» — говорила она каким-то киношным тоном.

Летом мне хотелось, чтобы время остановилось и я навсегда остался таким же счастливым и солнечным. Я не думал о сентябре, он был невероятно далёк. Даже тридцатое августа проходило всё в том же пьянящем летнем мороке, и только на следующий день, когда надо было садиться в электричку, на меня наваливалась реальность, я понимал: лето кончилось.

Но та неделя на даче Боксёра оказалась особенной. Границы счастья были обозримы с самого начала, и пусть я просто переезжал с одной дачи на другую, под конец я немного затосковал, понимая, что мне будет не хватать его. Если не считать Иры, которая официально всё ещё была моей первой (и несчастной) любовью, впервые в жизни я ощутил — моё приподнятое настроение, радость и необъяснимое чувство

покоя зависят от другого человека, и это всё прекратится, когда его не будет рядом.

Я пришёл к мысли, что хотя Ира и была моей любовью, лучше, когда она далеко, тогда я мог упиваться гордым осознанием того, что я — отвергнутый влюблённый. Боксёр — совсем другое дело. Я радовался, когда мы были вместе, и моё сердце сжималось от безотчётной грусти при мысли, что мы не сможем видеться ежедневно.

В последний перед отъездом день я сидел на крыльце, слушая, как мама напевает что-то на кухне под аккомпанемент шкварчащих котлет, смотрел на прямые сильные сосны передо мной и думал о том, что завтра снова останусь один. Никто не будет учить меня плавать, гулять со мной по лесу, рассказывая немного занудные, но такие настоящие истории. Ира наверняка приедет на свою дачу и станет глядеть с презрением и манерничать, и не найдётся никого, с кем можно было бы гордо пройти мимо её ворот, демонстрируя, что есть на свете люди, для которых я важен.

Мама перестанет быть доброй и начнёт наказывать меня за проступки, на которые здесь смотрит сквозь пальцы. Один. Даже если и случаются в жизни проблески счастья, всё равно они так коротки, и рано или поздно снова остаёшься в одиночестве, что бы там ни говорила мама о мифических единомышленниках, которые со временем непременно объявятся. Я накручивал себя, рисуя безрадостные картины одинокого существования, и окончательно расстроился. Тут ко мне подсел Боксёр:

- Ты чего такой тихий, Артёмка?
- Я? Не знаю.
- Случилось чего? Чего ты куксишься?
- Не знаю.

Эти вопросы, заданные так искренно, не вызвали во мне отторжения или желания отделаться от Боксёра, наоборот,

хотелось, чтобы он продолжал меня расспрашивать и я был бы вынужден что-то ответить ему, хотя и не знал, что именно.

— Из-за плавания расстраиваешься? Ну, чего тут? Будешь плавать, как чемпион, время просто нужно. Я-то, конечно, с детства плаваю, потому что рос в деревне, но зато что-то другое не сразу получалось. Да, собственно, чем ни занимайся, всё сноровка нужна, а она быстро не приходит. Без труда, как говорится...

— Нет. Не из-за плавания... — вздохнул я.

— А что тогда? Мама наругала?

— Нет, не ругала...

— М-м. Ну, не знаю тогда, что и думать. Не хочешь говорить, значит, чего такой мёртвый?

— Уезжать не хочется.

— А-а, вот оно что, — протянул Боксёр немного озадаченно, — ну а что такого? В школу-то ещё не скоро. Ещё три месяца будешь на даче прохлаждаться, с друзьями там со своими на великах гонять!

— Они мне вовсе не друзья.

— Ну всё равно не один.

— Нет. Там буду один.

— А тут-то что? Тут вообще никого нет с тобой играть. Все соседи бездетные. А там, ты же мне сам говорил, есть с кем время проводить.

Тут во мне что-то взорвалось, вырвалось, выплеснулось, как пар из кастрюли, но не сильно, а лишь немного приподняло крышку и снова опустилось. Мне хватило сил только прошептать:

— Там вас не будет.

Боксёр не был готов к такому признанию, но быстро справился со смущением:

— Во-первых, сколько можно тебя просить мне не выкаты? Ты как не родной... Во-вторых, чего ты так насупился. Я же

буду приезжать каждые выходные, пойдём с тобой на озёра, а потом, ближе к осени, за грибами. Чего ты такую трагедию развёл, как будто на войну уезжаешь. Ну! Ладно тебе, перестань, а то я тоже расстроюсь.

Он обнял меня за плечи и прижал к себе. Я уткнулся носом в его подмышку, и слёзы сами собой полились из глаз. Мне было стыдно, что я веду себя, как девочка, и от этого хотелось плакать ещё больше. Он ничего не говорил, просто сидел рядом, обняв меня, и в какой-то момент я уже не понимал, плачу ли я от того, что скоро всё закончится, или от счастья, что я, наконец, не один, а под защитой большого, сильного и нежного мужчины.

Тем летом умерла прабабушка, мать моего деда. Я почти не знал её, потому что она не одобряла женитьбы сына. Бабуля проговорила однажды (когда была не в настроении), что баб-Аня, как мы все её называли, считала невестку выскочкой, белоручкой и воображалой, кроме того, ей не нравилось, что бабуля похожа на еврейку. С тех пор прошла целая вечность, но отношения так и не заладились. Единственным моим воспоминанием о баб-Ане были её морщинистые мягкие руки (пахнувшие нафталином и старой одеждой), трепавшие меня по волосам, пока я сидел у неё на коленях в один из редких семейных сборов.

Она жила в коммуналке в центре города и была достаточно старой и одинокой, чтобы её смерть никого не расстроила. Её не менее древняя соседка, имевшая, впрочем, виды на прабабушкину комнату, позвонила сразу после нашего возвращения из Карелии и сообщила печальную новость. Я должен был ехать на дачу к бабуле, но упросил взять меня на похороны и вывоз наследства, аргументируя это тем, что

я уже достаточно взрослый, ничего не боюсь, обещаю вести себя хорошо и вообще буду полезен, особенно при погрузке вещей. Мама была против, но Боксёр снова принял мою сторону, заявив, что «ребёнок должен привыкать к жизни».

Похороны были скучными. Мы долго блуждали по городскому крематорию, большому жёлтому зданию, похожему на табачную фабрику, пока не нашли нужный зал. По коридорам озабоченно сновали строго одетые люди, обстановка была скорее суетливой, чем торжественной. Прабабушка лежала в гробу, обтянутом голубой тканью с золотыми узорами, стоявшем на постаменте, оказавшимся впоследствии механизмом, отправившим её в небытие. Женщина в коричневом костюме несколько театрально попросила присутствующих попрощаться с покойной, после чего бабуля, мама и я (Боксёр стоял в стороне) по очереди поцеловали прабабушку в лоб.

Я никогда не видел покойников, а уж тем более не целовал их. Мне казалось, они должны были иметь зловещий вид и слегка пованивать, но прабабушка не пахла вовсе и вряд ли могла кого-то напугать. Она была очень белой и странно твёрдой, будто сделанной из гипса или фарфора. Я бы очень хотел увидеть и понюхать её руки, но они были скрыты белым кружевным саваном. Всё произошло так быстро, что у меня не было времени хорошенько её рассмотреть, я потом жалел об этом — когда ещё представится случай посмотреть на труп.

Через пару дней мы поехали за скромным прабабушкиным наследством. Большой его части предстояло пылиться на дачном чердаке, но не забрать его было нельзя — требовали освободить жилплощадь. Вот это оказалось гораздо более занимательным. Войдя в комнату, я почувствовал себя вором, зашедшим в чужой дом и замершим на мгновение, прежде чем приступить к делу. Окна давно не открывались, стоял

прелый запах старости, который невозможно выветрить даже в морозный день.

Вся обстановка напоминала о человеке, что никогда больше не сможет радоваться вещам, окружавшим его при жизни. Покрытые пылью книги; фотографии мужа (моего прадеда) и младенцев (мама и я); бережно хранимый фарфоровый сервиз и другой, керамический (этим пользовались слишком часто). Я подумал о египетских фараонах, которых хоронили вместе с вещами. В школе рассказывали, что в своей загробной жизни фараон не должен был оставаться один, но я думаю, от этого больше выигрывали сами вещи, ведь им дозволялось последовать за хозяином в Страну смерти. Мы же пришли потревожить их многолетний покой и перевезти на новое место, где они скоро забудут о той, кому принадлежали.

Самое интересное открытие ждало меня в платяном шкафу. Помимо старушечьей одежды последних лет, там висели наряды, сохранившиеся со времён её молодости. Нельзя сказать, что это был королевский гардероб, но даже эти немногие вещи, заботливо развешанные на плечиках, заставили моё сердце биться, предвосхищая что-то новое и долгожданное. Красно-белое вечернее платье в пол для особенно торжественных случаев; голубой пеньюар из искусственного шёлка, достаточно легкомысленный, особенно для того времени; длинное чёрное платье, возможно, купленное на похороны моего прадедушки, а также несколько летних ситцевых платьиц, представлявших для меня меньший интерес — они были не так близки к увлекавшей меня эпохе. По размеру вещей можно было догадаться, что прабабушка не носила всё это уже лет шестьдесят, если не больше, но зачем-то хранила без надежды когда-либо надеть снова. Может, она просто забыла об их существовании? Или доставала из шкафа, чтобы скрасить воспоминаниями одинокие вечера? О чём они шептали ей? О чём может думать девяностолетняя

старуха, глядя на шёлковый пеньюар, созданный, чтобы соблазнять мужчин? Какие вечера, полные счастливого смеха и кокетства, приходили ей на ум, когда она открывала эти древние скрипящие створки? Поражённый, я перебирал одежду, пока мама и Боксёр паковали посуду. Мне вдруг захотелось стать моей собственной прабабушкой. Не белой маской в гробу — а той весёлой юной женщиной начала двадцатых годов, бегавшей на танцы тайком от родителей в этой юбке с тюльпанами. Или серьёзной замужней матроной, надевающей длинное вечернее платье на торжество по случаю повышения супруга по службе. Я перенёсся на шестьдесят лет назад и вместился в её стройное гибкое тело, смотревшееся так эффектно в этой одежде. Я подумал, что если переселение душ существует, то прабабушкина душа должна была войти сейчас в меня (не знаю, куда при этом следовало деваться моей собственной, но в эзотерические вопросы я не вникал).

Было решено ничего не выбрасывать («никогда не знаешь, что и когда пригодится»), а складировать на даче. Я был рад этому решению, потому что боялся за одежду. В моей голове уже созрел план, как её использовать.

Прежде всего следовало получить доступ к прабабушкиному наследству — но так, чтобы никто ничего не заподозрил: я понимал, что мои замыслы не могут поощряться. В один из маминых приездов на дачу я осторожно спросил, можно ли мне поиграть с вещами прабабушки, хранящимися на «моём» чердаке.

Чердак издавна был местом, где я проводил время, раньше — со своими придворными, а теперь читая в одиночестве. Взрослым на него было залезать сложно, для этого пришлось бы лезть по старой приставной лестнице, многие ступеньки которой давно сломались, а другие выдерживали только меня.

На вопрос мамы, что это будут за игры, я ответил, что хочу построить на чердаке свой дом. Объяснение показалось ей достаточно адекватным, так что, взяв с меня обещание ничего не ломать, не бить и упаковать всё к сентябрю, мама дала мне карт-бланш.

На другой день я поднялся на чердак и принялся распаковывать коробки. Там было много посуды, тут же расставленной для украшения моего жилища; мебели, которая тоже нашла себе применение, других мелочей типа занавесок и скатертей. Но больше всего меня интересовали сокровища платяного шкафа. Я со священным трепетом достал платья и пеньюар, длинные юбки и кофты, тёмно-красное утеплённое пальто и осенний плащ. Разложив эти сокровища на полу, я долго смотрел на них и представлял, что это лишь малая часть царского гардероба, хранящегося в моей башне.

Я скинул шорты с майкой и натянул на себя чёрное платье. Оно было длиннее, чем нужно, но это было даже лучше, потому что переносило меня в эпоху, когда женщины носили длинные наряды. Мне не требовалось зеркала, чтобы понять, как великолепно я выгляжу.

Я дефилировал по чердаку, всем телом ощущая ткань платья, такого свободного по сравнению с брюками или шортами. Я расправлял полы, имитируя ветер. Я садился на деревянные обтянутые красным бархатом стулья с высокими резными спинками, закидывая ногу на ногу, наслаждаясь непривычным ощущением, когда ты, казалось бы, одет, но ноги свободно касаются друг друга, как будто на тебе ничего нет. Я пытался даже пробежаться, но на чердаке недоставало места, чтобы ощутить ещё и свободу полёта.

Взрослые не могут обойтись без зеркал, проверяя, хорошо ли выглядят, или без фотоаппаратов, останавливая приятные моменты. Мне же было достаточно моих ощущений, чтобы понять — я преобразился и стал новой сущностью. Я больше

не нуждался в игрушках, чтобы представлять себя королевой — в этом платье я был ею. Мой чердак превратился в залу укрепленного замка, невозможность выйти на улицу — в заточение, старушечья мебель — в остатки дворцового интерьера, откуда меня изгнали злые недруги. Единственным, что смущало меня, было отсутствие придворных, способных оценить мой наряд, ведь даже будучи уверенным в своём совершенстве, я нуждался в признании публики.

Я стал наряжаться каждый день, примеряя разные платья и расхаживая в них по чердаку. Иногда часами глядел в маленькое зеленоватое окошко с мутным, треснувшим наискосок стеклом, мечтая о чем-то неясном и туманном. Не то чтобы я грезил о прекрасном принце, который придет и похитит меня (это вряд ли могло произойти на даче у бабули), но мне нравилось смотреть вдаль, за горизонт между дачных домов, и прислушиваться к собственным мимолётным чувствам и мыслям.

В зависимости от наряда я придумывал себе новые инкарнации и мечтал о том, что могло бы произойти со мной в том или ином случае. Вот я принцесса, которую мачеха прячет от молодого короля, влюбленного в меня до безумия. Или я взрослая, умудренная опытом женщина, всеми покинутая, отошедшая от света, но всё ещё ожидающая с минуты на минуту чего-то волшебного. Иногда я снова представлял себя своей прабабушкой, какой она была на немногих сохранившихся чёрно-белых фотографиях — красивая, соблазнительная, но строгая и немного надменная, никогда не заподозришь, что в её шкафу спрятан шёлковый пеньюар.

Эти мечты занимали меня так сильно, что я проводил на чердаке дни напролёт, и если бы бабуля не звала меня к обеду, я, наверное, забывал бы и есть.

Наученный прошлыми приключениями, я понимал, что это увлечение, скорее всего, не получит одобрения взрослых.

Я не мог объяснить, почему, но предполагал, что переодевания в прабабушкины платья стоят в одном ряду с подглядыванием за тренером и дрожью удовольствия, пробегавшей по телу, когда я лежал в одной постели с Боксёром. Мне не было стыдно, но никто не должен был об этом знать.

На моё счастье, мне не мешали. Бабуля не могла залезть наверх, даже если бы захотела, а маме и Боксёру на чердаке делать было нечего. Ира проводила каникулы у другой бабушки, чему я был рад: это избавляло меня от продолжения истории, о которой я уже и подзабыл. Жалел только, что нельзя посмотреть отснятые зимой фотографии.

Боксёр, как и обещал, приезжал каждые выходные. Мы ездили с ним на озёра, гуляли по лесу или посёлку, катались на велосипедах. С какой-то нежной радостью я думал о пятницах, немного грустил воскресными вечерами, но уже не переживал так сильно, как в июне. Я забросил своих старых приятелей, потому что выходные были заняты Боксёром, а на неделе я не слезал с чердака.

Однажды, когда никого не было дома, я решил выйти в своём наряде на улицу. Я открыл дверь чердака и встал на пороге. Впервые настоящий ветер раздувал подол моего платья, казалось, я стою на носу корабля, и в лицо мне дует солёный морской бриз. Я постоял так немного, глядя вдаль, но из-за опасности быть замеченным соседями быстро слез вниз. Мне нравилось ходить по огороду, то быстро, то медленно, платье жило новой уличной жизнью. Я наслаждался свободой, лёгкостью и простотой. Я превратился в другого человека. Я вырос, мои длинные волосы развевались на ветру; платье тоже изменилось, стало более пышным и богатым; на моей груди, в ушах и на руках сверкали подаренные поклонниками бриллианты; я был взрослым и свободным, я мог повелевать не только собой, но и всем миром. Я гулял по просторному французскому парку в полном одиночестве,

потому что мне захотелось уединения, но по первому зову ко мне, несомненно, явились бы верные слуги.

— Э! Парниша, чего это делается-то? Ты чего это в баб-Анино тряпье вырядился-то? Ну-ка, живо домой!

Неожиданно вернувшаяся бабуля была шокирована. Я мгновенно принял решение: быть самой наивностью, чтобы не только отвлечь возможное наказание, но и оставить за собой возможность вести двойную жизнь и дальше.

— Ну, я просто нарядился, ба. Мама разрешила ведь играть с баб-Аниными вещами...

— Играть-то разрешила, но соседей-то зачем пугать? А что если увидит кто? Стыда не оберёшься. Давай-ка снимай это всё!

Я быстро переоделся, но мне было не совсем ясно, заключался ли в бабулиной отповеди запрет наряжаться вообще или в таком виде нельзя ходить по огороду. Она не поднимала больше этой темы, поэтому чуть позже я решил спросить её сам.

— Да что тебе в этих платьях-то? Почему с мальчишками не можешь пойти поиграть, в пруду покупаться? Взял тоже моду — в женское наряжаться. Да разве это хорошее дело для парня-то? А ну увидит кто? Мать с меня голову снимет, что не углядела.

Но к бабулиному сердцу путь было найти легче, чем к чьему бы то ни было:

— Ну бабулечка, ну пожалуйста, что тебе, жалко? Я так просто наряжаюсь. Я не буду по улице ходить, буду только на чердаке или дома. Я осторожно. Можно?

В конце концов, она сдалась, потому что вообще редко когда могла решительно отказать мне:

— Ну ладно, только так, чтобы не видел никто. И у матери спроси ещё разрешения.

Сам я разрешения спрашивать, конечно, не стал, но бабуля не могла оставить произошедшее в секрете.

Маме идея с платьями не понравилась.

— Ах ты, дрянь такая! Я ему разрешила играть с баб-Анинными вещами, чтобы дом там строить, а он придумал в платье одеваться! Это что за дом такой? Ты откуда эту манеру взял? Где ты видел, чтобы мальчики в платьях ходили?! Ты совсем с ума сошёл, что ли? Ты решил нас перед соседями опозорить?! У всех дети как дети, играют спокойно во дворе или на озеро ездят, а этот не может спокойно, всё ему выкобениваться нужно! Сколько же можно мучиться-то с тобой?! И чтобы я не слышала больше ничего о платьях, ни вообще о баб-Анинных вещах, иначе заколочу чердак, и духу твоего там вообще не будет, понятно? И эта тема закрыта, больше не обсуждается. И не вздумай дяде Саше что-то сказать, я не хочу, чтобы он про этот стыд узнал!

Подобные запреты не делали мою жизнь проще, но они не были чем-то действительно жёстким. Просто приходилось делать неразрешённые вещи в ещё большем секрете. Меня смущало только, что даже Боксёр, почти член семьи, не должен был знать о моих «проделках». Это значило, что я снова совершил нечто на самом деле постыдное. Хорошо ещё, что мама ограничилась тем, что отругала меня, а не устроила психологической беседы — вряд ли бы я сумел объяснить свою страсть к переодеванию.

С этого дня я стал наряжаться с большей осторожностью. Я никогда не делал этого по пятницам, когда мама могла приехать раньше, и всегда держал наготове обычную одежду, чтобы быстро переодеться, если меня вдруг позовёт бабуля. Но однажды выйдя на улицу, я уже не мог ограничиваться чердаком. Я чувствовал себя актрисой, которой запретили показываться на публике, хотя, впрочем, ей было разрешено читать роли наедине с собой. Пусть моей публикой были морковные грядки и кусты смородины, но они были нужны мне — как и ветер, придававший столько жизни моему наряду.

Рискуя снова быть пойманным, каждый раз, когда бабуля уходила к подруге, я спускался и гулял по огороду вдоль грядок, не видных ни с улицы, ни от соседей. Я не делал ничего особенного, просто прохаживался туда и обратно в меланхоличной задумчивости, смакуя ощущения. Иногда я заходил в дом и бродил по пустым комнатам. Здесь было больше места, чем на чердаке, я оказывался не в башне средневекового замка, а во дворце или в загородном доме.

Однажды мне на глаза попались бабулины украшения. Они хранились в музыкальной шкатулке в форме фортепьяно. Каждый раз, когда распахивалась крышка, из неё доносилась тема из пьесы Бетховена «К Элизе». Давным-давно я часто играл с ней: открывал, прослушивал мелодию до конца, потом закрывал — и открывал снова. Незамысловатые звуки зачаровывали меня, к тому же это были аккорды, которые мама часто наигрывала для гостей на пианино и которым я со временем тоже научился (правда, исполнял только правой рукой). Шкатулка давно сломалась и молчала, но иногда мне нравилось открывать её в ожидании, что рано или поздно она снова запоёт. Удивительно, что я совсем забыл о её существовании, ведь она была полна прекрасных вещей, делавших мой наряд ещё более царственным, а самое главное, правдоподобным. Кольца (которые мне были как раз в пору, такие худенькие были пальцы у бабули), колье и даже клипсы (они были тяжелы для моих маленьких ушей, то и дело сваливались, так что приходилось носить их осторожно, держа голову неподвижно).

Увлечённый этим открытием, забыв обо всём на свете, я отыскал в шкафу мамину дачную косметичку — красный кошель в форме саквояжа с потрескавшейся и местами облезшей кожей, который пах разлитыми духами и пудрой. Я достал румяна, помаду и накрасился, как сумел. Ногти я красить не стал — не успел бы быстро стереть лак, но и остальной косметики было более чем достаточно.

В прихожей стоял комод с большим зеркалом, перед которым я проводил немало времени, любуясь собой. В этот раз я был сражён величием своего наряда. Как многого можно добиться с помощью простой бижутерии! В зеркале старого комода отражался не мальчик в розовом платье с криво намазанными губами и красными щеками, а прекрасная королева, властительница умов и повелительница сердец. Я медленно и осторожно (чтоб не упали клипсы) поворачивался то вправо, то влево, наслаждаясь солнечным лучом, игравшим золотой цепочкой на моей груди.

Внезапно стукнула входная дверь, сердце упало: бабуля! Бежать было поздно и некуда, да и разорённая шкатулка стояла посреди комода. Я повернулся, готовясь просить прощения и обещать, что это был последний раз, только бы она не рассказала маме. Ничего этого говорить не пришлось.

Передо мной стоял ошарашенный Боксёр. Между нами вдруг образовалась та звенящая тишина, которую в других обстоятельствах назвали бы штилем перед бурей. Мы оба чувствовали натянутость этого безмолвия, но боялись нарушить его. Казалось, даже мухи перестали жужжать, а вся деревня замерла. Оба маминых запрета, нарушенные одновременно, волновали меня не так сильно, как стыд перед этим человеком (который ведь не должен был приехать в середине недели, в неурочное для него время!). Второй раз он застал меня за чем-то позорным, чему не было ни объяснений, ни оправданий.

Тишина неожиданно разрядилась глухим стуком об пол: упали обе мои клипсы. Тук — правая, тук — вторила ей левая. И вдруг открытая шкатулка прохрипела после стольких лет молчания несколько бетховенских нот.

— Ну ты, парень, даёшь. Ты чего это?

Разбитая этим восклицанием, тишина взорвалась внутри меня — к горлу подкатило что-то тяжёлое, я всхлипнул, а потом вдруг захлебнулся в рыданиях. Я подобрал полы платья,

выбежал на улицу мимо Боксёра, который и не пытался меня остановить, быстро взобрался на чердак и залез в дальний угол, где меня было трудно отыскать. Там я долго сидел, размазывая кулаками слёзы и румяна, уткнувшись головой в обтянутые платьем колени, и думал, что теперь-то всё точно кончено. Я — самый грязный мальчик на свете; меня все презирают и стесняются. Я — наказание для мамы и бабули, и вот теперь Боксёр смог в полной мере понять, с кем он живёт практически под одной крышей. Если история с карате не раскрыла для него моё истинное лицо, то теперь-то он наверняка перестанет со мной общаться.

Боксёр какое-то время звал меня снизу, потом поднялся наверх, открыл дверь чердака, но залезать не стал. Я затаился. Он спустился, и через некоторое время я услышал, как захлопнулись ворота. Никаких звуков снизу больше не раздавалось. Я понял, что он ушёл.

Открытая шкатулка бабулю не удивила бы, потому что я и раньше иногда брал её без спроса. Но то, что мне удалось избежать проблемы сейчас, ничуть не отвращало катастрофы в будущем. И бабуля, и мама скоро, конечно, обо всём узнают, и возмездие не заставит себя ждать. Помимо того, что я потерял расположение Боксёра, я ждал, что чердак заколотят, меня увезут в город или даже отправят в лагерь. Что может быть хуже лагеря?

Ожидание наказания давило, я не мог ни минуты прожить, не думая о нём. Была лишь среда, мама должна была приехать в пятницу вечером. Мне хотелось, чтобы пятница наступила скорее, тогда, по крайней мере, можно будет освободиться от мучительной неизвестности. Два дня протянулись в бредовой прострации. Я сидел наверху, но не наряжался, суеверно боясь прикасаться к платьям.

Я был на чердаке, когда хлопнули створки ворот, и мама с бабулей начали что-то оживлённо обсуждать. Хотя я ждал

этого момента, я не мог пошевелиться от страха. Я знал, что буря грянет сразу, как только я покажусь маме на глаза. Знал, что она знала, что я прячусь, потому что боюсь этой бури, именно это обычно раздражало её ещё больше — но ничего не мог поделать с собой. Я ждал, пока она позовёт меня и будет невозможно оставаться в укрытии. Но, к моему удивлению, обо мне будто забыли. Это пугало ещё больше. Может, она решила не подавать виду, что ей обо всём известно, и ждёт, пока я признаюсь сам? А потом, когда я ни в чём не признаюсь, будет ещё больше ругать меня за то, что я решил хранить что-то в секрете, ведь «всё тайное рано или поздно становится явным». Или она не будет ругаться вовсе, а ждёт удобного момента для психологической беседы? Чем может обернуться для меня такая беседа, можно было только догадываться, но я бы предпочёл скандал или даже подзатыльник, чем обсуждение причин моего поведения.

В конце концов, бабуля позвала меня ужинать. Несмотря на опасность того, что мама ждёт явки с повинной, я решил делать вид, будто ничего не произошло. Она, видно, тоже играла в эту игру, была со мной необычно ласкова, и вопрос о том, что я делал всю неделю, прозвучал вполне буднично, без тени угрозы или сарказма и даже с ласковыми интонациями, звучавшими обычно в присутствии гостей.

Во время ужина я сидел молча, уткнувшись в тарелку, и ждал, когда же, наконец, поднимут тему, которая должна волновать всех больше всего. Мама говорила, что из магазинов пропал кофе и теперь, наверное, надо покупать цикорий, бабуля отвечала, что у неё ещё осталось пять банок, так что, может, хватит, но вот, говорят, риса скоро не станет, надо бы закупиться впрок.

На меня никто не обращал внимания, пока под конец ужина мама не спросила:

— Артём, а ты что это смурной такой? Случилось что?

При всех возможных нюансах маминой тактики она не должна была задавать этот вопрос. Если ей известно, что случилось в среду, моё мрачное настроение не должно казаться странным. Если она интересуется им и, кажется, делает это вполне искренне, значит... она ничего не знает!

Я пробурчал что-то про боли в животе, на что мама снова отреагировала крайне странно. Самым что ни на есть нежным голосом она сказала: «Живот болит, бедный, ну пойдди, полежи. Если не пройдёт, выпей полыни».

Всё это было необъяснимо и странно. Дело было не в предложении отдохнуть (все привыкли к тому, что у меня время от времени болел живот), а в интонации, с которой это было сказано. Мама играла какую-то необычную роль, но меня не оставляло чувство, что она уже игралась раньше. Я безуспешно пытал память в надежде вытащить на свет, когда и где мама говорила со мной так, но она не давалась мне, подбрасывая лишь жалкие намёки вроде тёплых прикосновений пыльного солнечного луча к щеке, от которых почему-то накатывала необъяснимая слабость, под коленками становилось щекотно, но воспоминание так и оставалось в дымке, не принимая отчётливой формы.

Я вышел из-за стола, лёг на диван в соседней комнате и первый раз за вечер расслабился, дремля под бесконечный диалог о чулках, докторской колбасе и стиральном порошке — пока меня, наконец, не огорошило: Боксёр не приехал! Погружённый в свои страхи, я даже не заметил, что первый раз за лето мама приехала одна.

Где мне, впрочем, было думать о Боксёре, когда весь вечер я прислушивался к маме, стараясь услышать отзвуки грядущей грозы. Но их там не было и не могло быть — она играла любящую мать, которая боится расстроить своего ребёнка. Вот что это мне напоминало! Такое было уже несколько лет

назад, когда на дачу перестал приезжать папа. Конечно, как же я сразу не догадался!

Я с предательским облегчением подумал, что Боксёра постигла та же участь, что и всех его предшественников, и он просто не успел или не захотел ничего рассказывать маме. В известной степени, эта ситуация была мне на руку, ведь из преступника я превращался в жертву.

Я встал и с ещё более грустным видом пошёл пить настойку полыни, хотя живот у меня вовсе не болел. Спрашивать маму о Боксёре я, впрочем, поостерёгся — вдруг она просто забыла о том, что он рассказал ей, а я своим вопросом нечаянно обо всём напомню.

В эту ночь я уснул спокойно, с мыслью, что меня миновала большая беда. Но проснулся я со смутным чувством тревоги, не отпускаявшим меня все последующие дни. Почему он не приехал? Неужели просто исчез, так же как и другие мамины мужчины, и я никогда его больше не увижу? От этой мысли сердце сжималось, и мне хотелось свернуться калачиком и поплакать. И почему мама ничего не сказала? Неужели я снова останусь один?

Кроме того, меня волновала причина, по которой он исчез. Я не знал, почему пропадали другие, да меня они и не особенно интересовали. Их всех что-то объединяло, но это не имело ко мне отношения. Мир взрослых был недоступен, так что не стоило и пытаться понять, по каким законам он живёт. Но так ли всё просто обстояло сейчас?

Я старался не думать об этом, но где-то глубоко таилось страшное, о чём я мог только догадываться, потому что всё равно никогда не узнал бы правды. Но сколько я ни таил от себя это знание, оно всё равно прорывалось: Боксёр ушёл из-за меня.

Каждый день придавал мне больше уверенности, что во всём виноват только я. Кто захочет жить с ребёнком, с которым явно что-то не в порядке. К тому же Боксёр ничего

не мог со мной поделаться, он ведь не был моим отцом и не имел права меня наказывать. Потому-то мама и не хотела, чтобы он что-то узнал. Ему, наверное, стало за меня стыдно, и он решил оставить нас, чтобы найти женщину с другим, нормальным и хорошим мальчиком.

Во мне таилась надежда, что он ушёл на время, но скоро поймёт, что скучает по мне или по маме, и вернётся. Ведь не мог он просто пропасть после поездки в Карелию, уроков плавания, шашлыков, а самое главное, после того как мы сидели на крыльце его дачи и я плакал, уткнувшись ему в подмышку.

Дни проходили за днями, он не появился и на следующие выходные, его имя не произносилось, будто его никогда и не было. Я анализировал произошедшее и в итоге пришёл к выводу, что поскольку Боксёр умел хранить секреты и даже скрыл историю с карате, в этот раз он просто решил проучить меня своим отсутствием. Вместо того чтобы рассказать всё маме, которая, несомненно, отругала бы меня, он решил показать мне, что будет, если я не оправдаю его доверия.

Судя по спокойствию мамы, по тому, что она не проводила со мной психологической беседы, он придумал какой-то предлог, чтобы не появляться на даче.

Мне потребовался не один день, чтобы прийти к такому заключению, но когда я поверил в это, мне стало гораздо спокойнее. Я получил ответ. Теперь я стану хорошим, не буду делать ничего постыдного, тогда Боксёр и все остальные поймут, что я переменялся, и всё снова будет, как раньше.

Прежде всего я убрал все платья в тяжёлый деревянный обтянутый скрипучим кожзамом чемодан и вообще стал реже лазать на чердак. К бабулиному радостному удивлению я снова стал кататься на велосипеде, хотя к своим старым приятелям не вернулся: они привыкли обходиться без меня. Сначала было немного скучно, но потом я вошёл во вкус, и мне всё больше нравилось одному ездить по незнакомым

аллеям, заезжая в места, куда я никогда не дошёл бы пешком. К тому же это не мешало мне думать о произошедшем и окончательно утверждаться в своей догадке. Более того, раскрыв педагогическое коварство Боксёра, я мог предсказать дату его возвращения — конечно, это первое сентября, когда я вернусь из школы!

Каждый день находились всё новые доказательства моей теории. Вот, например, когда он звал меня снизу, а я не откликнулся с чердака, он хотел поговорить со мной, а после, уезжая в раздражении, придумал это своё необычное наказание. Я не должен был тогда сидеть в укрытии, и вопросы не мучили бы меня сейчас! Потом он не мог довериться маме, которая ни за что не сдержала бы тайны. Так что он или уехал на свою дачу, или отговаривается работой. Или вот обычно я приезжал в город 31 августа, чтобы подготовиться к первому сентября, а в этом году у мамы были какие-то дела и было решено, что я вместе с бабулей приеду первого на самой ранней электричке — они так, несомненно, устроили, чтобы я не пересёкся с Боксёром раньше времени. Ну и эта мамина ласковость, не сулившая обычно ничего хорошего, была просто приподнятым настроением на выходных. Она-то знала, что Боксёр никуда не денется, поэтому с чего бы ей расстраиваться.

Никогда я не ждал первого сентября, как в этом году. Я проснулся на час раньше, чем нужно, и лежал с открытыми глазами, представляя свой сегодняшний триумф. Я думал об этом и в поезде, и по дороге в школу. Я ведь был хорошим в течение почти целого месяца и, конечно, останусь таким и дальше. Боксёр обязательно должен оценить мои усилия. Может, он даже подарит мне новый фотоаппарат взамен того, что я отдал Ире.

В этот раз я быстро вручил цветы классной и пулей бросился домой, так что мне удалось ускользнуть от одноклассников, которые были бы рады снова опустить меня в канаву.

Солнце светило так ярко, что приходилось жмуриться. Оно тонуло в белых стенах домов, отражалось от оконных стёкол, заливало счастливым светом дворы, через которые я бежал. Как будто природа была тоже рада возвращению Боксёра. Я взлетел по лестнице, не став ждать лифта, открыл дверь — и моё сердце забилося быстрее от того, что я с порога услышал мужской голос. Я был прав! Он вернулся, он знает, что я исправился! Теперь мы заживём по-новому, совсем по-новому. Я быстро разулся и ринулся в комнату, споткнулся о ковёр и полетел на пол под общий смех. Все продолжали смеяться, пока я нарочно неуклюже вставал — но потом они вдруг замолчали, в воздухе повисла странная тишина.

Я как будто погрузился под воду, не в состоянии думать, слышать, говорить.

За столом сидел мужчина. Но это был не Боксёр. Я даже не видел, кто это, потому что кем бы он ни был, он всё равно был не тем, кто был мне нужен.

От неожиданности я застыл, переводя взгляд то на него, то на маму, пока она не нарушила молчание: «Артём, знакомься, это дядя Слава».

История 2. Любовь

Третье, четвёртое, пятое, шестое ноября тянулись медленно, как кусок замазки, которую оторвали от рамы и раскатывали в пальцах. Я лежал на софе, задрал ноги на стену, и смотрел в потолок. За окном непрерывно шёл дождь, день превращался в нескончаемые сумерки. Серая мгла вползала в комнату, окутывая меня и мебель, укрывая туманом мысли, чувства, желания и мечты. Не было больше ни мыслей, ни чувств, ни мечтаний — ничего, кроме тупого созерцания. Я превратился в клочок тумана, балансирующий в комнате. Если бы я был человеком, то, наверное, уснул или умер. Но я был облаком, сгустком испарившейся воды. Минуты текли одна за другой, похожие друг на друга. Время, которое нужно было убить, умирало само — секунда за секундой, день за днём.

Вот уже два года я почти не ходил в школу. Не то чтобы меня освободили от занятий, просто в какой-то момент я понял, что это бессмысленно. Я освободил себя сам. Я понял, что у меня нет друзей и они никогда не появятся; что я должен постоянно следовать годами выработанным правилами, цель которых — избежать встреч с одноклассниками, не прекращающими придумывать новые шутки и игры, где я неизменно оказывался проигравшей стороной; что я был не белой вороной и гадким утёнком (какие там ещё птичьих сравнения придумывала мама?), а просто самым слабым мальчиком в классе, и эта расстановка сил с годами

не менялась, а становилась всё более жёсткой; и, наконец, всё это ради того, чтобы исписывать одну за другой тонкие и толстые тетради и получать пятёрки.

Уроки никогда меня не интересовали в полном смысле этого слова. Новую, важную для себя информацию я черпал из книг, и единственным предметом, вызывавшим во мне неподдельный живой интерес, оставалась литература. Математика, физика, химия, биология были попросту барщиной, которую приходилось отбывать в стенах школы. Мне даже не было скучно, у меня вообще по отношению к учёбе не возникало никаких эмоций, как не может вызывать чувств необходимость чистить зубы или утюжить форму. Я ходил на уроки и делал домашние задания, потому что так повелось, так было нужно и я к этому привык.

Давным-давно мне нравилось, если мама хвалила меня за пятёрки (впрочем, делала она это крайне редко), и я боялся наказания, неизменно следовавшего за плохими оценками. И вот наступил момент, когда что-то сломалось. То ли она потеряла интерес к моей школьной жизни, то ли я вышел из того возраста, когда наказывают за оценки. А может, перемены, произошедшие в стране и заставившие всех заняться поиском хлеба насущного, не оставляли ей времени и сил следить за моими успехами (вернее, неудачами). Если тра-тишь большую часть своей энергии на то, чтобы дома был суп (хотя бы и без мяса), невозможно ещё и проверять дневник, где всё равно зияет пустота.

Нет, я не был заброшенным ребёнком. Ни один родитель не расписывается в дневнике еженедельно, а маму интересовала лишь страница с оценками за четверть. О том, что пришла пора её проверять, ей напоминали каникулы. Они перестали быть долгожданными, как в детстве, мало чем отличаясь от будней. Когда они приближались, мама заводила разговор о том, как дела в школе. Мне приходилось

показывать дневник, где среди троек проглядывали редкие двойки, мухоморами торчавшие на поляне среди сыроежек. Последующие несколько дней в нашем доме царила атмосфера скандала. Казалось, что произошла утечка газа, все знают об этом, но, тем не менее, не открывают окон, а просто не пользуются электроприборами и не курят. После работы мама ходила по квартире, что-то бубня про себя. Я прятался в своей комнате и даже в туалет старался ходить реже, чтобы не попадаться лишней раз на глаза. Но атмосфера всё больше и больше насыщалась газом раздражения, так что малейшая искра производила неминуемый взрыв. Эту искру могло высечь любое моё действие. К примеру, застав меня на кухне наливающим чай, она вдруг начинала кричать:

— Чай он распивает, посмотрите на него! А уроки ты когда будешь делать, дрянь такая? Ты откуда вообще взялся такой ленивый? Ты сколько будешь издеваться надо мной? Как так можно учиться на одни тройки, я не могу понять? Ты что идиота из себя строишь? У всех дети как дети, нормально учатся, а ты один задницей пошевелить не хочешь!

Мама, конечно, не догадывалась, что тройки достаются мне с большим трудом, ведь ради них всё же приходилось показываться в школе. Но поскольку она уходила из дому раньше меня, а возвращалась позже, она понятия не имела, чем я занят целыми днями.

Не знаю, когда именно изменилась моя жизнь. Сначала я стал пропускать первые и последние уроки. Первые — потому что тяжело просыпался, последние — чтобы избежать нежелательных встреч. Потом я понял, что хотя мои прогулы и влекут за собой некоторые сложности с оценками, но в целом ничего катастрофического не происходит. Каждый раз я придумывал причину — проспал, плохо себя почувствовал, заболел, но справки нет, врача решили не вызывать. Учителя смотрели сквозь пальцы на мои истории —

наверное, собственный суп был для них важнее, чем моё образование. Если по какому-то предмету у меня что-то не получалось или урок оказывался нудным — я пропускал и его. Со временем в этот «чёрный список» вошли все школьные предметы.

А потом я обнаружил, что пролежал на диване целую неделю и ничего не случилось. Небо не разверзлось, директор школы не позвонил маме, на моём лице не проявились признаки дебилизма, и поскольку у меня не было друзей, меня никто не хватил. Таким образом, я стал посещать ровно то количество занятий, которое позволяло мне не остаться на второй год, большую часть времени проводя дома.

Этот учебный год начался с того, что нам объявили о грядущем распределении учеников — школа становилась экспериментальной. На основании годовых оценок и специальных экзаменов каждого из нас зачислят в один из классов: литературный, физико-математический и просто класс — класс «В». Я понял, что если буду и впредь лежать на диване, то кроме класса «В» надеяться мне не на что. Это обстоятельство меня не смущало — какая разница, под какой буквой не ходить в школу. Но тот факт, что мои мучители останутся рядом со мной, заставлял задуматься. Ни в один из классов «с уклоном» они не попадут — в этом я не сомневался, зато у меня появился шанс оторваться от них.

Хотя до распределения оставалось два года, я стал чаще ходить в школу. Сначала с ленцой, нехотя ломая устоявшийся ритм, а потом всё больше втягиваясь в процесс. Учиться было несложно, даже если учесть, что я много пропустил. Приходилось снова списывать тетради, читать учебники, а чаще всего просто присутствовать на уроках. Так или иначе, через несколько месяцев я из троечника с натягом (натяг выдавался за хорошее поведение) перешёл в разряд если не отличников, то крепких хорошистов.

Случались, правда, дни и даже недели, когда мне казалось — всё зря, и не важно, в каком классе я буду учиться, это ничего не изменит. Да, Миху и компанию отправят в «В», но вовсе не обязательно, что в моём «А» (я хотел попасть в литературный класс) у меня появятся друзья. Впрочем, такие приступы тоски случались нечасто — в основном, после очередной издёвки.

Мечта попасть в литературный класс не была случайной. Одна из бесспорных заслуг мамы состояла в том, что я начал рано читать. Не знаю, объяснять ли это только лишь её образовательным террором, который тащил меня в кандалах и на крепко скованной цепи в мир знаний, или же тяга к чтению была заложена во мне на генетическом уровне — правда в том, что с самого раннего возраста я проводил много времени с книгами. Мама же, хотя и обучила меня мудрёному искусству складывать слова из букв и предложения из слов, дальше не пошла, и практически всё детство я беспорядочно читал всё, что попадалось под руку. Искания в какой-то момент привели меня к Морису Дрюону, которого я заучил почти наизусть и которым были проникнуты мои игры. Но со временем они отошли на второй план, так же как и сам Дрюон, а я стал поглощать макулатурные собрания сочинений Бальзака, Доде, Дюма и Майн Рида, красиво расставленные на полках в моей комнате рядом с неподъёмными томами про разведчиков и ударников социалистического труда. Не могу сказать, что чтение это было сколько-нибудь осмысленным — мне не с кем было обсудить прочитанное, сделать выводы или соотнести книгу с соответствующей эпохой или стилем.

Школьная программа начальных классов не вызвала во мне бурного отклика, так же как и более поздние авторы. Фонвизин, Карамзин, Крылов и даже Пушкин вызывали зевоту. Впрочем, я проглатывал и эти книги, но если в свободное

время читаешь «Милого друга», вряд ли даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» способны тебя расшевелить.

Но вот однажды у нас появилась новая учительница литературы. Вернее, она давно работала в школе, и в какой-то момент мы до неё доросли. Язык не поворачивался называть её «русичкой», хотя и её не оставили без прозвища, но звали уважительно, по отчеству — Вадимовна.

Вадимовна была молодой женщиной лет тридцати пяти с еврейскими или кавказскими чертами лица, полными чувственными губами, большими чёрными глазами и длинными смоляными волосами, зачёсанными назад. Она любила носить обтягивающие шерстяные платья, плотно облегавшие её тонкую девическую фигуру и маленькую грудь. Она ходила, чуть выгнув спину, как разозлившаяся кошка, ступая твёрдо, но очень грациозно. Она вся была пропитана этой неудовлетворённой, но живой женственностью, заставлявшей её то приседать на край парты, то складывать руки у подбородка, когда она слушала стихи, то облакачиваться рукой о стол и выгибаться так, что казалось, ещё чуть-чуть — и она переломится надвое. Когда она писала на доске, её длинные пальцы изящно держали мел, неизменно обёрнутый в белую тряпочку, подчёркивавшую идеальный маникюр и тонкую нежную кожу рук, которые, казалось, не знали стирального порошка или хозяйственного мыла.

Её уроки были единственными, где дисциплина никогда не нарушалась. Даже самые отъявленные буяны тихо сидели на задних партах, Вадимовна платила им тем, что забывала об их существовании. Она никого не наказывала и почти никогда не повышала голос, но было в ней нечто, заставлявшее сердце сжиматься от мысли, что она будет чем-то недовольна. Её улыбка стоила дорогого, добиться её одобрения или похвалы можно было только сделав что-то действительно выдающееся, зато её уничтожающий взгляд был пропитан

таким вселенским презрением, что я всегда задавался вопросом — как люди, которые удостоились его, могли вообще жить дальше?

Одним из самых любимых её занятий был разбор сочинений. Но и здесь она проявляла себя как достойный своей славы новатор, никогда не называя имён. «Если автор захочет быть узанным, это его личное дело», — говорила она, читая понравившийся отрывок. И каждый раз автор, раскрасневшийся от гордости, бывал, конечно, узан.

«Или вот послушайте ещё такие перлы», — и весь класс катался по полу, а написавший вызвавшие её насмешку строки должен был бы провалиться сквозь землю. Но публичная слава была лишь побочным продуктом, самое главное заключалось в её одобрении или неудовольствии. И дело было, разумеется, не в оценках, а в том, что взрослые назвали бы самореализацией, а мы, никак не называя, просто смутно чувствовали — если ты написал или сказал что-то, понравившееся Вадимовне, значит, существуешь не зря.

Надо ли говорить, что к школьной программе Вадимовна относилась довольно легко. Она могла начать урок фразой «У меня тут по программе заложено восемь часов на роман «Мать»... но если вы мне обещаете его прочесть, я бы предпочла обсудить «Мать» только сегодня, а остальное время посвятить «Мастеру и Маргарите».

Благодаря ей мы прочли книги, вышедшие из тени после многих лет если не запрета, то забвения — произведения Серебряного века, Булгакова, Пастернака, Чуковской.

С её появлением я стал по-другому относиться к литературе — и к предмету, и к книгам вообще. Поначалу моё усердие скорее объяснялось желанием понравиться Вадимовне и страхом, что моё сочинение будет представлено на всеобщее осмеяние. Но потом я обнаружил, что в отличие от других дисциплин здесь от нас не требовали механического

прочтения текстов и пересказа впечатлений на бумаге. Вадимовне нужно было больше. Она хотела, чтобы мы размышляли и формировали своё мнение. Каждый раз, говоря о том или ином авторе, она, конечно, высказывала свою оценку, но просила нас и к ней относиться критически. Я воспринял эти призывы как учительский трюк, нимало в них не поверив. Но каково же было моё удивление, когда среди первых же зачитанных отрывков я не услышал своих, подтверждавших и дополнявших мнение Вадимовны. С улыбкой удовлетворения на лице она зачитывала перед классом те сочинения, где встречалось либо совершенно новое (для нас) отношение к книге, либо противоречащее тому, что мы обсуждали на уроке. Тогда — опять же из желания заслужить одобрение — я стал придумывать, что же такого ещё можно отыскать в «Дубровском», чего мы не сказали в классе, и когда необычная мысль приходила в голову, я с радостью хватал ручку и бросался к вырванному из тетради в линейку листам.

Так же обстояли дела и с поэзией. Помимо «Узника» и «Паруса», которые Вадимовна не спрашивала (да и невозможно было не знать их после детального разбора), на дом нам задавалось выучить «любое стихотворение размером больше, чем две строфы». И те, кто выходил отвечать того же «Узника» или «Зимнее утро», прочитав несколько строк, замолкали на полуслове и получали свою пятёрку, сопровождаемые презрительным взглядом и пренебрежительной улыбкой её полных губ.

Это толкало равнодушных к взглядам и улыбкам Вадимовны искать то новое, что могло понравиться ей или что нравилось им самим, заставляя пролистывать страницу за страницей и читать стих за стихом.

Её-то уроки я старался не пропускать даже в прошлом году. Не только из-за тихого, но вечного гнева Вадимовны, но и потому что получал на них удовольствие.

Эту неделю я пролежал дома. Но сегодня литература и русский язык шли подряд, что чаще всего означало два урока литературы: русскому посвящалось ровно столько времени, сколько требовалось на разбор ошибок в сочинениях. Поэтому я убрал ноги со стены, сел на диван и стал мучительно соображать, что делать — собираться в школу или задрать ноги обратно. Обе песни Горького, которые мы сейчас проходили, я знал наизусть, так что в смысле подготовленности бояться мне было нечего. Если бы я писал сочинение для себя, то сказал бы там, что когда Горький придумывал своего ужа, он имел в виду таких, как я, которые никогда не смогут летать. Слова про пресловутого пингвина я тоже относил на свой счёт, хотя вовсе не был жирным. И пусть я понимал, что правильнее быть буревестником или соколом, без тени сожаления констатировал, что ужи ведь тоже нужны. Я подумал, что даже без привязки к моей персоне эта мысль была достаточно революционной для представления на суд Вадимовны, поэтому решил: нужно идти.

Плотная серая мгла окутала город, было непонятно, то ли моросит дождь, то ли тучи опустились так низко. Тёмные дома сливались с этой мглой, было не различить, где заканчиваются стены и начинается небо, только время от времени голые чёрные ветки деревьев прорывали серость, чтобы придать ей ещё больше мрачности. Может, где-то и жили соколы (или буревестники?), которые могли гордо реять в небе, но только не в нашем городе. Здесь место для ужей и им подобных, вернее, нам подобных.

Я зашёл в класс последним и сел за третью парту, все места сзади оказались заняты. Да мне, собственно, было всё равно, где сидеть. Стул рядом со мной, как всегда на протяжении многих лет, остался пустым. Все хотели сидеть со своими приятелями, ведь даже на уроках Вадимовны можно было перебраться если не парой слов, то хотя бы понимающим

взглядом. Со мной ни словом, ни взглядом никто перебарываться не хотел, но меня это нимало не тревожило. Более того, я уже так привык к тому, что в моём распоряжении целая парта, что, сам того не замечая, располагался почти посредине, разложив свои вещи от края до края стола.

Все были на местах. Вадимовна разговаривала с завучем, придерживая дверь рукой и всем своим видом показывая, что разговор давно себя исчерпал и ей пора начинать урок. Завуч — огромный, похожий на медведя учитель биологии, с вечно красным лицом, на котором едва прорезались щёлочные глаз, — не замечал (или не хотел замечать) её нетерпения и с благодушным видом рассказывал что-то, явно не имевшее отношения к учебному процессу. В какой-то момент они расступились, и между ними протиснулся мальчик, которого я раньше не видел, что было не удивительно, если принять во внимание частоту моих посещений. Завуч положил свои пудовые руки ему на плечи и, по-видимому, представил Вадимовне. Новенький. Судя по потрёпанному виду, скоро он станет лучшим другом компании с задних парт, так что лучше изначально его не замечать.

Новенький был похож на волчонка, которого неожиданно вытащили из логова на свет. Он вошёл в класс, скрыв испуг, нагло огляделся и направился напрямиком к моей парте:

— Эй, чел, давай, подвинься, чего расселся-то? — развёзно сказал он.

Я освободил место, стараясь сохранять невозмутимый вид потревоженного лемура, который сразу же погрузится в спячку, как только исчезнет источник беспокойства. Волчонок достал из ранца тетрадь и обгрызенную ручку, и я заметил, что кроме этих двух предметов у него больше ничего нет. Точно, кандидат на задние парты. Можно не волноваться за нарушенное одиночество, уже на следующем уроке я буду снова сидеть один.

Волчонок полностью соответствовал данному мной прозвищу. Он был худой и неуклюжий, казалось, даже на ногах стоял не очень твёрдо. Нечёсаная тёмная грива венчала слишком большую голову на сутулых плечах. Глаза — чёрные злые точки — слегка отличались по размеру, губы были узкими и немного перекошенными, как будто он всё время саркастически улыбался. Всё в нём было неправильным, неровным, несуразным, но, казалось, он и сам понимает это и поэтому скалит свои уже по-взрослому волчьи зубы, предупреждая окружающий мир, что голыми руками его не возьмёшь. В его повадках угадывалась осторожность и подозрительность. Ходил он как-то боком, словно хотел обозревать все 360 градусов вокруг и боялся повернуться к кому бы то ни было спиной. Смотрел искоса, из-за чего казалось, что он смотрит одновременно и на тебя, и сквозь тебя. Было непросто встретиться с ним глазами, но если это удавалось, они вознаграждали тебя глубиной и какой-то странной двухслойностью, в которой за напускной агрессивностью скрывалась нежность.

Её я, впрочем, обнаружил позже, в этот раз он посмотрел сквозь меня с хитрой ухмылкой на лице:

— Чё притих-то? Я Артур, — и протянул руку, — можешь звать меня Арчи.

— Артём.

— Клёво.

— Что клёво?

— Ну, что Артём. АА получается.

И он засмеялся как-то странно — не всем лицом, а только губами и глазами.

Я немного растерялся. Во-первых, рукопожатия в нашем классе были не приняты, а уж мне-то никто не подал бы руки и подавно. Во-вторых, дружелюбие Артура заходило слишком далеко. Я боялся, что потом, когда он поймёт, с кем связался, раскается, и это усложнит мою жизнь. И, наконец,

что подумает Вадимовна, увидев меня за одной партой с этим оборвышем, который пришёл в школу с одной лишь замусоленной тетрадкой? Оставалось надеяться на лучшее: Вадимовна поймёт, что новенький ещё не освоился, а сам он скоро найдёт правильное место в нашем сообществе.

Наконец, урок начался. Было видно, что «Песня о Соколе» Вадимовне близка. Она стояла в своей излюбленной позе, фигурно облокотясь об учительский стол, и не просто читала лекцию на тему «Что хотел сказать Горький в этом коротком метафоричном произведении», но разговаривала сама с собой, вдохновенно и эмоционально, как будто со сцены:

— Если мы посмотрим на ситуацию со стороны, что мы увидим? Небесное свободолюбивое существо, пусть даже тяжело раненное, искушаемо другим, приземлённым, более того — низким, на что-то априори смертельное. Вам ничего это не напоминает? Я зачитаю отрывок из другого текста, написанного почти за две тысячи лет до «Песни» Горького, а вы мне скажете, есть тут сходство или нет: «... если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею». Ситуации, вернее, искушения, похожи? Похожи. Но вот ответы разные! Если в случае с Христом искушение так и называется «искушение гордыней», то в случае с Соколом всё наоборот. Сокол не просто свободолюбив, он горд. Для него высшая ценность — не смирение, а свобода. Именно здесь заключён новый взгляд Горького на известную притчу. Что остаётся Соколу после такого искушения Ужа? Отвергнуть его! Он ведь должен понимать, что его ждёт за обрывом! А может он упрекнуть Ужа в том, что тот предлагает ему верную смерть? Попытаться снова взлететь ввысь, что ему, раненому, уже недоступно? Или же в последний раз в жизни испытать свободу, ощутить полноту жизни, пусть даже приблизив тем самым свою гибель?!

— Она всегда такая? — вдруг тихо спросил Артур, наклонившись ко мне.

Я с ужасом посмотрел на него, потом на Вадимовну, которая, кажется, ничего не заметила. Как реагировать на это кощунство? С одной стороны, мне было странно, что кто-то смог устоять против очарования Вадимовны и её страстной речи. С другой — я боялся её гнева, который неминуемо должен был сразить и Артура, и меня. Страх, мелькнувший в моих глазах, ещё сильнее развеселил нового соседа по парте. Он повернулся ко мне, прикрыв лицо руками, давясь от смеха. Я не мог сказать ни слова, боясь привлечь к себе внимание, поэтому всё, что мне оставалось, — изобразить на лице крайнее возмущение. Артур продолжал заливаться, и я решил прибегнуть к проверенной годами тактике — сделать вид, что его не существует.

После урока полагалось выходить из класса. Я уже и не надеялся, что новенький тут же пересядет за другую парту, но, по крайней мере, рассчитывал, что он не станет преследовать меня на перемене. Я занял позицию в углу у окна и осмотрел рекреацию: девчонки разбились на группы и болтали (в этом году они резко перестали прыгать со скакалкой), мальчики лупили ладонями по вкладышам от жвачек. Артура среди них не было. Я стоял как обычно, скрестив руки на груди, делая вид, что меня здесь нет. Тем не менее, я внимательно следил за всем происходящим вокруг, поэтому сразу увидел, как Артур вернулся и застыл около лестницы, оглядывая зал. Он стоял, ссутулившись, руки в карманах, поношенный ранец на одном плече, на лице уже знакомое выражение загнанного щенка, который, впрочем, готов броситься в атаку при первой необходимости. Наконец, он увидел меня, осклабился, заметив, что я наблюдаю за ним, и направился в мою сторону.

— Ну чё ты, чел, в угол забился, как воробей?

— Я не как воробей.

— Хм. А как кто? Слышь, а чё, эта училка, она всегда такая блаженная?

— Артур (я твёрдо решил, что не буду называть его Арчи), она не блаженная, а если ты будешь так себя вести на её уроках, тебе это с рук не сойдёт. Если тебе не интересно, лучше сидеть и молчать.

Не знаю, что подвигло меня на такую отповедь, сказав это, я сам немного испугался своей смелости, быстро глянул на Артура и тут же потупил взгляд.

— Ну ладно, ты перебздел-то ещё так, я видел. Чё вы все её боитесь-то? Училка как училка. У меня и не такие были.

— А ты как вообще к нам попал в середине учебного года?

— Да меня снова из школы выгнали, и вот родители здесь новую нашли.

Выгнали из школы. Я не представлял, что же такое нужно натворить, чтобы тебя выгнали из школы. Сколько я себя помнил, у нас никого не выгоняли, хотя дай мне волю, я бы не оставил здесь и половины учеников.

— Ну ладно так смотреть-то, чего вылупился. Ну, выгнали и выгнали. Бывает. Давай, пошли, воробей.

На втором уроке я снова напустил на себя важности и сидел с видом, будто я один за партой. Артур смотрел на Вадимовну так, словно она исполняла цирковую репризу, и время от времени, когда она блистала особенно экспрессивными пассажами, поворачивался ко мне, едва скрывая душивший его смех. Моя чопорная физиономия раззадоривала его ещё больше, так что пол-урока он просидел, спрятав в ладонях красное от хохота лицо.

На перемене он неожиданно спросил:

— А ты чё, куришь, чел? Или типа отличник?

Ещё с той, первой его реплики на уроке литературы каждый раз, когда он говорил что-то из ряда вон выходящее, я делал широкие глаза, чтобы показать (пусть немного теат-

рально и наигранно) всю глубину его заблуждений касаясь мира вообще и меня в частности. «Да как ты можешь говорить такие вещи про Вадимовну, она же богиня!» или «Как ты мог подумать, что меня можно позвать курить?!» — вот что говорил мой взгляд. Но я был не в силах поразить Артура и заставить его уважать мою оскорблённую невинность, эти гримасы забавляли его так, что он старался эпатировать меня с ещё большим азартом.

— Ну ладно, не хочешь курить, пойдём, постоишь со мной, а то мне там скучно одному.

— Нет, стоять я с тобой там не буду, потому что могут подумать, что я курю тоже, но я уверен, тебе будет с кем постоять.

— Ну ты, чел, даёшь бояться. Какое кому дело, что ты там куришь или нет. Или у вас тут совсем строго с этим?

— Нет, не очень строго, все курят потихоньку, но раз я не курю, зачем мне с тобой ходить?

Знакомство принимало угрожающие обороты. На алгебре, которая следовала за литературой и была сегодня последним уроком, Артур снова сел за мою парту. На этот раз, правда, у него не было возможности веселиться — мы писали контрольную работу. Несмотря на то что варианты у нас были разные, Артур списал все задачи у меня. Я сначала не хотел давать ему списывать — не из моральных соображений, а скорее из боязни, что мы оба получим по двойке. Но он посмотрел на меня жалобными глазами обиженного волчонка, и я не смог отказать: в конце концов, ведь это у него будет неправильный вариант, ну а в крайнем случае одна двойка по алгебре кардинально не испортит моего положения.

— Тебе в какую сторону идти, Тёмыч? — спросил Артур на улице после уроков. Я хотел было найти предлог улизнуть, но потом решил, что мне его компания на руку: меньше вероятность, что кто-то решит поиздеваться надо мной.

— Артур, меня зовут Артём, не нужно коверкать моё имя, пожалуйста. Мне в сторону проспекта.

— Ой-ой-ой, чел, ты чё такой важный? Ну ладно, Артём Батькович, я не знаю, где тут у вас проспект, но если тебе туда, то нам по пути, мне на автобусную остановку нужно.

Нам было по пути. По дороге я узнал, что Артур живёт на другом конце города, это было довольно странно: обычно все учились в своём микрорайоне. Но ему пришлось оставить уже третью школу рядом с домом, прописана его семья была в области, поэтому им пришлось искать что-нибудь подальше — где Артур ещё не успел подмочить репутацию.

Он не стал распространяться на тему своих приключений и исключений из школ, было видно, что говорить ему об этом неприятно. Так или иначе, теперь ему предстояло исправить-ся, потому что родители грозились отправить его в интернат.

Во всём этом было что-то неуловимо странное. Дело было не в том, что два мальчика гуляют вместе после школы, а в том, что один из этих мальчиков Я. Мне было неловко, будто мы не шли по серым ноябрьским улицам, а действительно курили в кустах. Артур и в самом деле курил, быстро затягиваясь и пряча сигарету в кулаке. Он говорил урывками, искоса посматривая на меня, чтобы удостовериться, правильно ли я его понял. Казалось, ему не просто, но по-своему приятно делиться со мной историей странствований по школам. Впрочем, он не бравировал своим положением, более того, в чём-то стеснялся его. Я дошёл с ним до остановки, здесь он снова пожал мне руку и, посмотрев в глаза, протараторил: «Ну, ты только, это, Тёма, не распространяйся в школе про это всё». Я ответил ему своим фирменным взглядом, означающим примерно следующее: «Ты что! Как тебе в голову пришла мысль, что я могу кому-то что-то рассказать!»

Дома я снова погрузился в размышления на софе, прокручивая в голове сегодняшний день.

Артур. С одной стороны, он просто ещё не разобрался, что к чему. На литературе не было свободных мест (были, конечно, но он их, наверное, не заметил) и, таким образом, случай привёл его к моей парте. Потом мы прошлись немного после уроков, он рассказал мне то, что логично рассказывать при первом знакомстве. Но всё это нельзя принимать всерьёз, как только он поймёт, с кем нужно дружить, тут же сделает правильный выбор. Не то чтобы у меня уже был подобного рода опыт, но я не верил в чудеса и не представлял себе, как кому-то может стать со мной настолько интересно, чтобы завести дружбу. Мне даже хотелось, чтобы все точки над *i* были расставлены как можно скорее, тогда я не успею привыкнуть к нему, и мне не будет слишком обидно. В то же время я чувствовал, что мне будет жаль, если всё случится так, как и должно.

Было что-то в его манере говорить (отрывочно и как-то из глубины), смотреть (искоса, но с озорством в глазах), подыгрывать или эпатировать, заставлявшее меня радоваться тому, что я увижу его завтра. Может, эту неделю мы ещё погуляем после школы, а там уж будь что будет?

Когда просыпаешься утром к первому уроку, чувствуешь себя улиткой, которой зачем-то понадобилось вылезти из своей ракушки. Она знает, что там, за пределами её домика, холодно и темно, и каждый раз задумывается, действительно ли ей так нужна вся эта суета и, может, стоит всё-таки остаться внутри? Часто я позволял себе пропускать первый урок хотя бы потому, что светало только ко второму. Скупое зимнее солнце уже осторожно пробивалось сквозь тучи и занавески, и было не так обидно вылезать из-под одеяла. С этого года я стал «просыпаться» не слишком часто и всё время с оглядкой, опасаясь, чтобы эти прогулы не отразились на четвертных оценках. Сегодня вообще-то можно было поспать: первым уроком была алгебра, по которой мы вчера

писали контрольную. Разборы контрольных — самое скучное, что можно было себе представить, а в том, что я получил по меньшей мере четвёрку, я не сомневался. Но я поймал себя на мысли, что именно сегодня мне хотелось пойти в школу. Не из-за алгебры, конечно, а просто было интересно, чем закончится наша история с Артуром: сядет ли он снова рядом со мной или предпочтёт место подальше, где непременно найдёт новых товарищей.

Как обычно, я пришёл не слишком рано, чтобы ни с кем не встретиться, но и не слишком поздно, чтобы не опоздать на урок. Сегодня это было особенно сложно: мне, с одной стороны, не хотелось застать Артура до урока, чтобы не смущать его, но в то же время непременно нужно было зайти в класс раньше него, чтобы не пришлось выбирать себе место.

Самое худшее, думал я, если Артур уже в классе и сидит один за партой. Я не знал, как поступить в этой ситуации, но решил по возможности предотвратить её.

В результате сложных расчётов я пришёл почти к началу урока, но встал около двери, чтобы зайти первым. Артура не оказалось в рекреации, что было мне на руку. Я вдруг подумал, что уделяю ему слишком много внимания, которого он, безусловно, не заслуживает. Я думал о нём весь вечер, встал ради него в такую рань, потратив столько сил на то, чтобы быть на месте в нужное время, а теперь вот стою и высматриваю его среди толпы. Да кто он такой, чтобы так о нём беспокоиться?! Подумаешь, сел со мной за одну парту, да кто угодно мог так поступить.

И почему, собственно, я решил, что дело в Артуре? Я просто так пришёл, потому что мне интересно, что я получил за вчерашнюю контрольную. Вовсе я никого не жду, и сегодняшняя алгебра ничем особенным не выделяется. Я подумал, что нужно вести себя как обычно, и машинально начал раскладывать вещи по всей парте. Чтобы не смотреть на

дверь, я достал учебник по истории и стал читать параграф, заданный к сегодняшнему уроку. Я пробежал глазами строчки и абзацы, ничего не понимая из написанного, то и дело отвлекаясь и наблюдая краем глаза за дверью. Вот вошла математичка с классным журналом и кипой контрольных, вот последние опоздавшие, среди которых не было Артура, хотя меня это, безусловно, никоим образом не волновало.

На первый урок он так и не пришёл. Наверное, проспал или решил прогулять, как часто делал я. Забыв о том, что вовсе не ждал его и что это был обычный урок алгебры, я в сотый раз перебирал в памяти детали нашего знакомства. Подробный анализ я проделал ещё вчера (что сказал или сделал Артур, что ответил я), теперь я просто вспоминал, как решительно он направился к моей парте, когда зашёл в кабинет литературы, как мы шли потом до остановки, как он говорил, смотрел, улыбался, смеялся, иногда пихая меня в бок («Ну, чел, ты чё, совсем, что-ли?»).

На перемене я снова уверил себя, что никого не жду. Моя жизнь не могла так быстро меняться из-за появления новенького, мне нужно было сохранять равновесие. Когда-то в детстве я ходил на карате, где тренер рассказывал нам, что самое главное и в спорте, и в жизни — сохранять душевное равновесие. Как только оно нарушено противником или просто жизненными трудностями, вы можете упасть. Для меня душевное равновесие заключалось в моём одиночестве, да, вынужденном, но, мне хотелось верить, гордом и невозмутимом. Если все подряд будут садиться за мою парту, а потом заставлять ждать себя на переменах, ни к чему хорошему это не приведёт.

Он пришёл на второй урок, опоздав на 10 минут, что вообще-то считалось достаточно серьёзным проступком. Артуру повезло: историку было всё равно, кто и во сколько приходил на его занятия и приходил ли вообще. Он требовал,

чтобы ученики сидели тихо и делали вид, что слушают, как он монотонным голосом зачитывает параграфы из учебника, оживляясь только в моменты описания сражений. В такие минуты он откладывал книгу и рассказывал нам о том, сколько человек участвовало на стороне каждого противника, какие пушки (корабли, танки, самолёты — по мере нашего продвижения от Древнего Рима к Великой Отечественной) использовались в битве. Это, впрочем, интересовало нас ещё меньше — разобраться в солянке из цифр и названий было невозможно.

В кабинете истории мы сидели спиной ко входу, который не видел никто, кроме учителя. Но когда через 10 минут после начала урока дверь приоткрылась, осторожно скрипнув, я почувствовал: это Артур. Наверняка вошёл в класс, снова испуганно оглядываясь по сторонам, как будто его сейчас будут бить и он готов отчаянно защищаться. Я решил не оборачиваться, мне нравилась роль неприступного романтического героя, который с сомнением и иронией смотрит на окружающих из башни своего одиночества. К тому же я не был уверен, что Артур сядет рядом со мной, так что не хотел демонстрировать преждевременную радость. Он извинился за опоздание (не вызвав ни малейшей реакции со стороны историка, продолжившего свою пономарскую читку) и сел за мою парту.

Артур снова пожал мне руку и спросил, что он получил за контрольную по алгебре. Меня обрадовал этот будничнейший вопрос: если Артур запросто говорит со мной о ежедневных вещах, значит, и меня он рассматривает как часть своего теперешнего существования. Я ответил с сарказмом на лице, что, как я и предупреждал, он получил двойку за чужой вариант.

Я попросил его помолчать, на истории главным было изображать безмолвное присутствие. Обычно я сидел, поставив локти на стол и положив голову на запястья. Эта поза позво-

ляла делать вид, что ты весь внимание, и в то же время думать о чём угодно, и никто не застигал тебя врасплох, прерывая размышления вызовом к доске. Отличницы обычно что-то конспектировали в тетради, для меня всегда оставалось загадкой — зачем записывать за историком, если всё есть в учебнике? Артур развеял моё неведение: он достал из рюкзака свою единственную тетрадь и начал что-то сосредоточенно писать. Сначала я решил оставаться в гордом равнодушии и ни на что не обращать внимания, но любопытство разоблало меня, и я толкнул его локтём, чтобы посмотреть, что он пишет. Он поднял голову и посмотрел на меня красными сонными глазами, как будто только что проснулся. Разворот тетради, лежавший перед ним, был девственно чист. Я понял, что он вовсе ничего не писал, а просто держал ручку над бумагой, повернув голову таким образом, чтобы не было видно, открыты его глаза или нет.

Я был восхищён простотой этой уловки. Какой бы удобной ни была моя поза, самым трудным оказывалось держать глаза открытыми. Так что я взял ручку, прикрыл голову ладонью и погрузился в то состояние, в котором и так постоянно пребывал на уроках истории, но теперь уже с закрытыми глазами. Какое-то время я слышал, как учитель бубнил: «Позиции Англии на континенте серьёзно укрепились. В её распоряжении теперь было три плацдарма: в Аквитании, Бретани и Кале, плюс по-прежнему сохранялся союз с городами Фландрии...» Но постепенно названия и имена становились мягкими, ватными, я уже не смог бы с определённой уверенностью сказать, был ли Эдуард III королём или городом, перестав не только понимать, но и слышать историка. Неожиданно раздался звонок, я вздрогнул, поднял голову и посмотрел на Артура, который сделал аналогичное движение, как будто это я сам отразился в зеркале. Мы оба прыснули. Со мной такое бывало только в далёком детстве

и уж точно давно не случилось в школе — чтобы я смеялся так, что не мог остановиться. Меня душила истерика от мысли, что я проспал весь урок, причём проспал не один, а с Артуром, что отличницы-то тоже, наверное, спали и на этом уроке, и на всех предыдущих. И было ещё что-то, заставлявшее меня складываться пополам уже в рекреации и смеяться, смеяться без остановки.

— Ты что, спал взаправду? Ой, не могу. Спал!

— Да, а ты?

— Бля, я тоже, чел, во дела, я никогда ещё на уроках не спал. А ты, Тёма, горазд ржать. А то ходил важный, как гусь, я даже и не знал, умеешь ты улыбаться или нет.

— Ну ладно, я, ха-ха-ха, ещё и не то, ха-ха-ха, умею.

— Пошли курить, Тёма.

— Нет, Артур, курить я не пойду. И вообще я на физру не хочу идти, наверное, домой пойду.

— Я тоже на физру не хочу идти, и вообще у меня формы с собой нет. А ты далеко живёшь?

Я остановился. Раньше ко мне никто не приходил. Не то чтобы это запрещалось, но поскольку такой надобности не возникало, я как-то не успел спросить у мамы, можно ли мне приглашать... друзей? Странное слово, никогда не имевшее ко мне отношения, я сам, не говоря уж об окружающих, всегда использовал его только для обозначения отношений между третьими лицами («Миха и Сергей — друзья» или «Форестье был другом Жоржа Дюруа»).

Я сомневался, можно ли называть другом Артура, и к тому же не понимал, где та грань, за которой одноклассники становятся друзьями? Должно ли пройти какое-то время? Безусловно, должно — отвечал я сам себе — но какое? Месяц, несколько недель, год? Когда можно с уверенностью произнести в повседневном разговоре: «Мой друг Артур тоже покупает эти зелёные тетрадки»? Уж точно не через два дня. Или

дело не во времени, а в том, что люди сами решают, называть ли себя друзьями или нет? Но кто из двоих должен принять такое решение, не ставя второго в неловкое положение? Все эти вопросы проносились в моей голове, пока мы шли к моему дому, а Артур всё смеялся, вспоминая, как я проснулся от звонка, посмотрел на него и начал ржать.

Дома мы попили чаю с бутербродами, нам оставалось ещё полчаса до выхода в школу.

— Ну, чего делать будем? — спросил Артур. — Давай по-лежим?

Я не ожидал такого предложения, хотя, понятно, это было именно то, что я привык делать в свободное время. Я не подавал виду, что меня обрадовала его мысль. Мы легли на диван, Артур первым задрал ноги на стену, приняв мою любимую позу.

— Слышь, Артём, а ты музыку любишь? — мне понравилось, что он назвал меня полным именем.

— Люблю, наверное, а что?

— Ну так. А ты какую музыку любишь?

— Всякую. Не знаю, если честно, никогда не думал об этом.

Я соврал, конечно. У меня было четыре кассеты, которые я постоянно слушал, когда мамы не было дома. Три из них я купил на сэкономленные (проще говоря, стибренные) деньги, а четвёртую переписал у одного из маминих друзей. Это были три альбома Army of Lovers и один Pet Shop Boys. Я не понимал ни слова из того, что пелось в их песнях, но мне почему-то казалось, что пели они что-то крайне важное именно для меня. Но пока что я решил держать в секрете свои музыкальные предпочтения от Артура, не будучи уверенным в его одобрении.

— А я «Алису» люблю. Знаешь?

— Нет.

— Фигассе, чел, «Алису» не знаешь! Костю Кинчева не знаешь?! Ну вы тут ваще отстали, я смотрю. У тебя магнитофон есть?

— Есть, но мама не разрешает пользоваться

— Да ладно, бля, Тёма, «мама не разрешает». Мы немного в следующий раз попользуемся, ей ничего не скажем. Или можем ко мне поехать, у меня послушать. Но тогда после уроков надо, а то далеко.

Я по-прежнему не понимал, стали ли мы друзьями или оставались одноклассниками, которые проводят много времени вместе. Мы сидели за одной партой, вместе стояли на переменах, когда Артур не курил, и я провожал его до остановки после уроков, если он уезжал домой, не зайдя ко мне. Я часто писал за Артура контрольные работы, потому что не мог устоять перед этим его взглядом голодного щенка. Он, правда, исправлял мои решения, чтобы получить тройку. Когда я спросил его, зачем, он иронично ответил: «Не пойму, Тёма, умный ты чел или не очень. Если я вдруг заделаюсь отличником, все поймут, что я не сам это пишу. А к тройкам ни у кого вопросов не возникнет».

Все уроки мы теперь прогуливали вместе, кроме тех, что решали проспать. Дома он оставлял свои лесные повадки, становясь проще и естественнее. Мы валялись на диване, болтали, пытались иногда делать уроки, но это не особо получалось: я не мог сосредоточиться, а Артур вообще делал домашние задания лишь в исключительных случаях.

Мне с ним нравилось. Это было новое ощущение, чувство родства и единства. Даже если просто находишься рядом с кем-то, кто тебе нравится, — понимаешь, что ты не один.

У нас появились ритуалы типа рукопожатий при встрече или сна на уроках истории. Поначалу я каждый раз отмечал это и получал удовольствие, когда Артур протягивал мне свою худую острую лапку, но несколько месяцев спустя перестал уделять внимание таким мелочам. Артур по-прежнему старался шокировать меня как можно чаще, и у него это легко получалось. Я же немного наигранно реагировал на

его замечания, даже если похожая мысль крутилась в моей голове за секунду до того, как её произносил Артур. Более того, иногда он предупреждал мои невысказанные желания, которыми я не стал бы с ним делиться, боясь разрушить образ «правильного мальчика» («Тёма, давай, короче, вообще на всё забьём и ко мне поедём»). Мне оставалось лишь делать изумлённое лицо и говорить что-то вроде: «Ты совсем с ума сошёл!» — а потом соглашаться на его уговоры.

Пару раз мне, впрочем, пришлось убедиться в том, что зубы, проглядывавшие в его щенячьем оскале, весьма остры. Первый раз это произошло на уроке литературы, повлияв на дальнейшую судьбу не только Артура, но и мою.

Если контрольные работы было легко писать за двоих, то с сочинениями всё обстояло сложнее. На уроке у меня не хватало времени, но и дома я мало чем мог помочь. Вадимовна легко распознала бы мой стиль, поэтому на все просьбы Артура написать за него, я лишь подкинул ему пару мыслей, не затронутые в моей работе, которые могли быть интересными и обеспечить ему желанную тройку. Он, конечно, обиделся — «Ну ладно, чел, посрать тебе на меня и моё сочинение, ну и хуй с тобой. Думаешь, я сам не справлюсь? Да я лучше тебя напишу!»

Он и в самом деле пришёл на следующий урок с очень серьёзным видом и отдал испещрённые чернилами тетрадные листки так, будто это было написанное им Евангелие. Я надеялся, что он использовал некоторые из моих мыслей, отчасти чтобы потешить самолюбие, отчасти потому, что и в будущем это решило бы проблему: я мог выступать в роли ангела Иоанна Богослова, давая ему наводку, а он бы излагал всё как умел. Я не учёл, что Артур не очень хорошо писал. Могу только представить, сколько он сделал орфографических и пунктуационных ошибок: красных чернил там было чуть ли не больше, чем синих (впоследствии я проверил его

домашние работы, но не успевал делать то же и в классе). А стиль его стал откровением даже для Вадимовны.

Обсуждение сочинений Вадимовна, как обычно, начала с цитирования самых лучших, по её мнению, работ, я был горд услышать и свои отрывки: «Мне кажется, что маленький принц — это не просто лирический герой. Автор хотел показать трагедию любого ребёнка, которому так сложно найти друга среди взрослых, они не только не способны понять его, но в принципе им не интересуются. Они живут на своих планетах, и им дела нет не только до детей: ведь и между собой они не могут пообщаться. Хотя в одиночестве маленького принца есть и его вина, ведь он сам не заметил друга, что всегда был рядом с ним, на его планете».

А потом наступила следующая часть урока, ожидаемая с нетерпением. Выдержав паузу и приняв выражение лица, в котором справедливый гнев соседствовал с издёвкой, Вадимовна прочитала:

— Это сказка про то, как маленький принц ушёл от родителей и заблудился в пустыне. Там он встретил много животных, все они пытались стать его друзьями. Лиса рассказала ему, что друга нельзя увидеть глазами. Лиса ему также объяснила, что он должен дружить и с розой, но он не хотел дружить с розами, — здесь Вадимовна замолчала. Мы сидели тихо, не было ясно, можно ли начинать смеяться. Через минуту она продолжила:

— Мне интересно было бы спросить автора, читал ли он на самом деле эту сказку или только просмотрел её наискосок? И зачем мне нужен пересказ неп прочитанной книги?

Дальше шли другие отрывки из того же сочинения, весь класс заливался, не только искренне веселясь над текстом и манерой его прочтения, но и от радости, что это написано кем-то другим и можно смеяться со спокойной душой. Я тоже хохотал, хотя и узнавал мысли, подсказанные мной Артуру.

Он действительно не потрудился прочесть «Принца». Не смеялся только сам Артур. Весь красный, он стиснул на столе кулаки и исподлобья зло смотрел на Вадимовну. Было видно, что в нём закипает что-то гневное и безрассудное.

Иногда так бывает, что люди шумят, смеются, разговаривают, а потом вдруг по какой-то неведомой причине замолкают. В таком оглушительном безмолвии внезапно раздался сдавленный, но громкий голос Артура:

— А зачем вот так вот всё обсасывать?

Все сидели не дыша. Вадимовна медленно повернулась в нашу сторону, посмотрела на Артура так, будто не расслышала его, и очень тихо, почти шёпотом, спросила:

— Что? Что ты сказал?

— Зачем вы всё обсасываете? — повторил Артур чуть тише: дав выплеснуться раздражению, он понял, что это было лишним, но исправлять что-либо было поздно.

Вадимовна резко подошла к окну, отвернувшись от класса, и сложила руки на груди, как будто пытаясь справиться с охватившими её эмоциями. Это была новая поза, которую никто раньше не видел и которая всех немного испугала. Что она сделает? Закричит? Затопает ногами? Заплачет? Выпрыгнет в окно? Как в страшном кино, мне захотелось промотать плёнку, чтоб мы были уже на следующей сцене. Она постояла так немного, потом медленно повернулась и, глядя Артуру прямо в глаза, произнесла, чеканя каждое слово:

— Я «обсасываю» всё это затем, чтобы тебе было стыдно, что ты учишься в этом классе и пишешь подобный бред, а также затем, чтобы все остальные понимали, что можно писать, а что нельзя. Но если тебе такая система не понятна и не близка, ты можешь перейти в другой класс или другую школу и не обременять меня прочтением твоей галиматши.

Я смотрел на неё, закусив губу, едва сдерживая истеричный смех, вызванный, конечно, вовсе не нахлынувшим

весельем, а необычной ситуацией, шоком и страхом. Похожее чувство мне пришлось пережить гораздо позже, когда в самолёте загорелся двигатель, нас, пассажиров, начало жутко трясти. Было страшно, многие кричали, а я не мог остановить смех, задыхаясь от хохота, это длилось до тех пор, пока мы не совершили аварийную посадку.

Вадимовна быстро подошла к нашей парте, бросила сочинение перед Артуром, посмотрела на меня своим уничтожающим взглядом и сказала:

— Я не вижу ничего смешного, Артём, в том, что твой приятель не только не умеет излагать мысли на бумаге, но, похоже, не в состоянии произвести на свет мысль, достойную быть написанной.

Прозвеневший звонок закончил это аутодафе. После того как Вадимовна осекла меня, смеяться расхотелось. Произошло страшное. Она не просто рассердилась на меня, она наверняка перестала меня уважать. Теперь я буду для неё не одним из интересных учеников, а просто тенью, которая занимает место в классе и якшается с такими, как Артур.

Самому Артуру, конечно, всё равно, свою тройку он получит, если не будет больше выступать, разумеется. А мне, которому нужны были не столько оценки, сколько признание, оставалось лишь надеяться, что я заслужу её расположение чем-то совершенно гениальным.

Подавленные, мы шли по рекреации, не поднимая глаз, боясь встретиться с сочувствующими взглядами одноклассников. Не сговариваясь, свернули в раздевалку, оделись, вышли на улицу и, не произнося ни слова, направились в сторону моего дома. Наконец, Артур встряхнул головой, посмотрел на меня с наигранным весельем и сказал:

— Да и хуй с ней! Ладно тебе, чел, бля, не расстраивайся. Она так будет каждый раз надо мной издеваться, что ли? Да нах мне нужны эти сказки. Да она вообще не понимает ни-

чего. Написал и написал. Не нравится — поставь свою, блядь, двойку молча. Чего тебе ещё?

— Артур, во-первых, прекрати материться.

— Да, ладно тебе, Тёма меня учить. И ты туда же? Ещё тоже мне друг называется. Мог бы лучше сочинение написать.

Моё сердце радостно забилося. Я надеялся, что Артур не заметил охватившего меня волнения. Литературная каталогизация была выбита из головы этим словом, над которым я так долго думал и которое, наконец, прозвучало из его уст, пусть даже и в таком негативном контексте; словом, которое было таким важным для меня; словом, значение которого было так сложно понять; словом, которое я никогда бы не решился произнести, потому что это было бы равносильно признанию, пусть даже и невинному, но обнажающему сокровенные уголки моей души. Пусть это был просто ярлык, который можно вешать (или не вешать) на отношения, но теперь я обрёл совершенно новое для себя качество: у меня был друг!

Внезапно я снова вспомнил Вадимовну, стоящую рядом с нашей партией. Как она сказала? «Мне стыдно за твоего приятеля». «Приятель», — это, конечно, не «друг», но эту реплику можно воспринимать как публичное признание. Если и Артур, и учителя, да и все остальные думают, что мы друзья, значит, наша дружба становится ещё более настоящей и... узаконенной, что ли. Эти мысли носились, как чайки вокруг рыболовецкой шхуны: «Друг! Друг! Друг!» — кричали они. И мне хотелось прыгать и кричать им в ответ: «Да, друг! Да, друг!» Я был готов обнять Артура и станцевать с ним что-нибудь радостное, но он наверняка не понял бы причины моего счастья, так что я просто сказал первое, что пришло на ум, отвечая на его последнюю реплику про сегодняшней урок:

— А и правда, Артур. Хуй с ним, со всем!

Дело это быстро замялось. Вадимовна просто исключила Артура из поля зрения, как она это делала со всеми остальными двоечниками. Это не значит, что время от времени она не зачитывала очередные Артуровы «перлы», но делала это не реже и не чаще, чем раньше. Артур понял, что ему лучше помалкивать, раз уж сама Вадимовна о нём забыла. Что касается меня, то я получил свою пятёрку в четверти: Вадимовна не была мстительной. Я уже думал, что на моей школьной карьере эта история никак не отразится и практически забыл о ней, но она дала о себе знать гораздо позже.

Если первый случай, когда я стал свидетелем бойцовских качеств Артура, нельзя назвать вдохновляющим, то во второй истории было даже что-то рыцарское.

Одним из преимуществ появления Артура в моей жизни стало то, что я перестал быть объектом постоянных насмешек. Сначала я не заметил этой перемены, но потом понял, что меня не то чтобы совсем оставили в покое, но в его присутствии ни у кого не возникало и мысли выпотрошить мой ранец или засунуть в него окурки, собранные на улице. Либо мои враги постепенно выходили из возраста, когда нужно ежедневно доказывать свою состоятельность унижением других, либо просто присматривались к новенькому.

Однажды мы направлялись ко мне домой, прогуливая очередной урок физкультуры. До Нового года оставалась пара недель, но на улице пахло весной. Так бывает в наших краях, когда в середине зимы не просто наступает нежданная оттепель, а весь город вдруг преображается, перепутав декабрь с апрелем. Снег проседает, становится серым и тяжёлым, птицы начинают петь по-весеннему, кажется, ещё чуть-чуть — и на ветках появятся почки. Мы шли по снежной жиже, обсуждая грядущие каникулы. Артур уезжал с родителями в свой родной город, а я не знал, оставаться ли мне дома или отправиться-таки на дачу. Вдруг мне в голову попал

увесистый твёрдый снежок. Мы остановились и обернулись: перед нами стояли трое мальчиков из нашего класса и ещё двое из параллельного. Снежок, видимо, кинул Миха, их извечный предводитель.

— Смотрите ребята, вот наши голубки гуляют, — сказал один из парней, остальные засмеялись, — что вы там дома делаете, пока все в баскетбол играют, дружочки?

Я, как всегда, стоял и ждал, чем всё это закончится, не отвечая на их шутки. Зачем драться, будет только хуже, а так они рано или поздно отстанут. Но у Артура было другое мнение на этот счёт. Он набылчился, как тогда на уроке литературы, и ответил:

— Тебе какое дело, урод? Чего, бля, вылупился, давно тебе рыло не чистили?

После этой фразы я не на шутку испугался. Это было, пожалуй, более безрассудно, чем заявить Вадимовне, что она обсасывает сочинения. Теперь нам было не избежать взбучки, учитывая, что их было пятеро, а нас — один с четвертью (я-то слабо представлял, что смогу сделать, если мы начнём драться).

Парни обступили нас, мы смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Неожиданно Артур выбросил кулак и ударил Сашу из параллельного класса. Тот схватился за лицо, потом попытался ударить Артура, который увернулся и попал прямо в руки Мухи.

Всё время, пока били Артура, я лежал в снегу. Я честно пытался встать, но каждый раз кто-нибудь толкал меня кулаком или ногой, так что я падал опять. Надо признать, я не слишком усердствовал в своих попытках, понимая, что ничем не смогу помочь Артуру, но зато сделаю хуже себе. Наконец, драка закончилась, и наши обидчики разбежались. К моему удивлению, Артур был не в таком уж плачевном состоянии. Губа разбита, под глазом красовался синяк, но он не казался расстроенным.

— Суки, блядь, я им покажу голубков. Я их всех по одному изловлю. Я их, блядь, так разукрашу, что их мама не узнает!

— Ладно тебе, Артур, успокойся, их и так мама не узнает, ты их уже разукрасил.

— Да! А ты что делал, пока я их красил, друг? — сказал Артур, посмотрев на меня с усмешкой.

Мне стало стыдно за то, что у меня нет ни одной ссадины, но Артур быстро отвёл глаза и больше к вопросу о моём участии в драке не возвращался.

Пока мы шли домой, он ругался вслух, а я думал о произошедшем. Это была не просто драка. Это была драка, когда кто-то (а вернее, не кто-то, а мой друг) дрался за меня с моими обидчиками. Не стоит драматизировать, подумал я, он и за себя дрался, нас-то обоих обозвали голубками, но если бы мы не были вместе, ему не пришлось сейчас размазывать кровь по разбитой губе. Это уже была не просто дружба, а что-то... мушкетёрское. Я уже запомнил о том, что не принимал участия в сражении, и шёл, исполненный гордости и радостного осознания — теперь я не один. На радостях я забыл о своей роли отличника:

— Артур, давай завтра не пойдём в школу, а поедем ко мне на дачу. Сегодня уедем, а завтра вечером вернёмся.

— Ты чё, чел, что я родителям скажу. У тебя там, небось, и телефона-то нет.

— Есть телефон на улице. Но он зимой не всегда работает...

— Ну да, «не всегда работает», — передразнил меня Артур, — давай лучше ко мне поедем, не возвращаться же в школу в таком виде.

Артур жил далеко. Нужно было ехать на автобусе, потом пересест на трамвай — поездка заняла почти час. Его район мало чем отличался от нашего: такие же многоэтажки, много хрущёвок, расставленных, как консервные банки в витрине универсама. Я подумал, что «С лёгким паром!» не

обязательно было разносить по двум городам — тут в своём дворе легко ошибиться домом. В одной из таких хрущёвок и жил Артур.

Мы с мамой очень редко ходили в гости, поэтому я не часто бывал в чужих квартирах. А если и бывал, они все были похожи на нашу: такой же сытый советский быт, пусть даже и разбавленный бедностью последних лет. Эта скудость в основном касалась наполнения холодильников, а также всякой новой техники. Серванты ломались от фарфора и хрусталя, а стиральная машина была недоступной роскошью. Вместо кино мы ходили в видеосалоны, где стоял обычный кинескопный телевизор, подключённый к видеаку, на котором крутили боевики с Джеки Чаном, озвученные гнусавым мужским голосом.

Съёмная квартира Артура была полной противоположностью всему, что я видел раньше. Она была неустроенной и неудобной. Старую мебель, за которой никто не ухаживал, расставили непродуманно и неудобно: большой диван громоздился посреди комнаты, старый буфет закрывал часть оконного проёма, зато напротив дивана расположилась новая стойка с телевизором, о которой так мечтала моя мама (без всякой надежды купить её). Повсюду валялась одежда, журналы, какие-то коробки. На полу лежал большой палас неопределённого цвета, покрытый слоем не то шерсти, не то пыли. Маленькая кухня с когда-то белой мебелью производила ещё более удручающее впечатление. На стене не красовалось панно с лебедями из керамической плитки, на столе не стояла хрустальная ваза для фруктов, на полу вместо линолеума или паркета тускнел местами побитый кафель. Зато повсюду стояли пустые пивные бутылки и блюдечки с окурками, грязная посуда и остатки недоеденных бутербродов. При этом квартира Артура была полна той техники, о которой мы и мамыны друзья даже думать не могли: видеак,

двухкассетный бумбокс, телевизор с дистанционным пультом, радиотелефон и даже микроволновая печь.

Артур ничуть не кичился всем этим богатством и не стеснялся условий, в которых жил. Я думаю, он даже с некоторым презрением относился к нашему законсервированному мещанскому довольству.

Он открыл бутылку пива с таким видом, как будто для него это нормально — побаловаться пивком после школы, и предложил мне, но я отказался с искренним возмущением. Я не представлял себе, как в нашем возрасте можно пить алкоголь и какими ужасными последствиями, самым безобидным из которых должен стать алкоголизм, это может обернуться. Впрочем, он сделал это скорее из желания эпатировать меня, чем из привычки пить — бутылка осталась стоять на столе, а потом пиво было вылито в раковину, чтобы родители ни о чём не догадались.

— Ну что, чел, давай музыку послушаем, чем так лежать?

Несмотря на давнишнее обещание, Артур до сих пор не принёс кассеты со своей любимой «Алисой». Сегодня был первый из сотен дней, которые мы провели у него дома, лёжа на диване рядом с включённым магнитофоном. Не могу говорить за Артура, но я обычно не прислушивался к тексту и даже мелодии, отключаясь от реальности и думая о чём-то своём. Но в тот, первый, раз я действительно вникал в музыку, надеясь, что она раскроет мне душу и характер моего друга.

«Алиса» мне не понравилась. Музыка была тяжёлой, грубой и даже слов было порой не разобрать — то ли из-за того, что гитары заглушали Кинчева, то ли потому что Артур слишком часто ставил эту кассету. Тексты казались бессмысленным набором слов, пытавшихся создать вычурно-пафосное настроение. Я подумал, что эта музыка действует, как водка на алкоголиков: позволяет забыть, кто ты, и погружает

в мир ощущений, созданный кем-то другим, но выдающий себя за твой собственный.

Это были песни тех, кто потерялся, кто не доволен настоящим, но не видит будущего, кого выгоняли из всех школ, кто живёт в хрущёвке без единого фарфорового сервиза, но с магнитофоном, чтобы слушать, и слушать, и слушать одну и ту же кассету.

— Понимаешь, чел, это же про нас песни! «Моё поколение молчит по углам, моё поколение не смеет петь, моё поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть...» И вот Кинчев пришёл, чтобы нам помочь, понимаешь, чтобы нас поднять! Ты знаешь, Тёма, был концерт. И там Кинчев пел, а потом отошёл вглубь сцены, чтобы что-то перетереть с кем-то, и когда он вернулся, увидел, что весь зал или стадион, или где он там пел — все стояли на коленях, потому что знали, что следующая песня будет «Ко мне!» И все так стояли, потому что, ну, бля, я не могу объяснить, почему, но вот так все чувствуют на его концертах.

— И ты там был, что ли?

— Не, чел, это в Москве было. Но люди рассказывали.

— Какие люди?

— Бля, какая разница, какие люди. Которые были на концерте. Тёмыч, чел, ты только послушай: «Новая правда новой метлы — теплом, лаской пронимала до слёз». Это же про то, что всё изменится или уже изменилось, только мы ещё не заметили. Ты знаешь, чел, это слушать надо, это ведь не Пугачёва, что поиграл и забыл, «Алису» чувствовать надо. Ну, ё, это как если бы... а-а... бля, Тёмыч, ни хуя ты не понимаешь!..

Я старался понять, чтобы полюбить. Честно старался — и преуспел в этом, правда, несколько позже. Не знаю, что подвигло меня изменить мнение — сама ли музыка, которой я проникся, прослушав её тысячу раз, или любовь к ней

Артура и моё к нему трепетное отношение, заставлявшее смотреть другими глазами на вещи, которые были ему важны. Через какое-то время я стал находить тексты не такими уж бессмысленными, более того, связанными если не с нами, то с людьми, близкими нам. «По ошибке? Конечно, нет! Награждают сердцами птиц. Тех, кто помнит дорогу наверх и стремится броситься вниз». Это прямо ведь про того самого сокола, которым я никогда не стану. Или вот ещё в другой песне: «Ну а мы, ну а мы, педерасты, наркоманы, нацисты, шпана! Как один, социально опасны, и по каждому плачет тюрьма», — это всё было, наверное, немного экзальтировано, но у меня захватывало дух от таких слов. Я не знал, к кому из перечисленных категорий отнести себя, да и тюрьма по мне вовсе не плакала, но где-то в глубине души я чувствовал: во мне тоже есть эта маргинальность, которая рано или поздно должна проявиться.

Как это всегда бывает, эйфория от обладания другом со временем утратила первоначальную остроту. Жизнь вошла в привычное русло. Школа, контрольные, домашние задания, прогулянные уроки, моя софа, музыка у Артура... Недели, месяцы текли неспешно, дни тянулись один за другим, медленно, но неумолимо унося нас всё дальше и дальше от того, что принято называть детством. Нет, оно ещё не ушло, оно было здесь, с нами, где-то внутри. Но понемногу мы начинали чувствовать — что-то проходит, исчезает навсегда, сменяясь новыми ощущениями, новыми желаниями, смутными, необъяснимыми, поднимающимися откуда-то из глубины, страшными в своей неизвестности, но захватывающими и волнующими. Мы как будто вышли из комнаты с игрушками на крышу небоскрёба. Для начала нужно было оглядеться и понять, где мы находимся, но чтобы сделать это, пришлось бы заглянуть в пропасть, которая притягивала к себе и от которой захватывало дух.

Раньше мы просто жили, радуясь, если был повод для радости, расстраиваясь, если случались неприятности, не особенно задумываясь над тем, кто мы такие и что происходит вокруг. Жизнь была проста, потому что мы сами были просты. Но мало-помалу внутри нас стали появляться вопросы, которые было некому задать и которые не имели ответов. Эти вопросы копились и копились, и приходилось придумывать ответы самим, на свой страх и риск решая, что такое хорошо, а что такое плохо.

Шесть дней в неделю я проводил с Артуром и только в воскресенье помогал маме по дому, ходил в магазин или ездил на дачу. Один я оставался и на каникулах, потому что Артур уезжал в свой родной город. Неожиданно сложным оказалось лето, когда пришлось расстаться на три длинных месяца. Поначалу одинокие летние дни тянулись ещё медленнее, но потом дачная рутина отвлекла меня, и я перестал думать об Артуре, пока, наконец, не наступил сентябрь и мы не встретились с ним возле школы, подростки, с белозубыми улыбками на загорелых лицах.

С того момента, когда я приглашал Артура на дачу, прошло много времени. Мы не возвращались к этой теме, потому что дача была далеко, нам было всё равно, где предаваться безделью, к тому же он наверняка не хотел лишней раз отпрашиваться у родителей. Но вот в одну из суббот, когда мы брели после школы в сторону моего дома, Артур вдруг спросил:

— А чё, чел, дача-то где у тебя?

— Час на электричке от Пискаревки. А что?

— Да у меня к отчиму друзья приехали, полный дом народа сегодня и завтра. Я подумал тут, может, если к тебе на дачу рвануть, будет круто.

Пригласить друга на дачу — было в этом что-то очень взрослое. Я решил не спрашивать разрешения у мамы, чтобы

не вдаваться в лишние объяснения и, как часто это делал, просто оставил ей записку.

В электричке Артур пил пиво, пряча бутылку, если рядом проходили взрослые, иногда курил в тамбуре, всё так же зажимая сигарету в кулаке. Когда мы приехали, уже начинало темнеть, фонари ещё не горели, и мы шли в густых зимних сумерках. Я вспомнил, как раньше ходил закутанный в шапку и шарф, слушая отдававший в уши хруст снега. Тогда я был совсем один, окружённый всей этой зимой, через которую приходилось продираться к тёплому дому. Теперь всё было иначе. Рядом со мной шагал человек, с которым было невероятно приятно идти по снегу, смеяться и толкать его в сугробы.

Бабуля удивилась нашему приезду: «А чего не предупредил-то? Чем кормить-то вас? И я не топила сегодня ещё, вы замёрзнете совсем». Мы уверили её, что не голодны и нам вовсе не холодно. Она приготовила ужин, и мы уселись смотреть телевизор. В какой-то момент, когда бабуля вышла, Артур вдруг достал что-то из подушек дивана: «Хуяссе, у тя бабушка развлекается!» — воскликнул он с удивлением и показал мне карту — бубновый валет, на котором свинопас с пышными усами, окружённый фрейлинами, приближается к задравшей юбку принцессе.

В один момент всё, связанное с этой картой, — те зимние каникулы несколько лет назад, Ира, любовь, прогулки на мою опушку — пронеслось перед глазами. И вспомнились сами карты, как я разглядывал их в первый раз, шокированный своим открытием. Я всё время хранил в голове эти образы, но никак не мог представить, что увижу их снова.

— Ты что, идиот, Артур?! Она нас убьёт, если увидит. Это не бабушка, это человек один тут забыл. Отдай.

— Какой такой «человек», Тёмьч, у тебя это забыл? Смотри, какой у него елдак, он ей сейчас всю жопу разорвёт.

— Артур, я тебя прошу, перестань материться и отдай мне карту, — сказал я со всей возможной строгостью.

— Ой, ой, боюсь, ну ладно, чел, ништяк, ты чё, тебе нельзя такие карты, ты же у нас правильный мальчик, трусы себе запачкаешь.

— Артур, я тебя прошу, прекрати кривляться, — настаивал я и протянул ему руку с таким видом, как будто хотел сказать: «Даю тебе последний шанс, прежде чем перейти к решительным действиям».

Артур не шевелился, испытываяюще и хитро глядя на меня, ожидая, что произойдёт дальше. Тогда я, не отдавая себе отчёта в том, что делаю, попытался отнять у него карту. Первый раз в жизни я предпринял попытку добиться чего-то силой. Некоторое время мы возились на диване — Артур прятал карту за спину, а я, обняв его, пытался дотянуться до неё. В конце концов, карта оказалась в моих руках, и мы оба застыли в неудобной, но странно приятной позе: руки Артура были по-прежнему заломаны, я лежал на нём, и мы часто дышали друг другу в лицо. Мне бы хотелось долго лежать так, ощущая дыхание Артура, пропитанное сигаретами и ещё чем-то кислым, но всё равно такое необычно сладкое. Я, наверное, задержался дольше, чем того требовали обстоятельства, и тут Артур, как это часто с ним бывало, сделал что-то совершенно неожиданное — с растягом, широко раскрыв рот и сильно высунув язык, по-собачьи лизнул меня в лицо. Меня охватила ещё большая дрожь удовольствия, я, изображая недотрогу, вскочил, отплёвываясь и вытирая лицо тыльной стороной ладони. Артур зашёлся в хохоте.

Я до сих пор задаюсь вопросом, что его веселило на самом деле: моя ли оскорблённая чопорность или неумелая игра, которую было так несложно раскусить?

Ночью Артур быстро уснул, а я долго слушал, как дрова в печке трещат в такт его дыханию. Мне было приятно сознание того, что Артур лежит на соседней постели, и если

я немного высунушь из-под одеяла и протяну руку, смогу прикоснуться к нему. Я вспоминал, как мы боролись, красные и потные от напряжения, как потом лежали друг на друге и не могли отдышаться. Эта физическая близость, казалось, должна была ещё больше сблизить нас. Ведь мы, с одной стороны, не делали ничего постыдного — все дети могут так вот копошиться, отнимая друг у друга игрушки, но с другой — было в ней что-то большее, чем просто детская возня. И это что-то приятно тревожило моё сердце, не давая уснуть.

Я стал вспоминать Ирины карты, перебирая в памяти историю Августина. Фрейлины, принцесса с большой грудью, свинопас с огромными усами. Все эти картины рождали новые ощущения, или, наоборот, мои чувства вызывали в памяти и воображении разные ситуации. Я уснул, и мне приснился тот же сон, что снился много лет назад, на этом же месте. Я снова принимаю участие в этой сцене. Снова окружён женщинами с задранными юбками. Усатый мужчина входит в круг. На нём ничего нет, кроме жилетки свинопаса. Я не опускаю глаз, мне немного страшно. Я слышу голос Артура, он говорит что-то про «елдак», и чувствую запах табака из его рта. Он подходит ко мне очень близко, так что я перестаю различать черты его лица, я чувствую, что упираюсь в его жилетку, она шершавая, но в то же время мягкая — или это его нога? Она трётся об меня или это я сам совершаю странные движения. Всё вокруг пропадает, утопает в дымке, становясь незначительным. Я всё ещё чувствую жилетку или ногу свинопаса, она прижимается ко мне всё сильнее и сильнее, и, наконец, что-то обрывается, что-то сильное и тяжёлое внутри меня падает, я сам куда-то лечу и тоже падаю, пока не просыпаюсь и не обнаруживаю, что простыня подо мной мокрая и чуть липкая.

Сначала я не понял, что произошло. Я подумал, что описался, такое случилось со мной и в достаточно позднем воз-

расте, хотя я уже не помнил, когда писал в кровать последний раз. Я потрогал и понюхал то, что было на простыне. Нет, не моча. Мне стало немного противно, что придётся спать в этой луже, кроме того, я не знал, что делать, чтобы ни бабуля, ни — особенно! — Артур ничего не заметили утром. Я аккуратно подоткнул одеяло так, чтобы прикрыть мокрые пятна, и тут меня осенило. Я ведь, наверное, превратился в молодого мужчину! Мама рассказывала мне об этом когда-то, вот оно и случилось! Я не знал, нужно ли мне делать теперь что-то специальное и чем мне вообще грозит моё новое состояние. Но, вспоминая свой сон, подумал, что вместе с гадливостью испытываю что-то приятное. В конце концов, я заснул с надеждой, что сон повторится, но мне не снились больше ни свинопас, ни принцесса, ни Артур.

Мама дружбу с Артуром не одобряла. Сначала я вообще не говорил ей, что у меня появился друг, потому что боялся делиться с ней какой бы то ни было информацией. Никогда не знаешь, как она на это посмотрит и чем это обернётся для меня. У всех, конечно, есть друзья, и родители обычно не имеют к ним претензий. Но мамино поведение предсказать было невозможно. К примеру, последнее время мальчики стали носить новые причёски, подражая то ли Кинчеву, то ли Цою: чёлка и макушка оставались прежней длины, а сзади отращивалось несколько длинных прядей. Смотрелось это диковато, но было жутко модно. Когда я заикнулся, что мне нравится такой стиль, мама категорично заявила: «Если ты хочешь сделать из себя дебила — пожалуйста! Но я у себя дома на это смотреть не намерена». Запрет был странный — мне можно было делать всё, что я захочу, но следовало пере-ехать жить в другое место?..

В общем, я решил, что рано или поздно она познакомится с Артуром — но чем позже, тем лучше. С ним было бы не так просто расстаться, как с идеей отрастить патлы.

Она столкнулась с ним всего пару раз, когда он задержался у меня после школы и не успел уйти до её прихода — мы с ним никогда не обсуждали этот момент, но интуитивно старались не встречаться с родителями. Оба раза Артур тихо поздоровался, быстро собрался и прошмыгнул в дверь, как будто его присутствие в нашем доме было преступлением. Мама ни о чём не спрашивала меня, видимо, рассчитывая, что я расскажу сам. Но я предпочитал молчать, и вот однажды на кухне, когда мама варила суп, а я чистил картошку, она спросила:

— А что это за мальчик к тебе ходит?

— Артур.

— Он из школы, что ли?

— Да.

— А почему я его раньше не видела?

— Он новенький, его только в этом году к нам перевели.

— А учится он хорошо?

— Нормально.

— Очень странный мальчик. Не могу сказать, почему, Артём, но мне он не очень понравился. Ты уверен, что ты с ним хочешь дружить?

— М-м.

— Ну, смотри, Артём, я тебя только хочу предупредить, чтобы ты держался подальше от такого рода людей. Они сначала могут притвориться друзьями, а потом подложить такую свинью, что мало не покажется. Надеюсь, он тебя не научит ничему плохому.

— Нет, мам.

На этом разговор, конечно, не был закончен. Если у мамы не было возможности что-то однозначно запретить за отсутствием веских причин, она никогда не оставляла темы и капля за каплей точила камень, пока не добивалась своего. Теперь каждый раз, когда речь заходила о школе, уроках,

контрольных, каникулах или таких отвлечённых понятиях, как дружба и приятельство, мама не упускала случая бросить камень в огород Артура. «Ну а что, друг этот твой, Артур, он тоже сочинение на пятёрку написал?», или «А родители Артура придут на собрание?» (они так ни разу и не пришли, моя мама, впрочем, тоже посещала родительские собрания крайне редко), или «Артур тебе курить не предлагал?», или «Понимаешь, Артём, дружба — это такие отношения, которые проверяются годами и испытываются сложностями. Без них дружба не дружба, а просто знакомство. Помнишь, как у Высоцкого: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, парня в горы тяни...» Я вот, к примеру, уверена, что если Артура проверить на прочность, он убежит, поджав хвост. Но тебе этого, конечно, не понять сейчас, потому что вы ещё не попали в нужную ситуацию. Ты, главное, будь осторожен».

Я на все эти эскапады мычал и молчал — спорить с мамой бессмысленно, можно было только навредить, выдав ей что-нибудь лишнее. Чтобы не дать ей в руки какой-нибудь козырь, на основании которого она могла запретить, скажем, приглашать Артура в гости, я следил за тем, чтобы они никогда не встречались, чтобы Артур, не дай бог, не курил дома и вообще чтобы его присутствие в моей жизни ничем себя не обнаруживало.

Но она, конечно, знала, как часто он к нам приходил. Я предпочитал не лгать по мелочам, это могло натолкнуть маму на какие-нибудь расследования. И хотя я был более-менее уверен, что мы не делали ничего предосудительного, когда лежали на диване, смотрели телевизор или даже спали, я не смог бы гарантировать, что мы ненароком не нарушили какого-нибудь ужасного табу, о котором мама забыла мне рассказать, «потому что не могла и представить, что мне в голову придёт совершить такое». Так что на её внешне безобидные вопросы мне приходилось отвечать честно:

— Ну, как дела, чем после школы занимался?
— Дома сидел, смотрел кино, сейчас буду уроки делать.
— И Артур с тобой телевизор смотрел?
— Да.
— А ещё что вы делали?
— Ничего, только телевизор смотрели, и потом он домой уехал.

— Ну ладно, — отвечала мама с таким видом, будто хотела сказать: «Это мы ещё проверим, только ли вы смотрели телевизор».

Она никогда не давала повода подозревать её в слезке, но я чувствовал, что нахожусь под постоянным колпаком, который стал ещё более тесным с тех пор, как мама впервые увидела Артура. Не знаю, что было бы, если бы она учуяла запах сигарет или пива, но я всё ещё испытывал ужас перед алкоголем и табаком, поэтому осуждал своего друга и даже не думал пробовать вслед за ним. Но, помимо вредных привычек, были у мамы, видимо, ещё какие-то страхи, которые она попыталась рассеять, переложив их тяжесть на меня.

Психологические беседы проводились всё реже и реже. То ли у мамы не было времени и сил — ей приходилось много работать, «халтурить», как она говорила, чтобы прокормить меня и вышедшую на пенсию бабулю, — или, может, сами разговоры эти потеряли смысл, теперь меня было трудно заставить рыдать и рассказывать все свои секреты. Я усвоил манеру односложно отвечать на вопросы и со всем соглашаться. Обычно мы общались на кухне во время приготовления ужина или уже за столом. Но это были не те беседы, что раньше, — внимание концентрировалось не на разговоре, а на очистке картошки или помешивании поджарки для супа: сложно пророчествовать, когда слёзы вызваны луком, а не расстройством чувств.

В один из выходных, когда я, как обычно, лежал с книгой в руках, она подозвала меня знакомым голосом пророчицы. Я был уверен, что она хочет предпринять решительную атаку на Артура, и мне было интересно, что подвигло её на это. Неужели узнала о том, что мы уже месяц не ходим на химию?

Мама сидела в своей любимой позе на протёртом уже кресле: одна нога подогнута под другую, сигарета во рту, пепельница на коленях. Луч зимнего солнца пробивался сквозь щель в занавесках и, словно софит, выхватывал её окутанное дымом лицо. Я увидел вдруг, что она постарела. Крашенные белые волосы поредели, и когда она убирала их назад, как сейчас, спереди получалось несколько ровных проборов с чёрными корнями, создававшими впечатление, что волос недостаточно. Несмотря на тональный крем, под глазами проглядывали синяки. Она выглядела смертельно уставшей — не после тяжёлого дня, а уставшей в целом. Она ещё могла казаться красивой, но это была уже не та демонстративная красота, знающая себе цену, — это была отчаянная, уходящая красота, доживающая последние годы.

Мама не смотрела на меня и говорила отрешённо, будто разговаривая сама с собой. Но я знал, что она не выпускает меня из виду и рано или поздно задаст неожиданный вопрос, на который не будет лёгкого ответа и который должен будет проникнуть в потаённые уголки моей души, она повернётся ко мне рывком, каким притаившаяся мурена хватается свою жертву, и спросит, глядя прямо в глаза.

— Артём, я давно хотела обсудить с тобой один момент. Сядь, пожалуйста, и послушай, — она глубоко затаилась, выдохнула дым, слегка отстранив голову, и продолжила, — в жизни каждого мальчика наступает момент, когда кажется, что он уже может физически начинать свои отношения с женщинами. Но на самом деле это не так. Организм ещё не сформировался, многие органы функционируют не так, как

нужно, и если даже ему кажется, что он мужчина, он ещё ребёнок. Самое опасное в таких случаях — это раннее начало половой жизни. Потому что если мужчина рано начинает свою половую жизнь, то очень велика вероятность, что он её рано и закончит, слишком рано станет импотентом, то есть неспособным на половую связь.

Хорошее начало хорошей беседы. Если не считать невинных поцелуев с Ирой, ни о каких отношениях с женщинами речи пока что не шло. Даже если бы вдруг как манна небесная на меня сегодня упала женщина, я совершенно не знал бы, что с ней делать, хотя мне и была известна техническая сторона вопроса. Правда, я не был уверен, что происходящее со мной по ночам не является ранним началом половой жизни, смертельно опасным для моего дальнейшего существования. Может, именно из-за этого мама решила говорить со мной?

— Также некоторые мужчины, когда женщины рядом нет, и особенно это касается молодых мужчин, не начавших ещё половую жизнь, так вот, некоторые мужчины пытаются самостоятельно вызвать те же реакции, которые должны были происходить, когда рядом находится женщина. Ну, там, руками, к примеру, или ещё как-нибудь.

И тут мама резко повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Я сразу отвёл взгляд, но у меня было такое чувство, что за доли секунды, когда наши глаза встретились, она успела проникнуть в самую глубину и всё понять.

— Так вот, Артём, что я должна тебе сказать. Это очень плохое занятие. Во-первых, оно не просто вредно для здоровья, но даже опасно. Доставляя себе ложное удовольствие, эти люди рискуют потом своей дальнейшей жизнью с женщинами. Кроме того, можно так к этому пристраститься, что это становится болезнью, которая в конце концов сводит человека в могилу. Ты ведь знаешь, Гоголь умер в 40 лет. Так вот, он умер именно от этого недуга.

Поскольку мама продолжала смотреть на меня в упор, я покраснел, тем самым, наверное, уверив её в подозрениях. Я ничего не делал руками, но ведь все эти ночные сны — они тоже были не просто так, я хотел, чтобы они мне снились, и часто нарочно вспоминал свинопаса, прежде чем уснуть, тем самым как раз «вызывая самостоятельно те реакции, которые должны происходить в присутствии женщины».

Хорошо, что мама не стала интересоваться причиной моего смущения, решив, наверное, что с меня довольно стыда и страха за своё будущее. Вместо этого она снова посмотрела на меня, глубоко затянувшись:

— Надеюсь, Артур никак не замешан в каких-нибудь делишках такого рода?

А я, вместо того чтобы опровергнуть наличие самих «делишек», попался в расставленные силки, честно ответив на этот двусмысленный вопрос:

— Нет, мам.

Вернувшись в свою комнату, я первым делом отыскал томик Гоголя. Я не надеялся, что там будет написано, отчего на самом деле умер писатель, но, во-первых, следовало проверить возраст, про который говорила мама, а во-вторых, может, можно будет что-то прочесть между строк. Я стал просматривать абзац за абзацем, сначала в начале вступительной статьи, потом в конце, не собираясь читать её целиком: «...родился 20 марта 1809 года в Полтавской губернии...», «...последние годы были омрачены...», «...второй том «Мёртвых душ»...», «...наследие великого писателя неопределимо для советской культуры...». В статье, как это часто бывает, не только не было ни слова о том, от чего скончался писатель, но даже не упоминалась дата его смерти, потому что, наверное, подразумевалось, что она должна быть всем известна, как день собственного рождения. Я пересмотрел статью ещё раз, на этот раз страницу за страницей, но так ничего и не нашёл.

«Завтра спрошу у Вадимовны», — подумал я, тут же решив, что хотя полностью от моих снов отделаться не получится, но, по крайней мере, надо постараться не вызывать их специально. Может, если они будут случаться редко и не по моей вине, меня не постигнет участь Гоголя.

На следующий день я для начала решил проверить, как ко всему этому относится Артур. Не было и речи о том, чтобы спросить его напрямую, поэтому приходилось действовать осторожно.

— А ты знаешь, Артур, от чего умер Гоголь?

— Кто-кто?

— Гоголь.

— А кто это?

— Блин, Артур, мы его месяц назад проходили. Ты же читал его!

— А... ну и что. От чего, ты говоришь, он умер?

— Умер, потому что, ну... баловался руками.

— Что?!

— Ну, пристрастился руками вызывать ложные эротические удовольствия, — сказал я, не веря, что смог это произнести.

— Дрочил, что ли? Да ладно, чел, разве от онанизма умирают? — Артур смотрел на меня с сомнением, но было видно, что ему эта тема интересна.

— Да. В сорок лет.

— Хуяссе! А ты откуда знаешь?

— Рассказали.

— Да ладно пиздеть, Тёмыч, хуйня это всё.

— Артур, прекрати, пожалуйста, материться и спроси у Вадимовны, если не веришь.

Артура не нужно было дважды просить сделать что-нибудь необычное. Когда мы зашли в кабинет литературы, он подошёл к учительскому столу. У меня ёкнуло в груди, потому что я подумал, что он спросит сейчас не только про

возраст, но и про болезнь Николая Васильевича, но Артур только хотел напугать меня:

— Скажите, — сказал он с театральной паузой, рассчитанной исключительно на меня, — а Гоголь во сколько лет умер?

— Я не помню точно, но, кажется, года в сорок два — сорок три. А что?

— Нет, ничего, просто интересно.

Вадимовна проводила Артура удивлённым взглядом, я же победно посмотрел на него: мои слова подтвердились! Впрочем, подтвердились ведь не столько мои слова, сколько слова мамы. У меня никогда, наверное, не будет возможности узнать истинную причину смерти Гоголя, но если часть информации верна, значит, остальное тоже должно быть правдой.

Я решил, что нужно бороться с этими нездоровыми проявлениями, что оказалось не так-то просто. То есть не то чтобы очень сложно, но они всё время побеждали. Вечером того же дня я лежал в постели и думал обо всём, что так стремительно происходило в моей жизни. Наша дружба с Артуром, мамины подозрения, что он замешан в каких-то штучках, её опасения, что если он не превратит меня в курильщика, то непременно научит чему-то другому, и все эти ночные приключения, которые так опасны для здоровья. И Артур, лизнувший меня в лицо, — зачем, интересно, он это сделал? Можно, оказывается, делать это руками. И тогда не обязательно готовиться ко сну, вспоминать свинопаса и надеяться, что тебе снова приснится, как ты стоишь в кругу фрейлин, он медленно приближается к тебе, а ты не шелохнёшься, потому что ждёшь, боишься, но хочешь, чтобы он был ближе, близко-близко...

Я решил — ладно, если я попробую один раз сделать это сам, то не умру тут же на месте, ведь даже Гоголю потребовалось сорок лет, чтобы эта болезнь сгубила его, а в моём состоянии ждать сна было бессмысленно.

Всё произошло на удивление быстро, я даже не понял, что сделал, чтобы добиться того результата, которому обычно, как мне казалось, предшествовали долгие часы сна. Я включил настольную лампу (зажигать люстру не решился), чтобы посмотреть на результат ложного удовольствия. Раньше ведь я не видел ничего, кроме пятен на простынях. Увиденное мне не понравилось, я почувствовал себя грязным, как будто кто-то высморкался мне на живот. Я достал носовой платок, вытерся и решил, что это больше никогда не повторится.

На следующий день я снова лежал в темноте и думал, что, может, два раза — это ещё не болезнь...

Через неделю я понял, что обратной дороги нет. Что я пошёл по стопам великого русского писателя, чей вклад в советскую культуру неоценим, но пошёл, к сожалению, отнюдь не по писательской стезе. Только одна мысль утешала меня: до сорока лет было далеко. Может быть, за это время болезнь пройдёт сама собой или от неё придумают какое-нибудь лекарство. Я решил, что если не получится совсем избежать этих «делишек», то можно, по крайней мере, стараться делать это как можно реже. Тогда, наверное, мне удастся дотянуть до пятидесяти, а там уже, кто знает, не исключено, что старые люди вовсе не страдают этим пороком.

Для начала я подумал, что раз это удовольствие запрещено, надо не просто ограничить себя в частоте, но создать некую систему, которая привязала бы мои действия к чему-то другому. Систему поощрений за хорошие дела. Я решил, что буду заниматься этим (мне было неприятно даже про себя пользоваться терминами, услышанными от Артура) только в те дни, когда получу пятёрку в школе.

Учителя должны были удивиться моей резко возросшей активности — я первый поднимал руку, старался отвечать на все вопросы и всегда быть у доски, даже когда не был уверен в том, что знаю предмет (в конце концов, если я получу

пятёрку, это хорошо, а если нет, то хуже не будет). Но потом настали выходные, и мне пришлось думать, за что я могу себя наградить в воскресенье. Тут пришла очередь удивляться маме, потому что я перемыл всю посуду и сам вызвался убрать квартиру без её настойчивых напоминаний. Жить в таком режиме было сложно. Несмотря на то что я учился хорошо, я не привык читать все заданные параграфы по всем предметам, обычно выбирая только те, по которым могла быть контрольная. После двух недель усиленной учёбы («Чел, ты чё, академиком решил заделаться?» — спрашивал Артур) я решил, что четвёрки тоже достойны поощрения. Всё это было утомительно, а самое главное, мучительно в те дни, когда я не получал никаких оценок, потому что меня не вызывали к доске и ни по одному предмету не было контрольной. Конечно, я думал, что если я получил две хорошие оценки вчера, то сегодня я могу использовать одну из вчерашних. Но если два дня подряд были безоценочными, вечером я долго ворочался в постели, а потом скрепя сердце принимал решение, что иногда можно и отойти от принятых правил ради простого удовольствия.

Недели борьбы сменялись периодами апатии, когда я думал, что болен неизлечимо, так что даже не стоит и сопротивляться. В такое время я отдавался своему недугу с каким-то остервенением, занимаясь этим по пять-шесть раз в сутки, как будто знал, что скоро мне предстоит ужаснуться глубине своего падения и предпринять очередную отчаянную попытку совладать с собой.

Мои сновидения прекратились, это, несомненно, свидетельствовало о том, что болезнь прогрессирует. Мне было очень интересно узнать, один ли я среди моих одноклассников подвержен этому пороку. Каждый день я всматривался в лица других мальчиков, пытаюсь найти следы ночной борьбы. Но это всё были обычные лица: красивые и не очень,

с детской припухлостью и первыми прыщами. Ничто не могло с определённой уверенностью сказать, что они делают то же самое. Если бы они только знали! Даже Артур, так свободно говоривший про эти вещи, казался, совсем не был ими озабочен. Может, ему удалось избежать их? Или именно этого боялась моя мама? Может, Артур давно уже безнадежно испорчен, и у него и в мыслях не возникает, что то, чем он занимается, так опасно? Я не решался заводить разговор на эту тему из страха, что он засмеет меня или, не дай бог, научит чему-нибудь ещё более вредному. Мне хватало и того, что есть. Я всегда подозревал, что со мной что-то не так, и теперь получил тому наглядное подтверждение: я конченный человек, и можно только надеяться, что расплата придёт не слишком скоро.

В конце этого года мы должны были написать заявления с указанием класса, в котором хотели бы учиться. Не у всех, конечно, был выбор из-за оценочного ценза, но те, кто не проходил в классы «с уклоном», не очень расстраивались, потому что их жизнь обещала стать проще. У меня не было никаких сомнений в том, что Вадимовна будет рада принять меня под своё крыло. Я ходил с гордым осознанием того, что не зря прожил последние два года, старался не просто так, что софа была принесена в жертву не зря. Исполнялась моя давняя тайная мечта стать официально немного выше и лучше, а значит, и сильнее моих мучителей. Пока они будут биться с наречиями и деепричастными оборотами, я отдам свои силы познанию великого, а гидом мне будет самая уважаемая в школе учительница.

Не так просто обстояло дело с Артуром. Его тактика по переписыванию моих контрольных с добавлением ошибок привела к тому, что его не выгнали из школы за неуспеваемость, но почти по всем предметам у него были твёрдые тройки. С таким реноме ему, в общем, даже никакого и заявления писать не требовалось. Мне, с одной стороны, было радостно,

что я не попаду в простой класс, но было жаль, что мы не будем больше соседями по парте. Мы, конечно, останемся в одной школе, нам даже удастся, возможно, вместе прогуливать уроки, но это будет уже не то. Иногда я с горечью думал, что свято место пусто не бывает, и рано или поздно Артур найдёт себе какого-то нового друга, у которого можно будет списывать контрольные, даже и не вставляя в них ошибки, потому что их там и так будет достаточно. Мы не обсуждали этот вопрос, но по глазам Артура я видел, что и он расстраивается. Мы оба понимали, что требуется некая жертва ради нашей дружбы, но ни один из нас не был готов её совершить.

Всё оказалось не так, как я запланировал.

В один из чистых, ясных и таких тёплых майских дней, когда ты всем телом чувствуешь приближение каникул, Вадимовна задержала меня в классе после окончания урока. Я почувствовал неладное, потому что раньше она никогда не проявляла желания беседовать с кем бы то ни было наедине. Мы стояли возле приоткрытой двери, Вадимовна направила взгляд своих больших чёрных глаз куда-то за мою спину и начала говорить достаточно тихо, так что мне приходилось прислушиваться.

— Артём, я бы хотела поговорить с тобой относительно твоего желания учиться в моём классе. Я думаю, что ты очень старательный мальчик, у тебя многое хорошо получается. Мне нравятся твои сочинения, твой стиль и твоя способность критически смотреть на вещи. Но ты должен понять, что я собираю не просто класс, а команду, которая будет жить одним организмом. Я боюсь, тебе будет сложно с нами. Я не хочу, чтобы трудности такого рода отбили у тебя охоту учиться. Мне кажется, тебе будет проще и полезнее в физико-математическом.

Я вдруг заметил, что она немного косит на правый глаз, но это не портило её, а, наоборот, придавало шарма. Воробьи

за окном стали чирикать гораздо громче, или, может, раньше я просто не обращал на них внимания? Вадимовна говорила ещё и ещё, что не нужно расстраиваться, что я обязательно найду себя в физико-математическом, что литературу у нас всё равно будет вести она, так что в моей жизни мало что поменяется, я слушал этих воробьёв и думал — что же они так расчирикались, отчего им так радостно?

Вадимовна закончила и открыла дверь, пропуская меня вперёд. Я еле слышно попрощался и вышел в рекреацию, где меня ждал Артур.

— Артём, ты чего? Что случилось? Что она тебе сказала?

Только потом я вспомнил, что Артур назвал меня по имени, что случалось крайне редко, я искренне терпеть не мог всех этих «Тёмычей». Я пробормотал что-то невнятное и поплёлся к выходу. Артур последовал за мной, не переставая задавать вопросы. Мне не хотелось ни его участия, ни его сочувствия, мне нужно было остаться одному, чтобы пережить и переболеть это предательство. Я повернулся к нему и механически, без намёка на какую-либо интонацию в голосе произнёс:

— Артур. Всё нормально. Я не пойду на алгебру, мне нужно домой. Но я тебя прошу, останься в школе. До завтра.

Артур удивлённо остановился, не зная, послушаться или продолжать идти за мной. Я медленно пошёл в сторону дома, не оборачиваясь, чтобы не дать шанса моему другу остаться рядом.

Предательство. Было ли это предательством? Со стороны кого? Вадимовны? Она ведь просто делала свою работу. Если я не подходил для её класса, потому что не вписывался в «команду», её долгом было остановить меня. Она, собственно, никогда не давала мне надежды, не намекала, что хочет видеть меня в литературном классе. Это я сам всё придумал. Слишком занёсся, забыл, кто я есть на самом деле. Хотел

стать выше, чем все остальные. Надо, конечно, знать свой шесток и не высовываться.

Так размышляя я, уткнувшись лицом в стену, как в детстве. Я не плакал, нет, я давно престал плакать, но в такие минуты мне хотелось стать совсем маленьким, чтобы занимать в пространстве как можно меньше места. Мне казалось, что тогда мне станет легче, все трудности исчезнут сами собой, потому что их груз просто не сможет давить на такое маленькое создание. И если лежать лицом к стене, близко-близко, пусть даже с открытыми глазами, ты достигнешь этой цели и превратишься в ничто.

«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море». Я был тем ужом. Но я и правда хотел летать. Не из стремления доказать, что небо мне интересно, а потому что устал смотреть на море, свернувшись в узел. Я хотел взлететь и доказать всем остальным, что я могу. Мне нужно было сделать это из гордости, из мелочной мести. Но нет, небо не для меня. Мне было бы там сложно. И трудности такого рода отбили бы у меня охоту ползать. «Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она — в паденье!..» А всё это безумство храбрых — оно только для того, кто рождён соколом. Даже очень храбрый или самонадеянный уж вроде меня никогда не добьётся ничего, кроме лишних синяков.

В таком положении меня застала мама, вернувшаяся с работы. Я не слышал, как она открыла дверь. Она вошла в мою комнату, села рядом и тихо спросила:

- Артём, что-то случилось?
- Нет, мам.
- А что ты так лежишь?
- Просто.
- Что-то в школе? Провалил экзамен?
- Нет, мам.
- Что-то с распределением?

— Меня не берут в литературный класс.

— Почему? Оценки плохие?

— Нет. Вадимовна думает, что мне будет сложно.

— Как это «она думает»? Какое она имеет право так думать? Я завтра же пойду и поговорю с директором школы. Что за самоуправство?! Как можно так распоряжаться ребёнком и решать, где ему будет сложно, а где просто? — иногда мама начинала очень активно бороться с несправедливостью, особенно, если это касалось начальства, чиновников или вообще представителей государственных структур.

Вообще-то мне было приятно, что она готова заступиться за меня, но я понимал, что из этого ничего не выйдет, а если даже и выйдет, то в итоге я окажусь в классе Вадимовны против её воли, чего я не пожелал бы никому. Поэтому я тихо, но твёрдо сказал:

— Мама. Пожалуйста. Не нужно никуда ходить. Я буду учиться в физико-математическом.

— В физико-математическом? Ну что ж. Это не так уж и плохо, нет? У тебя ведь всё получается с математикой? И физика тебе всегда нравилась, разве не так?

— Да, мам. Всё нормально. Можно, я посплю немного?

Лето я снова провёл на даче: Артур уехал с родителями, и в городе делать было нечего. Я записался во взрослую библиотеку (по протекции мамы, конечно, — из-за возраста я сам пока не мог брать там книги) и целыми днями читал: в доме, на чердаке или в гамаке на улице.

Первое сентября не походило на праздники, что мы отмечали ещё каких-то несколько лет назад. Не было больше ни гладиолусов в школе, ни салатов дома. Даже торжественная линейка казалась обыденной. К моему удивлению, Артур,

опоздавший на пятнадцать минут, встал в один ряд с моим новым классом. Я подумал, что он, верно, перепутал или попросту не знает, где ему нужно стоять, поэтому решил быть ближе ко мне. Но потом выяснилось, что он на самом деле приписан к физико-математическому. Теми же неисповедимыми путями, какими родители Артура пристроили его в нашу школу, они записали его и в наш класс.

Мальчики за лето сделалась какие-то длинные. На даче я за собой этого не замечал, потому что не с чем и не с кем было себя сравнивать, но в стенах школы, где меня не было три месяца, всё и все казались другими. Мои одноклассники выглядели молодыми жирафами, которые уже выросли, но ещё не обросли мясом и потому им сложно ходить, балансируя на длинных ногах. Учителя, раньше смотревшие на нас сверху вниз, теперь оказались одного с нами роста, что немного смущало — казалось, каждый раз, разговаривая лицом к лицу, бросаешь им вызов. Артур из испуганного и наглого волчонка превратился... да, в общем, ни в кого он не превратился, остался таким же — только вытянулся, похудел и стал из-за этого ещё более несуразным.

Я был рад, что мы с ним остались в одном классе. И хотя моё сердце сжималось от обиды всякий раз, когда в коридоре я встречал Вадимовну, я был доволен новыми одноклассниками, а также тем, что нас всего 16 человек, и это создавало своего рода интимную и дружескую атмосферу на уроках.

После линейки мы с Артуром пошли ко мне. Мама была на работе, бабуля решила не приезжать с дачи, раз уж праздника всё равно не будет, поэтому у нас был в запасе целый день. Мы болтали на тему «как я провёл лето». Выяснилось, что Артур провёл его гораздо активнее, чем я:

— Ну вот, чел, короче, нахуярились мы водки с деревенскими, и потом этот Сашка сел в свой «бэ-эм-вэ» и поехал,

типа, в магазин. Только до магазина он не доехал. Вернулся к нам минут через сорок пешком. Мы его спрашиваем: «Где, бля, бухло, чувак?» — а он такой говорит: «Мужики, бля, я машину потерял!»

Слушая про эти приключения, я закатывал глаза, чтобы показать весь свой ужас перед таким падением нравов. Это ещё больше раззадоривало Артура, так что нельзя было понять, где в его рассказах правда, а где эпатирующие преувеличения. Но, в любом случае, мы были рады видеть друг друга, говорить друг с другом, снова лежать вместе на диване и радоваться тому, что новый учебный год обещает быть таким же насыщенным дружбой и совместным времяпрепровождением, как и прошлый.

Следующий же день поставил под сомнения эти наши (вернее, мои) надежды. Я немного опоздал к началу первого урока, все уже сидели на местах, хотя учителя ещё не было. Я вошёл в класс, стараясь не встречаться ни с кем глазами, потому что мало с кем был знаком. Артур первый урок проспал, поэтому я сел один за свободную парту. Что-то было не так. Тёмный кабинет истории, негромкий шум в классе, куда вот-вот должен войти учитель, обычное начало ничем не примечательного учебного года, но было во всём этом что-то неправильное, заставившее меня осмотреться. И в какой-то момент мой взгляд встретился с другим, так же внимательно изучавшим меня. Я вдруг покраснел, показалось, будто из ушей сейчас хлестанёт кипяток.

Это был взгляд больших чёрных широко расставленных глаз на взрослом уже лице, и я очень хорошо его знал. Ира.

Она улыбнулась мне, показала язык и отвернулась. Она сильно изменилась, но осталось в ней всё равно много от той Иры, с которой мы держались за руки, любуясь моей опушкой, и целовались в отсутствие бабули. Иры, которая уже не была моей официальной первой любовью, потому

что всё-таки эти детские любви не считаются. Но я понял, что никогда не забывал её.

Её губы казались ещё полнее. Она стала ещё смуглее — или длинные чёрные волосы придавали ей эту цыганскую смуглость? В ней было много детского, весёлого и беззаботного, но уже появились едва заметные женские жесты: то, как она убирала чёлку со лба, заправляя прядь за ухо, как откидывалась на спинку стула, закинув ногу на ногу и слушая учителя, немного наклонив голову. Она была одета в светлую блузку и длинную, очень узкую юбку по последней школьной моде — настолько тесную, что в ней не получалось нормально ходить, поэтому девочки семенили от одного кабинета к другому, как японки в сабо. Казалось, Ира знала, что красива и поэтому старалась выжать из этой красоты как можно больше, подчёркивая её своими манерами. В ней и раньше было кокетство, но теперь оно стало осознанным, хотя и бесцельным. Вернее, всё живое вокруг неё было целью, Ира хотела нравиться всем. И, надо заметить, это у неё получалось.

На перемене мы поговорили, рассказывала в основном она, я только краснел от смущения. Родители её развелись в зиму нашего знакомства, она жила какое-то время с бабушкой, а потом мама вышла второй раз замуж и переехала к новому мужу в наш район. Дача осталась за её отцом, с которым она видится редко и потому больше туда не ездит. В моей семье никаких замужеств или разводов не было, поэтому на её вопрос «ну, а у тебя как дела?», я ответил дежурным «нормально». Она посмотрела на меня немного насмешливо и поинтересовалась: «А что, девушка-то у тебя есть?» Я мысленно удивился этому сочетанию — я и некая абстрактная девушка, потому что вообще никогда не думал о себе в этом контексте. Не успев ещё больше смутиться, я отрицательно помотал головой, Ира состроила гримасу сострадания: «Эх, Семён Семёныч, что ж ты так?»

Звонок избавил меня от дальнейших расспросов, я только боялся, что она сядет со мной за одну парту, но, на моё счастье, в классе уже был Артур, к которому я подсел, не оставив ей шансов попытать меня во время урока. Теперь, впрочем, настала очередь Артура:

— А это что за чувиха?

— Ира.

— Новенькая?

— Да.

— Хуяссе ты девок кадрить, Тёмыч!

— Я не кадрую, мы раньше были соседи по даче.

— А чё покраснел так, «сосед»? Втюрился?

— Артур. Прекрати кривляться, пожалуйста, и вообще нас сейчас из класса выгонят, — ответил я с театральным возмущением, впрочем, учительница действительно поглядывала в нашу сторону.

После урока Ира уже болтала с другими девочками и не обращала на меня внимания, хотя я стоял неподалёку и клял Артура за то, что тот, решив не курить, провёл со мной всю перемену.

Вечером у меня в голове была только Ира. Я вспоминал наше знакомство и то, как комично всё закончилось; думал о том, как сильно она изменилась; задавался вопросом, что случилось с Олегом, до сих пор ли они вместе или она нашла себе нового друга... Так или иначе, но она точно не одна, раз с такой лёгкостью спросила меня про девушку. А я. Разве я мог составить конкуренцию этому Олегу (Пете? Роме?), ведь он наверняка тоже каратист, или ушуист, или что-нибудь в этом духе. Я встал, вышел в коридор и посмотрел на себя в зеркало. Я тоже немало изменился, но определённо нельзя было сказать, что похорошел. Щеки пухлые и какие-то шершавые, на носу назревал прыщ, зато плечи и грудь были узкие и сутулые. Мои когда-то мягкие послушные волосы

превратились в мочалку — вместо чёлки спереди вздымался вихор, который было ничем не пригладить и который при- давал мне диковатый и нелепый вид. Я понял: про девушку она меня спросила издеваясь — невозможно представить себе девушку, пусть даже самую завалиющую, которая согласилась бы встречаться с таким, как я.

Вообще-то до сих пор это не очень огорчало меня — на- против, избавляло от необходимости гоняться за девочками, как это с недавнего времени пытался делать Артур.

Ира. Мне показалась странной робость, овладевшая мной в момент нашего разговора. Я никогда так не чувствовал себя раньше. Нет, не правда, мне всегда было немного неловко, когда приходилось говорить с другими людьми даже на самые обыденные темы, но сегодня я ощутил особенное, ещё не из- веданное смущение. Я подумал, что это и есть любовь. В том самом смысле, в котором её понимали Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Нет, не Гоголь, Гоголь не писал ничего про любовь... ну, не важно. Даже если учесть, что то детское чувство было ненастоящим, не приходилось сомневаться, что сейчас оно возникло — или возродилось? — с новой силой. К концу вечера я уверил себя, что Ира станет моей Татьяной Лариной, моей Дульсиной Тобосской, моей Верой Шеиной. Она не должна, конечно, узнать о моих чувствах, потому что всё равно не сможет разделить их. Я буду любить её втайне, следуя за ней в течение всей жизни, буду её ангелом-хранителем.

Такими размышлениями я почти довёл себя до религи- озного исступления, Ира казалась существом неземным, бестелесным духом, которого и любить-то грешно, а можно только поклоняться. При всём этом я сам, конечно, был об- речён на страдание, ведь неразделённая любовь никому ещё не давалась легко. Но страдать я буду дома, а в школе просто постараюсь быть рядом с ней, чтобы наслаждаться её взгля- дом, улыбкой, звуком её голоса.

Внешне мало что изменилось с тех пор, как Ира вошла, вернее, вернулась в мою жизнь. Я всё так же проводил большую часть времени с Артуром. Ира обращала на меня внимания не больше, чем на турники в спортзале. Она ничего не подозревала о моих чувствах, а я и не стремился показать ей, что она стала девушкой моей мечты. Артура я в свои печали тоже не посвящал, будучи уверенным, что он всё опоплит. Каждый вечер я думал о ней, вспоминал, во что она была одета, как ходила, говорила, смеялась, пересказывала параграф по физике или прыгала через козла на физре. Все эти мечтания были вполне романтическими, если не сказать меланхолическими. Мне казалось, что я ужасно страдаю от неразделённой любви, я жалел себя и мог часами лежать и печалиться о том, что никогда не стану любимым и счастливым.

Однако Ира не присутствовала в моих фантазиях, где царствовал всё тот же принц-свинопас, а иногда Артур и другие фигуры, реальные или вымышленные. Любовь эта была всяма платонической, но меня радовало, что моё чистое чувство не омрачено никакими «делишками». Впрочем, о делишках я старался не думать даже наедине с собой. Они были защищены двойным уровнем секретности, то есть даже я был не вправе уделять им внимание. Они случались с неизменной регулярностью, но как только дело было сделано, включалась внутренняя блокировка и мысленно я возвращался на пять минут назад, как будто ничего не произошло.

Исполненный страданий, меланхолии и любви я начал писать стихи без надежды кому-нибудь их показать.

*Город жёлт от тоски и скуки,
Жёлтые ритмы жизни сорвались,
Мне остаются глаза и руки:
Мысли и чувства все ей достались.*

*Голым взглядом подняться в небо,
Нежным веткам пропев аллилуйю.
Ликовать над её победой,
Помяная беспечность былую.*

*Даже солнца истошный свист
Не разбудит упавшее слово,
Мне — лишь нужно последний лист
Сохранить от ветра сырого.*

Мои чувства не могли долго оставаться незамеченными. Вообще-то в школе я ни с кем особо не разговаривал, а если возникала необходимость завязать беседу, то робел, глядел в пол и старался как можно быстрее её закончить. Ира смущала меня сильнее, чем кто бы то ни было. Каждый раз, когда она смотрела на меня, здоровалась или подходила с простым вопросом о домашнем задании, я краснел и не мог произнести ни слова без запинки. Но странно было другое: если обычно я избегал любых контактов, с Ирой всё происходило наоборот. Как ни велика была моя растерянность, я старался как можно чаще попадаться ей на глаза. Казалось, я постоянно нуждался в горячем Ириного присутствия, иначе любовь моя могла погаснуть так же быстро, как вспыхнула, и я бы замёрз без этого чувства. Если мы не виделись в течение недели или десяти дней каникул, я забывал о своей печали и даже стихи писал гораздо реже. Но стоило мне вернуться в школу, как я начинал с новой силой страдать от одиночества и ежеминутно думать о том, как несчастен.

Сначала она не обращала внимания на это моё смущение (или делала вид), но потом вместе со своими новыми подружками начала подтрунивать надо мной.

— Что, Артёмка, голову повесил? Ну, поговори с нами. Расскажи, что на выходных делал.

Приходилось бормотать что-то невнятное, потому что я-то ничего особенного на выходных не делал, а расскажи я им, что не вставал оба дня с дивана, они, наверное, смеялись бы надо мной всю оставшуюся неделю.

— Артём, почему ты свой чуб не причёсываешь? Ты на Есенина похож в таком виде. Все хорошие мальчики пользуются пенкой для волос.

— Артёмка, а что, девушка-то появилась у тебя? Вон, Артур-то твой времени даром не теряет.

Я от этих вопросов краснел еще больше, но ни насмешки, ни каверзные вопросы, ни ироничный взгляд чёрных Ириных глаз не могли заставить меня держаться от неё подальше. Впрочем, хотя её и забавляла моя робость, она шутила надо мной не со зла, и каждый раз, когда я, сам того не желая, выдавал свою обиду, делала попытки приободрить меня:

— Ну ладно тебе, Артём. Ты чего надулся-то? Мы же пошутили, не обижайся на нас, — ласково говорила она, и каждый раз я старался принять беспечный вид — скорее, чтобы не выглядеть расстроенным, чем на самом деле успокоенный её словами.

Так или иначе, из девушки, за которой я наблюдал со стороны, слагая втайне свои мадригалы, Ира стала частью моего круга. Или я стал частью её круга, гораздо большего, чем мой, где я занимал, пожалуй, один из последних углов — если тут применимо сравнение с квадратурой круга (этот термин я так никогда и не понял, хотя и проучился столько лет в физико-математическом классе).

Я не хотел, чтобы Артур знал о моей любви. Не то чтобы я боялся, что он будет смеяться надо мной или посоветует найти «более покладистую целку», но решил не смешивать дружбу и любовь. Я ценил наше двухлетнее единение и не хотел, чтобы оно было чем-то нарушено. Но было невозможно не заметить того, что со мной происходило, учась в одном

классе, сидя за одной партой и проводя вместе большую часть перемен. Он часто становился свидетелем наших с Ирой «бесед», в которых, впрочем, никогда не принимал участия. Однажды он попытался завести разговор на эту тему:

— Чё-то мне кажется, что кто-то у нас втрескался...

— Артур. Ничего я не втрескался и вообще хватит придумывать.

— Да ладно, чувак, это ж ништяк, ну втрескался и втрескался, что тут такого?

— Артур, забудь об этом, эта тема не для обсуждения, — и чтобы придать серьёзности своим словам, я повернулся и ушёл. Больше он меня ни о чём не спрашивал и только смотрел насмешливо каждый раз, когда я, красный, как рак, разговаривал с Ирой, и иногда отпускал безобидные шутки, демонстрируя, что он всё замечает: «Ну что, Рыцарь влюблённого образа, идём на физру или прогуляем?»

Так за пару месяцев установился паритет в нашей странной фигуре, состоящей из двух лучей, исходивших из одной точки, где точкой был я, а Ира и Артур — теми самыми лучами. Я не хотел, чтобы эта фигура превратилась в треугольник, но, к моему облегчению, ни Ира, ни Артур не были заинтересованы друг в друге. На переменах я часто общался с Ирой, пока Артур курил на улице, а после школы мы проводили время с ним. Мне такой расклад нравился: у меня были и друг, и любовь, пусть даже безответная. Я, конечно, был глубоко несчастен, но если бы мне подвернулась волшебная палочка, способная изменить ситуацию по моему усмотрению, я вряд ли бы ей воспользовался. Ну, может, попросил избавить меня от вихра на голове и прыщей.

Я не очень задумывался, влюблена ли в кого-нибудь Ира. Я точно знал, что не в меня, как и ни в кого бы то ни было в школе, и меня мало интересовало, что происходит вне школьных стен. Я вспоминал иногда её каратиста, с которым

она «делала это» несколько лет назад, но чем больше думал о нём, тем яснее понимал, что это был всего лишь способ поиздеваться над маленьким влюблённым дурачком, каким, надо полагать, я и остался в её глазах. Может, каратист и существовал как историческая персона, но вряд ли их отношения зашли так далеко. И даже если сегодня на его месте есть кто-то другой, меня это почти не беспокоило, будучи скрытым от моих глаз. Я не знал пока, что такое ревность, потому что замкнулся на себе, ничто вне меня и моих чувств не имело значения.

Но однажды, выйдя из школы после уроков, я увидел Иру с молодым человеком. Она стояла очень близко к нему, развернувшись и как-то раскрывшись ему всем телом. На лице её была улыбка, которую она берегла для тех, кому хотела особенно нравиться, и которая никогда не доставалась мне. Это был невысокий, но широкий парень с непропорционально маленькой головой. Он показался мне несимпатичным: тупой нос, маленькие острые черты лица, небольшие близко посаженные глаза. Он был похож на вепря со статуи, стоящей в одном из музеев нашего города. Но был в нём, безусловно, какой-то шарм, привлекавший Иру. Даже на расстоянии от него исходила волна мужественности, которая могла погубить не одного Адониса. Они были далеко, я не слышал, о чём они говорили, но решил, что не стоит испытывать судьбу, и быстро свернул за угол.

Мне было интересно узнать, кто это. Я старался придумать оправдание Ире, которое помогло бы сохранить лицо и мне. Старший брат? Нет, не стала бы она так разговаривать со старшим братом. Ну, значит, просто друг детства. Ничто не опровергало эту версию — кроме внутреннего голоса, шептавшего, что я не прав.

Мне было неприятно его появление, но когда я думал об этом рослом подкачанном молодом человеке явно старше

нас, меня окутывало странное чувство облегчения. Я понимал, что если это её парень, значит, последние мои шансы на взаимность навсегда испарились. Рождённый дохляком — качком не станет. Мне оставалось по-прежнему страдать, мечтать, писать стихи, но на всём этом теперь лежала печать обречённости, необратимости и в то же время постоянства, от которого становилось легче.

Я не спрашивал у Иры, кто это, боясь, что она поднимет на смех мою «ревность», кроме того, мне было страшно узнать правду и ставить точку в этой истории. Вдруг всё-таки брат?..

Через пару недель, когда я столкнулся с ними на крыльце школы, мне уже было не увильнуть. На этот раз сомнения окончательно развеялись: Вепрь не принадлежал к числу близких родственников. Он приобнял Иру, слушая, что она шептала ему на ухо. Я, наверное, слишком долго смотрел на них, Вепрь обернулся, вслед за ним на меня посмотрела Ира:

— Артём, познакомься, это Саша. Саша, это Артём, — сказала она и засмеялась, из чего можно было заключить, что Саша со мной заочно уже знаком, — мы с Артёмом дружим, он хороший. Ты его, Саша, не обижай.

— Привет, пацан, — он протянул мне свою сильную жилистую ладонь с постриженными под самую кожу ногтями.

Я с опаской пожал его руку, боясь, что он сожмёт мою со всей силы или придумает ещё какой-нибудь способ показать, кто здесь круче. Но он не стал делать ничего подобного, а только рассматривал меня своими карими, немного насмешливыми глазами, лишёнными и искры интеллекта.

— Ну чё, как дела-то, Расскажи? — спросил Вепрь, пытаясь, скорее заполнить паузу, чем вызвать меня на разговор.

Я пробормотал в ответ, что нормально. Мне очень хотелось с достоинством уйти так, чтобы это не было похоже на бегство. Но ускользнуть оказалось непросто — они

загораживали лестницу, по которой мне нужно было спуститься с крыльца. Если я пойду в противоположную от дома сторону, то дам им повод для веселья. Хотя откуда им знать — может, у меня дела сегодня именно в той стороне.

— Ну, ты чего стоишь-то, как каменный, Артёмка? Испугался что ли?

— Ничего я не испугался, мне идти пора. До свидания, — собравшись с духом, сказал я.

— О-о-о, ничего себе, ты как говорить умеешь. Молодец, пацан. Бывай, — с некоторой иронией произнёс Саша.

Смелости моей не хватило, чтобы подвинуть эту парочку, и я спустился с другой лестницы. Но чтобы сохранить лицо, не стал обходить крыльцо, подавляя в себе желание обернуться, я прекрасно знал — они смотрят мне вслед и смеются.

Сомнений больше не было. У Иры есть молодой человек, и моя любовь из безответной превращалась в безнадежную. Мне стало грустно от этой мысли, но она меня успокоила. Теперь я могу окончательно и бесповоротно погрузиться в своё несчастье, не надеясь на какие-либо перемены. От меня больше не требовалось решительных действий, которые подразумевались прежде. Хотя я и раньше не особо стремился завоевать Ирино расположение, просто стараясь чаще встречаться ей на пути, — больше и этого делать не стоило, всё равно ничего не получится. В самом деле, не на дуэль же мне его вызывать.

Все эти мысли крутились в голове, пока я шлёпал по грязи, оставшейся после растаявшего первого снега. Никогда не понимал суеты, которую раздули вокруг него. Вся красота пропадает через час, и остаётся только непролазная грязь, по которой приходится ходить ещё неделю, а то и две. Аналогично с первой любовью — все про неё пишут и говорят, как о чём-то необычайном, прекрасном и возвышенном, а на самом деле ничего такого в ней нет. Есть только неприятно-

сти, страдания и унижения. Лучше бы её вовсе не было, этой любви, так же как и снега. Меньше романтики, это правда, но зато жизнь стала бы более здоровой.

Я смотрел под ноги, стараясь не промочить выдавшие виды ботинки, и вдруг, подняв глаза, увидел перед собой ещё одну пару, которую совсем не ожидал встретить: Артур шёл с девушкой!

До последнего времени женского вопроса для нас не существовало. У меня было детское приключение с Ирой, Артур же, если и пережил что-нибудь похожее, никогда об этом не распространялся. Несмотря на свою задиристость, он был скромным мальчиком и редко вступал в разговор с незнакомцами. Его хватило на то, чтобы сесть рядом со мной и стать моим другом, но на этом воля к знакомствам иссякла, и в течение долгого времени наша дружба не омрачалась ничьим присутствием. Но незаметно ситуация изменилась: Артур оказался более активным в отношении женского населения школы. Он не упускал случая пошутить, перекинуться словом, поболтать с девочками из нашего и параллельных классов, что меня всегда раздражало, я в такие моменты стоял рядом, не зная, что делать, — не хотелось вступать в разговор и приходилось ждать, когда всё закончится. К моему удивлению, вместо того чтобы посмеяться над Артуром, его собеседницы шутили в ответ и, казалось, были вовсе не против завязать более тесные отношения. Долго это не могло ограничиваться одними шутками. В последнее время Артур часто говорил, что занят после школы: «У меня другие дела, чел, до завтра». Мне было интересно, что это за неожиданные дела, но он не проявлял желания распространяться о них, так что приходилось ждать, когда у Артура появится настроение поделиться со мной новостями.

И вот только теперь я понял, что это были за «дела». И ведь направься я в другую сторону — не встретил бы их,

лишь заминка с Ирой заставила меня пойти этой дорогой. Артур гулял с девушкой. Вернее, это она гуляла, а он шёл рядом с ней, придумывая шутки, развлекаая и поминутно бросая на неё взгляды, чтобы проверить, смешно ей или нет. Они были похожи на даму с обезьянкой. Дама важно шла, не обращая внимания ни на что, кроме своей походки, а обезьянка прыгала вокруг, пытаясь всеми силами привлечь к себе внимание. Голодно ей было, наверное, и одиноко, этой обезьянке, но надежда, что её погладят и угостят кусочком яблока, не покидала её.

Когда я поравнялся с ними, мне пришлось окликнуть Артура — он познакомил нас, стараясь не встречаться со мной взглядом.

Я и раньше видел Диану в школе, но даже не знал её имени, она была старше нас. Она играла роль утончённой блондинки. Блондинкой-то она была от природы, а утончённость старалась развить в себе по мере возможностей. Кудрявые волосы были собраны сзади в пучок, но так, чтобы несколько прядей выбивалось и романтически ниспадало с обеих сторон лица. У неё были тонкие и не очень выразительные черты, но всё вместе составляло образ девушки достаточно красивой. Её голубые глаза не выражали ничего, кроме желания нравиться, но и этого было достаточно, чтобы покорять таких молодых людей, как Артур. Говорила Диана высоким писклявым голоском, который должен был играть главную роль в её нарочито изысканном образе. Мне она показалась девушкой интересной, но я не был уверен, что она подходит Артуру. С ним я, конечно, своими впечатлениями делиться не стал, положившись на время, которое всё расставит по местам.

Диана предложила погулять вместе, спросив Артура, почему он раньше не приглашал своего друга. По его глазам я понял, что моё присутствие нежелательно, но решил, тем

не менее, не отклонять приглашения, чтобы лучше познакомиться с его пассией.

Мы шли молча, разговор не клеился. Артуру было неловко передо мной, и он больше не развлекал свою спутницу, я тоже молчал, не зная, с чего начать светскую беседу, когда говорить вовсе не хочется. В конце концов, прервав молчание, я пригласил их к себе домой.

Дома мы молча сидели на моей софе, которая никогда ещё не принимала такого количества гостей. Наконец, Диана спросила, будем ли мы участвовать в школьном месячнике самодеятельности. У нас появилась новая учительница музыки, которой было скучно работать с первоклашками, поэтому она затеяла большой конкурс (или фестиваль) для старших классов. Класс Дианы ставил «Ромео и Джульетту» с элементами мюзикла, сама она, понятно, планировала играть Джульетту. Вообще-то мы тоже должны были что-то представить, но никто пока не брал инициативу в свои руки, поэтому нам ответить было нечего. Разговор снова погас, как огонь в камине с сырыми дровами. Мы посидели ещё немного, Диана объявила, что ей нужно домой, Артур вызвался её проводить. Я остался один.

Ничего страшного в появлении Дианы не было. Даже лучше, если мы будем дружить втроём, тогда, по крайней мере, Артур перестанет заигрывать со всеми девочками подряд. Но было во всём этом что-то ужасно обидное. Почему он не рассказал о ней раньше? Зачем втайне гулял с той стороны школы, где не было риска встретить меня? Мне было неприятно, что в душе Артура появилась часть, которую он хотел скрыть.

События этого богатого на неожиданные встречи дня легли на меня тяжёлым грузом. Я чувствовал себя растаявшим первым снегом, который был таким чистым и романтичным, а превратился в белые разводы на ботинках. Я снова лежал,

но не закинув ноги на стену, а уткнувшись в стену носом и жалея себя. Это нельзя было назвать страданием или размышлениями, я был именно раздавлен чувством жалости к самому себе. Раньше я мог часами так лежать и твердить мантру несчастья: «Меня никто не любит, меня никто не любит, меня никто не любит», пока чувство заброшенности и нелюбимости не становилось настолько тяжёлым, что я засыпал. Сегодня я не повторял этого рефрена, а вспоминал всё, что делало меня несчастным: Иру и то, как она улыбалась Саше; Сашу и то, как он насмешливо смотрел на меня; как мне пришлось идти в другую сторону, и я чувствовал спиной их взгляды, стрелявшие в меня отравленными стрелами сарказма. Я вспоминал Иру, думал об Ире, твердил её имя, но порой из-за её чёрных длинных волос явственно проглядывали кудри Дианы и виноватая улыбка Артура.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Я растаял, растёкся, разлился,
По обветренным мостовым.
За бордюры заветрился, скрылся,
Не спасён сомненьем своим.*

*Нет спасенья в белёсом покое,
Не растоптанном сотней ног.
Мне сырой оголённой судьбою
Точно вымерен первый срок.*

*Первый свет мой её не ослепит,
И в неравном померкнет бою,
Её мертвенным вздохом согретый
Свою яркую жизнь пралью.*

Правильная географическая фигура из точки и двух лучей, расходившихся под идеальным прямым углом, превратилась в громоздкий и тяжёлый многоугольник. Ирин молодой человек не очень меня беспокоил — хотя я иногда и видел его на улице, стараясь не сталкиваться лицом к лицу, он не играл серьёзной роли в моей жизни. А вот Диана стала нашей неизменной спутницей. Мы вместе гуляли после школы, пили у меня чай и даже ездили в гости к Артуру (ему пришлось стерпеть брезгливую гримасу, когда он поставил свой «Шабаш», больше музыка в присутствии Дианы не включалась). Единственное время, когда мы с Артуром оставались вдвоём, выпадало на прогулянные уроки — Диана училась хорошо и ходила на все занятия. Но и в эти моменты, которых я с нетерпением ждал, девушка Артура незримо присутствовала с нами, поскольку разговоры велись только о ней. Собственно говоря, разговором это сложно было назвать — говорил в основном Артур, а мне приходилось криво улыбаться или закатывать глаза, если он выдавал очередные «шокирующие» меня скабрёзности.

«Понимаешь, Тёма, она такая красивая, что прямо вот духа не хватает. Мне её хочется обнять и трогать её всюду»; «Мне кажется, она очень нежная. Но целка. Не понятно, будет от неё толк или нет. Но, блин, ты видел ноги какие? Это же можно умереть, какие ноги»; «Диана вчера ничего была, нет? Мне показалось, что не в настроении. Злая какая-то»; «Как ты думаешь, если я буду настойчивей, она мне даст, наконец?»

Я не стал пугать Артура последствиями раннего начала половой жизни. Впрочем, я был уверен в порядочности Дианы, она не казалась легкодоступной. Но, в крайнем случае, решил я, помимо всех остальных пороков, которые рано или поздно сгубят моего друга, этот будет ещё одной каплей, пусть даже и последней. Он и так уже курит и пьёт пиво, так что одним минусом больше, одним меньше... Я сам-то тоже

только с виду такой правильный, а на самом деле каждый вечер регулярно занимаюсь тем, что тоже рано или поздно даст о себе знать.

Однажды откровения Артура стали не просто неумеренными, а перешли ту черту, которая в течение долгого времени позволяла мне сохранять спокойствие. В один из дней, когда вместо физкультуры мы лежали у меня, Артур начал своё извечное:

— Ты видел, в какой она юбке сегодня пришла? Бля, это ж охуеть, какая юбка. Обкончаться можно. Прямо чуть трусы не видно. Я прям когда думаю о ней, то не могу, воздуха не хватает. У меня прям встаёт сразу, — он замолчал, тяжело дыша, но тут же продолжил, — слышь, Тёмыч, давай подрочим вместе?

От этого предложения «воздуха не хватило» у меня. Я затаил дыхание, ожидая, что последует за этими словами. Артур лежал, не шелохнувшись. Я повернулся и посмотрел на него:

— Ты с ума сошёл?!

— А чё? Мы ж не пидорасы, просто подрочить охота, не могу ждать до дома, — он осёкся, поняв, что на этот раз я не играю. — Ну ладно, ладно, ништяк, чел, не расстраивайся, я пошутил.

Я представил, как бы это выглядело со стороны, и не смог больше лежать рядом с Артуром, пришлось встать и пойти на кухню заваривать чай. Я надеялся, Артур подумает, что я ушёл, потому что был крайне возмущён, но, казалось, он правильно понял мою реакцию.

Почти каждый раз теперь, когда мы оставались одни, Артур шутил на эту тему или просто провоцировал меня. Он мог подойти сзади, обнять меня и засунуть руки в карманы моих брюк. Я обычно стоял, не шевелясь, несколько мгновений, чуть-чуть дольше, чем позволяли выдуманные мной нормы приличия, по спине пробегала дрожь удовольствия

и страха, но потом всё-таки толкал его локтём и говорил что-то типа «Артур, перестань паясничать».

Когда я оставался один после таких его «шуток», я представлял себе, что я не оттолкнул его, что он нашёл в моих карманах то, что было так близко от его рук. И это всегда заканчивалось тем, что я в очередной раз убеждался: я не только окончательно испорчен, но и глубоко порочен.

Его отношения с Дианой тем временем развивались довольно быстро, и однажды он объявил мне:

— Тёма, всё, короче, получилось. Такого траха у меня никогда не было. Она, короче, прикинь, на самом деле целка была, так что всё там такое узкое, что прямо сразу кончаешь.

Я криво улыбнулся, хотя вместо радости за друга во мне бушевали совсем другие чувства. Я только сейчас понял, что до последнего надеялся, что у Артура и Дианы ничего не выйдет в постели. Это было странно, ведь я нимало не претендовал на место Артура, мне была безразлична Диана, и наша дружба с Артуром оставалась прежней, независимо от того, спали они вместе или нет. Если уж Диана появилась в нашей жизни, то этот интимный момент ничего не менял. Наоборот, судя по тому, что «трах», как говорил Артур, был одной из основных причин, заставлявших его ухаживать за Дианой (то есть, о любви речи не шло), и как скоро это свершилось, конец их отношений был не за горами. Так говорил здравый смысл. Но логика была бессильна перед тем, что мне было физически неприятно думать или тем более слушать обо всём этом.

Может, он солгал? Придумал это всё, чтобы в очередной раз подразнить меня? Или подумал, что слишком долго встречается с Дианой, так что решил распустить хотя бы слух о том, что они переспали, раз уж взаправду это сделать не получается? Можно было задать себе ещё миллион вопросов и построить массу догадок, но все они разбивались об удовлетворённую мину Артура и победный тон его голоса. Это

была правда, к сожалению, пусть даже и приукрашенная — у него не только такого, но и никакого другого «траха» никогда не было.

Я сделал всё, чтобы Артур не заметил моего расстройтва и, более того, убедил себя в том, что рад его удаче. Он и в самом деле ничего не заподозрил, но, думаю, не потому что я оказался хорошим актёром, а больше из-за того, что у него так кружилась голова от успехов, что он не был способен обращать внимание на что-то второстепенное.

Вечером я снова лежал в одиночестве и думал о том, как несчастен. Причиной моей печали была, конечно, Ира, в которую я был так влюблён. Мои чувства к ней были чистыми, не то что у Артура к Диане. Но, видно, женщинам не нужна бескорыстная любовь, они только притворяются, что эмоции играют для них важную роль, на самом деле, всё гораздо проще. Не то чтобы я завидовал Артуру, когда думал, что с Ирой у меня никогда не получится ничего подобного, но мне было горько от мысли, что мир так несправедлив ко мне.

*Они стояли друг напротив друга,
И маска дружбы их волнение скрывала,
Хотел спросить её: «Ты любишь?»,
Она ему ответить: «Полюбила!».*

*Он ей сказал: «Давно войну
Закат проигрывает ночи»,
Она ответила: «Луну
Нам день в ночные стражи прочит».*

*Она вздохнула, несколько робея,
И опустила медленно ресницы.
А он хотел сказать ей: «Будь моею»,
Она была готова согласиться,*

*Она сказала: «Но луна бледна,
Чтобы помочь нам в этот час советом»,
Влюблённым освещает путь она,
Друзьям темно под этим мёртвым светом».*

*В последний взгляд вложив все силы,
Шепнула: «Нам пора прощаться»,
Молчал, моля, чтобы она не уходила,
Она — мечтала с ним остаться.*

Раз в две недели наш классный проводил собрания, присутствие на которых было обязательным. Ничего важного там не обсуждалось, но все знали, что если не прийти без очень уважительной причины, рано или поздно кара постигнет тебя в самом неожиданном месте.

На собраниях разбирались тяжёлые случаи неуспеваемости, нарушения школьных порядков и разные бытовые вопросы:

— Артём, если ты в следующей четверти снова ни разу не придёшь на физкультуру, будешь отвечать головой, — перед моим носом вырисовывался внушительный кулак. Я понимал, конечно, что бить меня никто не будет, но давал себе слово сходить на физру хотя бы пару раз.

— Если кто-то ещё не понял, что курить рядом с окнами учительской нельзя, то я делаю ещё одно китайское предупреждение, — и все те, к кому это относилось, делали вывод, что курить вообще-то не возбраняется, но только не около этих злополучных окон.

— Нам вот тут пришла жалоба с олимпиады по математике — пишут, вся команда от нашей школы ушла через пятнадцать минут после начала, не решив ни одной задачи (мы просто поняли, что, несмотря на гордое звание физико-математического класса, мы не в состоянии ничего сделать).

Так вот, у вас будет серьёзный разговор с учительницей математики... Вы уж придумайте, что ей ответить.

Ну и, конечно, обсуждались графики дежурств по классу, участия в разных олимпиадах и соревнованиях, а также прочие вещи, никого, кроме учителей, не интересовавшие.

На этой неделе собрание началось необычно. Классный вошёл в кабинет не один, а с учительницей, которую я видел в коридорах, но с которой не был знаком. Это была невысокая молодая женщина с простым и задорным лицом. Живые карие глаза смотрели на тебя так, будто изучали — но не глубоко, а поверхностно, сразу давая оценку увиденному. Носик её был немного вздёрнут, голову она держала, задрав кверху так, что казалось, будто она всё время что-то вынюхивает. Если бы она не была чуть полноватой, что придавало ей более взрослый вид, можно было подумать, что она сама ещё учится в старшем классе.

— Знакомьтесь, это новая учительница музыки Вера Сергеевна, — сказал классный, — послушайте, что она предложит, а я приду через пару минут.

— Ребята, здравствуйте. Можете меня называть просто Верой, я не так давно сама на вашем месте сидела, так что ещё не готова к отчеству, — произнесла Вера грудным низким голосом и улыбнулась, — как вы, наверное, знаете, мы собираемся организовать в нашей школе месячник самодеятельности, средние и старшие классы должны готовить спектакли. У нас будет жюри, которое оценит все эти выступления, а победители получают призы. Не спрашивайте пока, что за призы, это секрет, но в своё время всё узнаете.

Она говорила быстро и очень энергично, так что невозможно было ни спросить что-либо, ни прокомментировать. К тому же само по себе предложение было ново для нашей школы, весь класс молча сидел и слушал.

— Это не театральный конкурс, а именно конкурс самодеятельности, то есть у всех желающих должна быть возможность принять участие. Вы сами вольны выбрать пьесу или придумать программу. Потом мы с вами обсудим, что можно из этого сделать. Я думаю, что из любой пьесы можно сделать театральную постановку с музыкой, песнями, танцами и так далее. Даже если ролей на всех не хватит, каждый сможет проявить себя в чём-то другом. Но если у вас будут какие-то новые предложения, я всегда рада обсудить. Вот... Что ещё... Касаемо репертуара — «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Гамлет», «Гроза», «Недоросль», «Горе от ума» и «Мещанин во дворянстве» уже заняты, но, мне кажется, есть ещё из чего выбрать. Времени у нас осталось совсем немного, нужно всё подготовить за полтора месяца, чтобы на конкурс могло посмотреть районное руководство. Ну, вот и всё, пожалуй. Я предлагаю вам сейчас не расходиться, а решить между собой, что вы хотите делать, и завтра мы можем встретиться снова.

После того как Вера закрыла за собой дверь, в классе несколько минут стояла тишина. Казалось, ураган пронёсся через помещение, оставив за собой вакуум, в котором было невозможно произнести ни слова. Через пару секунд Катя Замужняя, староста класса, отличница и заводила (над её фамилией ни у кого не хватало духу шутить, потому что Катя при необходимости могла хорошенько двинуть), медленно и немного театрально произнесла: «Фигассе, чуваки, чего делать будем?». Тут вдруг все заговорили разом. У каждого были идеи относительно пьесы. Один предложил «что-нибудь из непоставленного Шекспира». Другой настаивал на «Лесе», мотивируя выбор тем, что «действующих лиц много». Отличница Наташа, заявила, что раз всё равно придётся петь, то лучше сразу ставить оперу, она с родителями ходила на «Евгения Онегина», это как раз то, что нам нужно.

Наконец, после получаса оживлённых споров Катя взяла инициативу в свои руки:

— Ребзя, давайте не увлекаться. Никому эта пьеса и вся эта самодеятельность не нужна, тем более нам с вами. Надо ставить то, что будет приятно учителям и полезно нам в смысле учёбы. Взять из школьной программы книжку, которую всё равно придётся читать. Я предлагаю «Ревизора», нам по нему сочинение ещё писать придётся.

С ней все согласились, мне поручили зайти завтра с утра к Вере и выяснить, что нам делать дальше.

На следующий день я пришёл ко второму уроку и сразу направился к кабинету музыки. Первый урок ещё не закончился, так что мне пришлось стоять у двери и слушать, как младшеклашки распевают что-то про птенцов и гусениц. Ко мне подошёл Артур, который тоже проспал и теперь решил составить мне компанию. Не успел я поздороваться с ним, как прозвенел звонок, дети гурьбой высыпали из класса, а мы осторожно вошли в него.

Вера сидела за пианино, одетая в обтягивающее красное платье, едва вмещавшее её объёмную грудь. Я подумал с неприязнью, как их вообще берут в школу в таких платьях и с такой грудью. Учительница повернулась к нам на вращающейся круглой табуретке и улыбнулась. Я помнил, что её можно называть просто по имени, но не смог пересилить себя:

— Вера Сергевна...

— Ну ладно тебе, Сергевна, Сергевна. Я ж говорила, можно просто Вера. Вы из какого класса?

Мы назвали свой класс, имена и рассказали ей о нашем выборе.

— «Ревизор»? Это хорошо! Можно будет повеселиться. Сделаем хор Бобчинских-Добчинских. Кто же будет Хлестакова играть? Ты, Артём?

Я был польщён вопросом Веры, хотя странно, что она решила, будто из нас двоих я лучше подхожу на эту роль. Я, впрочем, не думал, что она достанется мне, в классе были и другие мальчики (я даже был уверен — никаких центральных ролей мне играть не придётся), поэтому ответил, что эти тонкости мы ещё не обсуждали.

Как я и думал, мне достались незначительные роли гостей, купцов и прочей массовки, не требовавшие большого таланта. Ещё нужно было петь в хоре, и чуть позже Вера настояла на том, чтобы у меня было небольшое сольное выступление. Артур, который сначала с сарказмом отнёсся ко всей затее («Я этой хуйнёй страдать не буду»), вдруг переменял своё мнение и попросился играть со мной. Петь он, впрочем, напрочь отказался. Роль Хлестакова досталась, как ни странно, Кате (или не было в этом ничего странного?), а Ира должна была играть жену городничего: она умела смешно бегать по сцене и причитать даже там, где это было не обязательно. Раз в неделю мы собирались в актовом зале после уроков и репетировали. Сначала это было интересно, а потом превратилось в дополнительный урок, на который надо было ходить и повторять одно и то же. Я подумал, что работа у актёров вовсе не такая и занимательная, особенно если учесть, что они проводят за подобными занятиями гораздо больше времени, чем мы.

Класс Дианы репетировал после нашего, поэтому Артур обычно ждал её, и потом иногда они вместе заходили ко мне. Со стороны могло показаться, что мы — одна банда, но на самом деле я всегда чувствовал себя другом Артура. Диана была немного лишней. Мы никогда не оставались с ней наедине, да мне, собственно, даже говорить с ней было не о чем. Мы могли смеяться, шутить, обсуждать последние школьные сплетни, но я не могу себе представить, что бы мы делали, если бы Артура не было рядом.

Однажды Диана ни с того ни с сего позвонила мне вечером. Своим тягучим голосом, который чуть-чуть недотягивал до манерного, она скучающе спросила:

— Что делаешь, Артём?

— Ничего. Читаю.

— Что читаешь?

— Ну так, просто, из школьной программы, не важно, а что?

— А мне заскучалось что-то, я вот подумала, может, ты захочешь прогуляться со мной.

— Давай, могу прийти к твоему дому через десять минут.

Я решил, что они, наверное, поссорились, и она решила воздействовать на Артура через меня. В чём-то я оказался прав, хотя никакой ссоры не было.

Когда я пришёл, Диана уже стояла у парадной, закутанная в шарф поверх пуховика. Сделав вид, как будто это совершенно нормально гулять вот так вот вдвоём, я бодро поздоровался с ней. Некоторое время мы шли молча. Я старался придумать тему для разговора, но это у меня никак не получалось, потому что мы виделись днём и, кажется, всё обсудили. Наконец, я нашёл, что спросить:

— Как ваши «Ромео и Джульетта»?

Не ответив на мой вопрос, Диана вдруг очень тихо спросила:

— Как ты думаешь, Артур, он вообще серьёзно ко всему относится?

Можно было поиграть дурачка, сделав вид, что я не понимаю, о чём она говорит. Ответить в духе: «Ну, вообще изначально ему не нравилась эта затея с театром, но потом он вроде втянулся». Но у меня не хватило на это духу, так что после пары минут напряжённого молчания я выдохнул:

— Я не знаю, Диана, что ты имеешь в виду под серьёзностью, но мне кажется, что, по Артуровым меркам, всё вполне серьёзно.

— По Артуровым меркам, говоришь? Хм-м. Знать бы эти мерки. Мне вот кажется, что для него это всё не очень важно. Не так важно, как для других.

— Ну, Диана, Артур всегда был немного легкомысленным, ты ведь знала это, когда начала с ним встречаться?

— Знала, да. Но ты думаешь, что он и ко мне легкомысленно относиться?

— Я думаю, нет, Диана, но реально, как он к кому относится, кроме него самого, никто не знает.

— Он любит меня, как ты думаешь? — спросила она совсем тихо, так что я еле разобрал её слова.

— Я не знаю, — с некоторым колебанием ответил я, а потом добавил, — думаю, да.

— Понимаешь, мне кажется, он по-другому ко мне стал относиться после того как... ну... Не важно. В общем, я не чувствую того же, что было раньше, когда мы только познакомились.

Я молчал, не зная, что ответить.

— Ты думаешь, у него есть кто-то ещё? — спросила Диана.

Я подумал, что как его друг, наверное, ничего не сказал бы ей, даже если у Артура кто-то и был. Но в данном случае я мог честно ответить, что мне так не кажется.

— Странно. Он мне никогда не говорит, что любит меня. Когда я его спрашиваю, отвечает — а сам первый не говорит. Вот я и не знаю, любит он меня на самом деле или нет.

И тут меня прорвало.

— Понимаешь, Диана, — начал я менторским тоном нашего учителя по истории, рассказывающего о причинах поражения союзников в битве под Аустерлицем, — Артур — очень добрый и нежный человек. Но он закрытый и боится чувств. Он не просто не хочет их показывать или признаваться в них, потому что боится, что его обидят или обманут, нет. Мне кажется, он просто не всегда даже понимает, что такое чувства. Тут

надо задаваться вопросом, не любит ли он тебя или нет, а умеет ли он вообще любить? Я не смогу тебе на него ответить. Несмотря на то что мы с Артуром близкие друзья, его сердце для меня — такие же потёмки, как и для всех остальных. Кроме того, ты же понимаешь, что Артур при этом мужчина-завоеватель, как бы странно это ни звучало. Для него отношения — не то же самое, что для тебя (и для меня, хотелось мне добавить, но я сдержался). Ты ищешь любовь, что-то длительное и серьёзное, но не факт, что Артуру нужно именно это. Может, он просто ещё не перебесился и не готов к чему-то долговременному и прочному. Мне кажется, надо не плакать, а просто подождать, пока он сам не примет решение, чего он хочет от жизни, и потом уже на это решение как-то влиять. А пока что он не знает, как ему поступить, а если ты будешь давить на него, преследовать его, требовать ответственности, ты этим самым ещё больше оттолкнёшь его от себя.

Диана шла молча, кивая головой. Я не видел её лица, закрытого капюшоном пуховика, но мне казалось, что она не слушала меня, погружённая в свои думы. Может, она выхватывала отдельные предложения из моей лекции о сущности Артура, цеплялась за них, привязывая их к своим собственным идеям и мыслям, тем самым подтверждая худшие свои ожидания? Тем временем мы подошли к её парадной. Она повернулась ко мне:

— Спасибо, Артём. Я всё поняла, — сказала она и на прощание вдруг чмокнула меня в щёку, — не говори Артуру, что мы с тобой встречались, ладно?

Я не знал, что именно она поняла, помог ли я ей или, наоборот, утвердил в подозрениях, подлив яда своим теоретизированием.

Внешне их отношения с Артуром не изменились, хотя Диана теперь чаще, чем раньше, была в плохом настроении, не приходила ко мне после школы или уходила раньше обыч-

ного. Казалось, она постоянно хочет остаться с ним наедине, и я мешаю ей. Но если прежде Артур охотно отвечал на её намёки, понимая её желания с полуслова, то теперь он стал похож на человека, который внезапно оглох, но ещё сам не осознал этого: ему говорят что-то, кричат, потом пытаются объясниться знаками, а он только улыбается в ответ, не догадываясь, чего от него хотят.

Я бы дорого дал, чтобы понять, что происходит, но Артур, в отличие от его подруги, не проявлял желания делиться со мной своими настроениями. Я ничего не сказал ему о том вечере, благодарный Диане, что она сама попросила меня молчать: мне было бы сложно пересказать Артуру всё, что я тогда наговорил.

Диана снова позвонила мне через пару недель с предложением пойти прогуляться. Как и в прошлый раз, она уже ждала меня у парадной, закутанная в пуховик. Я подумал, что наши тайные встречи становятся двусмысленными. Можно утаить от своего друга один приватный разговор с его девушкой, но ежевечерние прогулки выходят за рамки дружеской поддержки. Надо придумать этому какой-нибудь благовидный предлог. Мы, конечно, не подавали никаких поводов для ревности, да Артур, я думаю, и не стал бы ревновать меня к Диане, понимая, что я не представляю для неё интереса, но держать эти разговоры в секрете казалось мне странным.

Мы долго шли молча, но на этот раз я решил не задавать идиотских вопросов, дожидаясь, пока Диана сама задаст тему для разговора.

— Артём, а ты любил когда-нибудь?

Я не ожидал, что она прыгнет с места в карьер и не знал, что ответить. Сказать «нет», значило бы показать, что я ещё не дорос. Говорить о любви в прошедшем времени было бы глупо. Но рассказывать про Иру вовсе не хотелось, тем более

они с Дианой были знакомы и иногда болтали на переменах. Я решил, будет лучше войти в образ загадочного романтического влюблённого, который скрывает имя дамы своего сердца.

— Да, — ответил я, — но мне бы не хотелось говорить об этом.

— А-а, — протянула Диана, — я даже знаю, в кого... Ну вот скажи, Артём, если бы девушка, которую ты любишь, ответила тебе взаимностью, ты был бы счастлив?

— Конечно, — без тени сомнения ответил я, хотя на самом деле не представлял себе такого развития событий и, по правде говоря, не знал бы, что делать в этом случае.

— И ты бы не перестал любить её после этого, нет?

— Нет, конечно, о чём ты говоришь?

— Ну, мне вот просто интересно, ты же тоже парень, но мне кажется, что ты чувствуешь по-другому.

— Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином «Хвала и слава рулевому», — продекламировал я.

— Это что?

— Так просто. Есенин. Моя мама очень любит это стихотворение, я его с детского сада знаю.

— Артур, думаю, даже «Идёт бычок качается» наизусть прочитать не сможет.

— Ну, у Артура другие интересы.

— Ага. «Алиса»

— А что «Алиса»? Не так уж она и плоха, просто её понимать надо.

— Ну ладно тебе, Артём. Я уверена, тебе эта музыка так же не нравится, как и мне, ты просто ради Артура делаешь вид, что это не так. Потом, я не понимаю, как можно вообще сидеть несколько часов подряд дома и слушать одну и ту же кассету. Почему нельзя пойти погулять, покататься на коньках, не знаю... Я вот сегодня отказалась снова сидеть полдня

дома, потому что мне хотелось на каток. А Артур решил, что «Алиса» ему дороже Дианы.

Несмотря на частые репетиции, актёрского мастерства у меня не прибавилось. Только темнота и шарф помогли мне скрыть удивление: я-то был уверен, что Артур провёл этот день с Дианой, он мне сам сказал об этом вечером по телефону.

— Ну что ты замолк, Артёмка?

— Я? Ну... я просто думаю, что музыка для него тоже важна, ты должна понимать это. Если ты будешь давить на него, это ни к чему хорошему не приведёт.

— Да. Я и не давяю ни на кого, просто странно, что он со своим магнитофоном проводит больше времени, чем со мной. А если он со мной, то только... Ну, не важно. Ладно, Артём, вот мы и пришли. До завтра, — Диана снова чмокнула меня и озорно улыбнулась, — не говори ничего Артуру, ладно?

Мы стали встречаться с ней всё чаще. Даже мама однажды спросила меня с лукавой улыбкой:

— Ты меня со своей девушкой-то познакомишь?

— Она мне не девушка, а просто подруга.

— А-а, ну-ну, — ухмыльнулась мама, нимало мне не поверив.

Я решил не посвящать её во все перипетии отношений в нашей троице, потому что мне самому они были уже не совсем понятны.

Каждый раз, когда мы встречались, Диана жаловалась на Артура, а я защищал его, читая проповеди на одну и ту же тему: «Не надо его неволить, а то хуже будет». Диана с моими рассуждениями соглашалась, но жаловаться не переставала. Однажды, когда они в очередной раз поссорились, она шла рядом со мной и говорила речитативом на грани истерики.

— Артём, ты не понимаешь. Скажи мне, почему он так со мной поступает? В чём я веду себя не так? Я всё делаю, как

он хочет, но ему всё мало. Я не знаю, что ему ещё нужно. Ты его друг, скажи, зачем он меня мучает?!

— Дианочка, ну перестань расстраиваться. Он вовсе не хочет тебя мучить, просто так получается, что не умеет он строить отношения...

Но она не слушала меня и продолжала:

— И я одна, совсем одна, мне иногда кажется, что я не смогу сама со всем этим справиться...

— Ничего ты не одна, я же вот с тобой. Всё будет хорошо, со всем мы справимся.

Она вдруг остановилась, повернулась ко мне и сказала:

— Да, Артём. Ты — настоящий друг. Ты даже, наверное, важнее, чем остальные мои друзья, которые ничего не знают. Спасибо тебе за это.

Я чувствовал себя неловко. Странно, когда кто-то считает тебя своим настоящим другом, а на самом деле это не так. Ведь дружба должна быть взаимной. Я не мог быть одновременно другом обоих, но Диана этого почему-то не понимала. В любом случае было невозможно поделиться с ней своими сомнениями, так что приходилось играть новую роль, которая досталась мне с такой лёгкостью.

Артур об этих разговорах не подозревал, но я боялся, что рано или поздно он узнает о них от самой Дианы и тогда, наверное, рассердится на меня — больше из-за того, что я держал всё в тайне, нежели из-за самих прогулок.

Сам он явно что-то скрывал. Несколько раз после того разговора с Дианой, когда выяснилось, что Артур солгал нам обоим, ситуация повторялась. Более того, случалось, он даже прикрывался мной, говоря, что провёл полдня у меня дома, когда на самом деле я был всё это время один. Мне хватало изворотливости не привлекать к этому внимания Дианы, но я был зол на Артура за то, что у него есть от меня секреты. Хорош, тоже мне друг, ведёт тройную жизнь, поди разберись,

что у него на уме. Самое неприятное — спросить его я ни о чём не мог из-за угрозы раскрыть наши тайные встречи с его девушкой.

Репетиции тем временем шли полным ходом. Музыкальная постановка «Ревизора» должна была удивить не только школу, но и РОНО. Мы сами написали слова к музыкальным номерам, придумав новые тексты к мотивам известных песен. Я пел в хоре, стоял в глубине сцены в массовке — в общем, был везде и нигде. Под конец спектакля мне нужно было исполнить короткую песню, которую затем подхватывал хор, на этом моё участие заканчивалось. Артур делал всё то же самое, только не пел. Вера подтрунивала над ним из-за его стеснительности:

— Что, Артур, так и не хочешь спеть с нами? Да ты не бойся, на «Песню года» тебя никто не отправит.

Артур краснел и зло смотрел на учительницу, которую это ещё больше сместило, но на репетиции ходить не переставал.

Однажды, уже спустившись в раздевалку, я обнаружил пропажу одной из своих варежек. Я подумал, что она, наверное, выпала из рюкзака во время репетиции, и вернулся искать её. Актёрский зал, обычно полный звуков, криков, смеха и музыки, был пуст и производил несколько зловещее впечатление. Тяжёлые портьеры на высоких окнах слабо колыхались от сквозняка, поднятый занавес ненадёжно повис в полумраке; пустые стулья и одинокий микрофон на сцене наводили уныние. Он казался ещё больше, чем был на самом деле, этот зал. Я осторожно ступал по старому паркету, который скрипел так, будто хотел сообщить всей школе о моём присутствии. Я не помнил точно, где стоял мой рюкзак, и стал ходить между рядами. Подойдя ближе к сцене, я услышал приглушённые голоса, показавшиеся мне знакомыми (впрочем, в школе все голоса кажутся знакомыми). За сценой была каморка, где было бы сложно репетировать

школьному ансамблю, но здесь вполне могли поместиться несколько человек. Там стояла музыкальная аппаратура, было много непонятных выключателей, розеток и разъемов, которыми никто никогда не пользовался. Именно в ней сейчас и находились двое, но пока было неясно, кто именно. Я постарался не скрипеть половицами — скорее, чтобы разобрать, о чём говорили в каморке, чем из страха быть пойманным.

Это были... Артур и Вера. Само по себе данное обстоятельство не казалось удивительным — мало ли почему учительница осталась с учеником после репетиции? Но интонации звучали очень странно. Казалось, Артур ругал Веру за что-то, а она пыталась оправдаться, хотя слов по-прежнему было не разобрать. Я подумал, что моя варежка лежит ближе к сцене, ведь я поднимался по ней, чтобы попрощаться с Артуром. Я подошёл к лестнице, прислонился к стене и стал осматриваться.

— Бля, Вера, хватит, может, меня перед всем классом опускать? «Песня го-о-ода»! Я ваще не хотел всей этой хуйнёй заниматься, чего тебе ещё от меня нужно?!

— Да ладно, Артурчик, перестань злиться, я же в шутку. Не хочешь петь, не надо.

— Не хочу. И не надо меня каждый раз прикалывать.

— Ну ладно, ладно, зайчик, перестань, никто над тобой не прикалывается.

— Отстань ты со своими зайчиками, — ответил Артур уже совсем спокойно и как-то нежно. Было слышно, что, несмотря на протест, его вполне устраивало быть зайчиком.

Варежки моей не было и здесь, к тому же диалог Веры и Артура явно подходил к концу. Я решил не дожидаться, когда они выйдут из своего укрытия, и быстро и бесшумно пошёл к выходу. Внизу я понял, что выронил и вторую варежку, но возвращаться за ней не стал.

Подойдя к дому, я решил, что не хочу подниматься в квартиру. Мне захотелось пройтись. Не целенаправленно идти куда-то, а просто быстро переставлять ноги, перемещаясь в пространстве. Мне не хотелось думать, но мысли всё равно лезли в голову, и казалось, если я буду идти достаточно быстро, это позволит мне убежать, скрыться от них.

Зачем, зачем, зачем, зачем! Зачем он всё это придумал и почему всё скрывал? Я понимаю, не надо было говорить Диане, чтобы её не расстроить, да. Но что за страсть к секретам? И как это вообще возможно? С учительницей. Её же могут из школы запросто уволить за это. И в тюрьму посадить. Или в тюрьму не могут? И что она выискала в нём? Почему она не найдёт себе нормального мужчину, за которого можно выйти замуж, родить детей и всё такое, почему надо обязательно с Артуром? Не думать об этом вообще, почему я об этом думаю? Просто идти, считать шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... И почему никто ничего не сказал мне? Десять, одиннадцать, двенадцать... Я — полный идиот. Пятнадцать, шестнадцать... Все эти задержки после репетиций, якобы, чтобы встретиться с Дианой. Двадцать один, двадцать три, чёрт, что там было, сбился. И я же ещё и был прикрытием для него. Это нечестно, нечестно по отношению ко мне. Я вообще не должен дружить с Артуром после этого, пусть разбирается сам со своими подругами. С меня хватит. Я столько лет был один, мне не привыкать. Дружба, от которой одни расстройства, мне не нужна.

Мои размышления прервал ударивший в спину снежок. Я раздражённо обернулся. Артур. Он смотрел на меня, широко улыбаясь:

— Чел, я уже полчаса тебя ищу вокруг. Ты что, заблудился?

Я молчал, не зная, что ответить. Артур был последним, кого мне хотелось сейчас видеть. Я был зол и готов утонуть,

захлебнуться в своём негодовании. Испепелить, измельчить, истоптать Артура, чтобы от него ничего не осталось. Но когда он был рядом и глядел на меня своим щенячьим взглядом, вся моя злость таяла, как тот самый первый снег.

— Ну, ты чего молчишь-то? Расстроился, что ли? Смотри, что я нашёл, — сказал Артур и протянул мне обе мои варежки, — одна валялась рядом со сценой, а потом я ещё чуть позже выхожу, смотрю, вторая тоже пришла, — и он засмеялся, довольный своей шуткой.

— Ладно ржать-то. Чего такой радостный?

— А чё мне расстраиваться-то, Тёмыч. У меня всё ништяк. Хуй стоит, жизнь кипит.

— Рад за тебя.

— Харэ пиздеть, ты-то чё мёртвый такой?

— Всё нормально, Артур. Всё ништяк, как ты говоришь. Спасибо за варежки, мне домой пора, — сделал я последнее усилие уйти.

— Э! Какой домой? Ты чё, Тёма, а я? — и Артур соорил мину, которая заставила-таки меня улыбнуться, — давай, парень, не парься, всё у нас с тобой будет охуенно.

Мы некоторое время шли, глядя под ноги и не произнося ни слова. Я решил, что не буду заводить разговор на интересующую меня тему, потому что... Ну, потому что она меня вовсе не интересует. Это дело Артура, в конце концов, что он будет делать с Дианой и Верой — и вообще, как он будет выпутываться из этой истории. Если он не хочет говорить об этом, если я для него не такой близкий друг, как мне казалось, значит, так уж получилось и ничего тут не поделаешь. Что я ему, духовник, что ли, — всё мне рассказывать? К тому же его молчание освобождало меня от необходимости признаваться в тайных встречах с Дианой и позволяло с чистой совестью ни о чём не намекать ей самой. Я, впрочем, и так бы ничего не сказал, потому что Артур официально был моим другом,

но перед Дианой мне тоже было как-то стыдно — больше за себя, нежели за него. Всё-таки есть в этом груз некоторой ответственности — в хранении чужих секретов. Как говорил наш учитель по ОБЖ, меньше знаешь, легче дышишь.

— Ну и что же, Артур, ты будешь делать со всеми этими похождениями?

— Не знаю, чел, — ответил Артур спокойным, без тени удивления тоном, как будто я спросил его про контрольную по физике, — понимаешь, мне нравится Диана, но она, блядь, мозг выносит постоянно. Любовь не любовь, как я посмотрел, что я, блядь, сказал. С Верой нет такого. И потом, Тёма, если бы ты знал, как она трахается. Я на ней прыгаю, понимаешь, а она сама ещё бёдрами так двигает, так что вообще улёт.

— Ну, может, надо рассказать Диане тогда, она же всё равно рано или поздно узнает?

— Откуда она узнает, чел? Про Веру никому говорить нельзя, иначе её на хуй отправят из школы.

— Ну, если вы будете в актовом зале всё это делать, то это тайной недолго останется.

— Да ладно тебе, ничего мы не делаем. Но никто кроме тебя ничего не знает, понял? Диана тем более. А Вере всё равно, что я там делаю с Дианой или ещё с кем, так что вот, понимаешь, что получается. И мне не хочется Диану бросать, потому что она мне нравится всё равно. Можно пока никому ничего не говорить, а дальше посмотрим, что будет.

Мне, воспитанному на романах, в которых присутствовали измены, трагедии, разбитые сердца, неразделённые чувства и прочие неприятности, но в основном всё было честно и открыто, такой выход из ситуации попросту не пришёл в голову. В самом деле, зачем Карениной было открываться мужу, пусть даже он и так всё понимал. Очевидно, что в сочинении я бы написал, что она была высоконравственной женщиной, любила Вронского, но не могла жить во лжи

и так далее. Но в реальности всё это выглядело довольно сомнительно. Тем более в случае с Артуром нельзя было сказать, что «жизнь во лжи» сколько-нибудь ему претила. Эта мысль пронеслась стрелой в моей голове, но я и виду не подал, что согласен с рассуждениями Артура, и решил прочесть ему нотацию на тему отношений:

— Нельзя так относиться к чувствам других людей. Диана на самом деле любит тебя, как мне кажется, — при этих словах Артур поёжился и затравленно посмотрел на меня. — Ты как мужчина должен взять на себя ответственность и выбрать между Дианой и Верой, потому что иначе все эти интрижки заведут тебя в тупик.

Я бы и дальше распространялся на эту тему, но Артур не нуждался в советах и оборвал меня на полуслове:

— Ладно тебе, чел. Ответственность, любовь. Всё будет ништяк. Поехали ко мне, пива попьём, музыку послушаем.

Но ништяк получался только на словах, его отношения с Дианой явно не клеились. Я никогда не верил в способность людей чувствовать измену, но то, что происходило между ними, можно было объяснить только так. Диана закатывала истерики (но всегда наедине, я никогда не был их свидетелем); Артур разрывался между ней, Верой и мной (ему нужно было выговориться про эту связь, похвастаться ей перед кем-то). Диана теперь уже почти ежедневно жаловалась мне на Артура в надежде, что я смогу не столько утешить её, сколько повлиять на своего друга. Я играл роль мудрого арбитра, успокаивая Диану своими вечными «не надо на него давить» и прессуя Артура «необходимостью нести ответственность за тех, кого ты приручил». И только Вера была всегда жизнерадостна, на репетициях шутила над Артуром, но так, что смысл её шуток был понятен только ему — а теперь и мне. Как бы там ни было, в школе никто ни о чём не догадывался.

Однажды Артур позвонил мне после уроков и пригласил к Вере в гости. Я хотел было отказаться, хотя мне и было любопытно. Тут к моей вечной нелюбви к общению с посторонними людьми примешивался страх перед Верой. Вот уже несколько недель я жил с ощущением, что заглянул в чей-то мир, куда мне заказана дорога, и что рано или поздно мне дадут за это по рукам. На репетициях Вера была обычной учительницей, я относился к ней соответственно, но постоянно ловил себя на мысли, что знаю её секрет, а она и не подозревает. Пусть это было приятно — чувствовать себя хранителем тайн, — но немного жутковато от мысли, что будет, если она узнает обо всём. И вот момент настал. Артур, наверное, сам проболтался ей, и теперь она решила познакомиться со мной поближе. Оставалось неясным, как смотреть ей в глаза, о чём говорить и как держать себя.

Несмотря на мои протесты, Артур настоял на том, чтобы я пришёл: «Ты чё, Тёма, испугался? Она не съест тебя, просто так чаю попьём».

Вера жила за школой, совсем недалеко от Дианы. Можно себе представить меры предосторожности, которые приходилось принимать любовникам, чтобы их не застали вместе. Её квартира походила на мою (как, впрочем, и на все квартиры нашего района) и была далека от рок-н-рольного бардака Артура. Она сама открыла дверь, Артур стоял за ней со странной застенчивой, но вместе с тем гордой улыбкой. Я подумал, что это Вера настояла на моём приходе, и Артур отпирался до последнего, но, в конце концов, был рад согласиться. Вера была одета в простое домашнее платье, её грудь казалась в нём ещё больше. Волосы собраны в пучок на затылке, на ногах поношенные туфли. Она вся пахла здоровым деревенским спокойствием. Казалось, сейчас вскрикнет и побежит доставать из печи румяный, слегка перестоявший каравай. В этой сдержанности чувствовалась и некоторая

неловкость или, может, это я был напряжён и переносил это ощущение на остальных. Всё-таки жаль, что она не убежала доставать каравай — это разрядило бы обстановку. Но не было в её квартире ни печи, ни каравая, и нам пришлось стоять в коридоре лицом к лицу. Вера разглядывала меня, я старался не смотреть на неё, а Артур прятал глаза ото всех.

— Привет, — наконец сказала Вера домашним, совсем не учительским тоном.

— Здравствуйте, — после небольшой запинки ответил я, стараясь адресовать это приветствие им обоим, не будучи уверенным, как мне следует обращаться к Вере.

Вера на мою уловку не купилась:

— Ну ладно, оставь эти все условности, мы же не в школе. Можешь мне «ты» говорить.

Мы прошли в большую комнату, где стоял новый, буквой «Г» диван, символ достатка и домашнего уюта. Другая мебель была, как у нас: советский сервант, заставленный хрусталём и фарфоровыми сервизами, ковёр на стене, палас на полу, старый, хотя и большой телевизор на новой тумбочке.

— Это вообще-то моей тётки квартира, но она в деревню уехала жить и мне её оставила, — сказала Вера, — Артём, ты чай будешь? Или хочешь вина?

Вино. Что-то новое. Поскольку это был не Артур со своим пивом, а всё-таки взрослая женщина, отказаться было неловко. Она разлила остатки початой бутылки киндзмараули («из Тбилиси привезли, между прочим, месяц назад — папа в командировку ездил») и подняла свой бокал:

— Ну, за знакомство.

Мы чокнулись и выпили. Вера весело рассказывала что-то про своего отца и зачем он ездил в Грузию, но я не особо вслушивался. Каждый раз, когда она замолкала, в комнате повисала тишина, от которой мне становилось стыдно, хотелось сказать что-то, но слова не шли в голову, и от этого

тишина давила ещё сильнее. Я принялся прослеживать узор на ковре на полу, пытаюсь понять, получится ли провести неразрывную линию наискосок от одного угла к другому. Линия проводилась, но то тут, то там прерывалась. Я не сдавался и всё пытался найти решение, так что в какой-то момент совсем отвлекся от рассказа про Тбилиси.

Через некоторое время Артур сказал, что ему пора домой. Я тоже встал, мы вышли в коридор и молча оделись. В прихожей я повернулся к Вере, чтобы попрощаться, она посмотрела мне в глаза и неожиданно произнесла немного глухим голосом:

— Артём, только ты не говори никому, что был здесь... Ну и вообще... Иначе, сам понимаешь, меня за это по головке не погладят.

— Да, да, — промямлил я, радуясь, что сейчас выйду на свежий воздух, где можно спокойно вздохнуть и ни о чём не думать.

С тех пор я зарёкся ходить в гости к Вере, да меня больше и не приглашали. На репетициях она вела себя так, будто ничего не произошло. Я боялся, что она начнёт шутить надо мной, но меня она, казалось, просто не замечала.

Пару раз Артур просил подождать его после уроков, и я сидел внизу в вестибюле, пока они не спускались, сначала Артур, потом Вера, или наоборот, но никогда вместе. Чужой не заметил бы ничего подозрительного, но я видел их покрасневшие лица, потупленный торжествующий взгляд Артура, по-особенному большую, часто вздымающуюся грудь Веры. Я, казалось, чувствовал их учащённое дыхание, слышал стук их сердец, их кровь пульсировала быстрее, чем обычно, почти так же быстро, как моя, когда я смотрел на них, виноватых и счастливых.

Вера не сходила у Артура с языка. Он погружал меня в такие подробности, в которые мне совсем не хотелось

погружаться, но не было никакой возможности прервать его, чтоб не прослыть ханжой, не доросшим до взрослых разговоров. Мне оставалось только улыбаться на все его «бля, Тёма, у неё такие сиськи, что я даже думать о них не могу». О Диане Артур больше не говорил, хотя она никуда не делась, он продолжал встречаться с ней, но гораздо реже, чем прежде.

Однажды, когда я в очередной раз ждал Артура в вестибюле, ко мне подошла Диана. Она возвела меня в ранг лучшего друга, но в школе мы почти не общались. Времена, когда я был изгоем, прошли, но я был не очень популярным мальчиком, и Диана, возможно, даже не отдавая себе в этом отчёта, старалась держаться от меня подальше, ограничиваясь приветствиями. Но сегодня она села рядом:

— Как дела, Артёмка?

— Ничего. А у тебя?

— А мы с Артуром поругались, — чуть обречённо сказала она, — совсем поругались, не как обычно.

Они и правда ругались по три раза в неделю.

— Почему?

— Ну, не знаю. Наверное, он не очень-то любит меня, вот почему...

— Из-за чего ты так решила?

— Да не важно, Тёма. Знаешь, мне очень-очень нужно с ним поговорить, — вдруг Диана зачастила скороговоркой, не делая пауз, на одном дыхании, будто заранее выучила эту речь и старалась произнести её как можно скорее, — но так поговорить чтобы никого рядом не было понимаешь а он всё время или с тобой или в классе а дома к телефону не подходит но я и не могу по телефону потому что это очень важно это так важно что ты себе представить не можешь как это важно. — Она остановилась, чтобы сделать вдох. — Понимаешь, Артём, — она задумалась, будто решая, стоит

ли ей продолжать или лучше остановиться. — Мне кажется, я беременна.

Последнее слово Диана произнесла так, будто ей не хватало воздуха, словно выдавив его из себя через силу. Она сказала это очень тихо, так тихо, что я подумал, мне почудилось. Она, не шевелясь, смотрела в пол. Оно было произнесено, это слово. Оно было далёкое и какое-то слишком взрослое. Оно было не из нашего мира. Его нельзя было использовать в вестибюле этой школы, да, наверное, и в классах тоже было бы нельзя. Оно было страшное и большое, оно свалилось на меня, на Диану, давило на нас, парализовало нашу волю, так что было не просто непонятно, что делать дальше, но, казалось, даже если бы и было понятно, мы бы всё равно ничего не сделали, потому что были не в силах действовать. Зажатый в тиски, шокированный услышанным, не осознавая, что делаю и зачем, не отдавая себе отчёта в том, что говорю и какие могут быть последствия, я произнёс:

— Знаешь, Диана, мне кажется, что Артур сейчас должен быть в актовом зале.

Было очень просто — сказать эти одиннадцать слов. Гораздо проще, чем Диане со своим одним. Когда они были произнесены, тут же разлетелись, как одиннадцать воровьёв, кинулись врассыпную и исчезли. Мне стало страшно. Диана прошептала: «Спасибо, Артём» и поплелась наверх, в актальный зал. Я сидел, будто примёрзший к скамейке, но как только она скрылась, встал и пошёл домой.

Не ходить завтра в школу? Не ходить вообще в школу. Невозможно. Рано или поздно придётся. Как было хорошо, когда я целый год пролежал на диване! Никаких друзей, никаких историй. Меня тогда вообще не было. Я был героем своих фантазий. Я был королевой, запертой в башне, или рыцарем, или просто благородным человеком с кристальной душой и незапятнанной репутацией. Если ничего не происходит,

душа останется чистой. Когда лежишь на диване, остаёшься честным, тем, кто не предаст, не солжёт, никого не поставит в неловкую ситуацию.

Я тогда никого, конечно, не любил, но любовь такая штука, она приносит мало пользы и много переживаний. Мне, по крайней мере. Ира на меня не обращает ни малейшего внимания, почти всегда возле школы её ждёт этот Вепрь, провожающий меня ироничным взглядом. Обсуждают меня, смеются. Ну что же, пусть себе смеются, я всё равно не перестану её любить. Но лучше бы Ире, Вепрю и всем остальным испариться их моей жизни.

Или неделю проболеть дома, а там посмотрим, что произойдёт? Если мне кто-нибудь позвонит, я буду отвечать охрипшим от ангины голосом, но зато узнаю, что к чему. А если придут навестить меня? Вряд ли, конечно, но всё-таки. Тогда станет понятно, что нет никакой ангины. Но можно соврать, что она быстро прошла, и вот завтра я уже собирался в школу. Интересно, бывает ангина, от которой так быстро выздоравливают?

А что мне нужно было делать? И вообще, что за постановка вопроса: честно, не честно. А честно оставлять меня один на один со своей бывшей, но в то же время настоящей девушкой, которая приходит и говорит мне, что она беременна, а я себя чувствую так, будто сам в этом виноват? А честно заделываться мне в друзья, зная, что я друг её парня, да ещё ставить меня в такую ситуацию, когда нашу дружбу надо держать ото всех в тайне, будто мы делаем что-то плохое. Почему я вообще оказался в центре этих интриг? Разве я виноват во всём этом? Нет, не виноват. Сами виноваты, вот пусть сами и разбираются.

Или позвонить Артуру? Или Диане? Или ждать, пока они позвонят сами? Или пойти в школу и делать вид, что ничего не случилось? Или всё-таки не ходить?

Я не заметил, как стемнело. Может, я даже заснул ненадолго, или это был не сон, а лёгкая дрёма, когда продолжаешь думать и думать, и думать, прокручивая по сотне раз одни и те же мысли. Меня вернул к реальности телефонный звонок. Я поднял голову и тупо посмотрел на телефон в надежде, что мне послышалось. Телефон прозвонил ещё раз, я встал и поднял трубку.

— Алло.

— Привет, — это была Диана, — ты спишь что ли? — она говорила глухо и как-то в себя, я никогда не слышал её такой.

— Нет, не сплю.

— Ты знал?

— О чём?

— О Вере.

— Нет, — соврал я.

— Что-то ты не выглядишь очень удивлённым.

— Мне Артур только сегодня рассказал, — соврал я ещё раз.

— И что он тебе ещё рассказал?

— Что? Ничего особенного.

— Давно это у них?

— Не знаю. Я не спросил.

— Всё-то ты, Тёма, знаешь, — вздохнув, протянула Диана, — но если не хочешь говорить, не надо.

Я промолчал, ожидая, что она скажет дальше. Она продолжила после довольно долгой паузы:

— Артём. Понимаешь, мне деньги нужны — сдать анализы, чтобы понять, правда это или нет. Тест говорит, что правда, но надо пойти на УЗИ. Я у родителей не могу спросить, они меня убьют. У Артура теперь тоже не могу. Может быть, ты у него спросишь?

— А сколько надо-то?

— Тысяч тридцать — сорок.

— Фигассе. Откуда он их достанет, интересно.

— Ну, пусть придумает что-то. Как трахаться направо и налево, это он мастер, а как денег достать, так сразу в кусты, — зло заметила Диана.

— Ладно. Я попробую поговорить с ним. А когда нужно-то?

— Ну, чем раньше, тем лучше. Надо же понимать, как быть дальше.

— А что ты будешь делать, если это правда? — задал я вопрос, крутившийся в голове с самого начала. Аборт мало волновал меня с моральной стороны, но тема была сложной из-за финансовых трудностей. У Дианы было другое мнение на этот счёт:

— Я не знаю, Артём. Ох, не знаю. Грех на душу не хочется брать. Но что ещё делать, я себе не представляю. Родители меня убьют.

— Ладно, не расстраивайся, что-нибудь придумаем. Завтра я поговорю с ним.

Вместо того чтобы сделать мою жизнь проще, эта история только усложняла её. Может, не ходить всё-таки завтра в школу и не поднимать больше трубку? Нет, это уже совсем нехорошо, раз я обещал Диане поговорить с Артуром. Достать ей денег на УЗИ. Откуда взять такую сумму... Мы с мамой можем на эти деньги питаться неделю. У меня было кое-что припрятано, но эта была мелочь по сравнению с тем, что требовалось Диане.

И вообще, почему опять я должен разрешать эти проблемы? Говорить с Артуром, искать деньги на анализы, всех утешать и всем помогать. Я что, мать Тереза, что ли? Впрочем, если бы я не отправил Диану в актовЫй зал, всё было бы по-другому. Но надо было дать развязку всей этой мыльной опере, которая иначе тянулась бы и тянулась без конца. Пожалуй, не пойду завтра в школу. Ни завтра, ни послезавтра. Заболею. Или ещё лучше — уеду на дачу. Маме совру что-нибудь. Подумаю над этим потом. Но завтра точно никуда не пойду.

На следующий день Артур был таким мрачным, каким я не видел его никогда. Он сел рядом со мной, не поздоровавшись и даже не посмотрев на меня. На перемене так же молча ушёл курить, потом вернулся к самому началу следующего урока. Так продолжалось весь день. Мы вроде по-прежнему были вместе, но только не разговаривали. Я не мог понять, то ли он сердится на меня, то ли на весь мир, включая меня. Я размышлял над этим большую часть дня. Не похоже, чтобы он обижался конкретно на меня, потому что на каждом уроке всё-таки садился за мою парту. Наверное, ему просто ни с кем не хотелось говорить после произошедшего (я мог только догадываться о том, что случилось в актовом зале). Наконец, осмелев, после одного из уроков я решил припереть Артура к стенке в буквальном смысле слова и нашёл его за углом школы, где он курил в одиночестве.

Он молча посмотрел на меня, потом усмехнулся и как-то горько сказал:

— Ну что, Артём, вот всё и разрешилось, как ты хотел. Ты рад?

— Что ты имеешь в виду? — пробормотал я, почувствовав, как всё во мне опустилось. Стало по-настоящему страшно.

— Да ладно, ничего, это я так. Как дела-то?

— Ничего. Мне надо с тобой поговорить.

— Говори, — усмехнулся Артур.

Мне было страшно, ужасно страшно. Я боялся сам не знаю чего. Лучше бы Артур кричал на меня или ударил, толкнул, но только не стоял бы молча, глядя исподлобья и выплёвывая скупые и сухие слова. Я перестал понимать, что он думает и что чувствует. Знал ли он, что Диана нашла его по моей наводке или только догадывался? Или просто злился и искал виноватого? Я бы с радостью вернулся в школу, тем более что нам оставался всего один урок. Но Артур всё смотрел на меня и ждал, что я скажу, так что отступить было поздно.

— Я говорил с Дианой вчера, — я сделал паузу, чтобы Артур смог как-то отреагировать на мои слова, но он не шелохнулся и не издал ни звука. Мне было тяжело выдержать его взгляд, поэтому я отвёл глаза и продолжил, — она думает, что беременна.

— Ништя-я-як, — протянул Артур, — вот я, блядь, и доигрался.

На лице Артура появилось какое-то новое выражение, которое мне не хотелось бы увидеть снова. Капитан корабля, которому сообщили, что спасенья нет. Больной, узнавший, что обречён. Выражение затравленного зверя. Уже не волчонка, а волка, что попался в западню, понимает это, но знает, что даже если он ещё пару раз лязгнет зубами, это всё равно не причинит вреда собакам и ни на секунду не отсрочит его неминуемого конца.

— Но это только подозрение пока. Ей нужны деньги, чтобы сделать УЗИ. Тысяч сорок.

Больше мне сказать было нечего, а Артур, кажется, ничего говорить не собирался. Повисла долгая пауза. Он глубоко затягивался, всё так же пряча сигарету в кулаке. Я подумал, что раньше он курил по-другому, вдыхая не так жадно. Может, из-за того, что разнервничался, или просто мне показалось. Наконец, он произнёс, выпустив дым:

— Охуенно, парень. И что мне теперь делать?

— Ну, я не...

— Ты ведь умный, придумай что-нибудь, — Артур постепенно переходил от глухих, еле слышных слов к крику, злomu и неуправляемому, — ты ведь всегда хотел, чтобы я сделал выбор, и выносил мне мозги всякой хуйнёй. Теперь вот не надо никакого выбора делать, потому что он сам собой сделался. Ты рад, Тёма, скажи? Тебя ведь раздражало всё это, нет? Ну, признайся? Ты теперь должен прыгать от радости, потому что всё стало, как ты хотел. Ну, давай же, прыгай, веселись! А может, ты всё

это и устроил, скажи? Может, ты Диане распиздел всё, нет? Или ты ей тоже про выбор все мозги выебал, как и мне? Ну, что тебе ещё? Что вам всем вообще от меня нужно? Что вы все набросились на меня, как, блядь, стервятники? Да пошли вы!

Артур махнул рукой, бросил бычок и пошёл в сторону остановки, на ходу доставая вторую сигарету. Я хотел крикнуть ему, что по алгебре будет контрольная, на которой надо обязательно присутствовать, но промолчал. Было непонятно, что делать, думать и говорить дальше, но на контрольную нужно было идти, поэтому я вернулся в школу.

Диана позвонила мне вечером, тихо, без особой надежды на хорошие новости спросила, как дела.

— Артур постарается сделать что-то, но сумма большая, так что не знаю, как быстро он её соберёт, — ответил я.

— М-м. А как он вообще отреагировал?

— Ну... расстроился немного...

— Немного?

— Ну, сильно расстроился. Диана, что ты хочешь от меня услышать? — меня начинал раздражать этот диалог.

— Ничего я не хочу услышать, просто мне интересно, как вы поговорили. А что, он продолжает с Верой встречаться?

— Я не знаю. Мы с ним не говорили на эту тему.

— Мы с ним тоже не говорили на эту тему, — передразнила меня Диана, — и вообще ни на какую тему не говорили, потому что мы вообще больше не разговариваем. Я думала, что он хоть позвонит мне после всего, но ему, видно, всё равно.

Я молчал, не зная, что тут можно сказать. Утешить её обещанием, что он непременно позвонит? Даже влюблённая и, возможно, беременная, Диана не поверила бы в это. А говорить очевидное было слишком жестоко.

— Ладно. Спасибо тебе, Артём. Ты настоящий друг, — очень серьёзно произнесла Диана и повесила трубку, сбравшись, наверно, плакать.

В очередной раз я солгал без особой причины, но у меня не было сил объявить Диане, что ей придётся решать проблему самой. Я надеялся, что случится какое-нибудь чудо, и решил подождать до завтра. На следующий день Артур в школе не появился, так что мои подозрения по поводу денег подтвердились. Я сидел на уроках, как в тумане, ожидая, что он придёт, пусть даже в том же настроении, что и вчера, но сядет рядом со мной и тогда можно будет что-то делать. Ну, или ничего не делать и не говорить, а просто сидеть рядом и ждать, пока он сделает первый шаг.

Когда я пришёл домой и открыл почтовый ящик, куда давно уже никто не опускал ни газет, ни тем более писем, но который мы по привычке продолжали проверять, там лежал объёмный конверт с сорока тысячами рублей. Мы никогда после не обсуждали с Артуром эту историю, поэтому я так и не узнал, откуда он достал такую сумму за столь короткий срок. Я уверен, что его родители денег ему никогда бы не дали. Но, по правде говоря, я и не хотел знать историю их появления.

Я тут же позвонил Диане и сказал, что деньги у меня. Натянуто грустным голосом, в котором проскальзывала радость, она попросила меня поехать на анализы с ней, потому что «ей будет страшно одной». Мне это всё было любопытно, к тому же получалось, что я снова играл роль благородного друга, так что я не раздумывая согласился.

Диана выбрала клинику подальше от дома, чтобы не встретить знакомых. Я боялся, что она опять будет расспрашивать меня про Артура и Веру, но Диана не проявляла никакого желания говорить, поэтому всю дорогу мы молчали. За полчаса, что мы провели в вагоне метро, она выпила две больших бутылки колы, а когда я спросил её о причинах внезапной любви к газировке, она засмеявшись ответила: «Дурачок, перед УЗИ надо много пить, чтобы мочевой пузырь был полный. Но воду не хочется, вот я колу и купила».

Мы приехали. Это была новая коммерческая лаборатория, расположенная в здании старой бесплатной поликлиники. Со стороны было не понятно, что здесь находится на самом деле. Она была так же неуютна, бедна и грязна, как и все поликлиники, только на стенах висели новые, недавно напечатанные плакаты на тему материнства и ухода за младенцами. Мы сидели в очереди на старых стульях, покрытых потрёпанным дерматином. Справа и слева от нас — ещё с десяток девушек и женщин разного возраста с бутылками лимонада в руках, которые, так же как и Диана, смотрели в пол, отхлёбывали из бутылок, то и дело поглядывая на дверь, ожидая, когда из неё выйдет очередная посетительница. Выходившие делились на два типа: одни покидали кабинет рывком и, по-деловому двигая бёдрами, шли к выходу, скрывая радость и желание побегать со всех ног. Другие медленно прикрывали за собой дверь, аккуратно придерживая её, и уходили, стараясь быть никем не замеченными. К этим, вторым, было приковано всеобщее внимание, хотя именно на них старались не смотреть. Почти все девушки пришли без сопровождения, только одна была с подругой. Я подумал, что, они, наверное, уверены, будто именно я — виновник появления здесь Дианы. Меня эта мысль, впрочем, только позабавила.

Диана нервничала. Переживал ли я? Сложно сказать. Да, я смотрел на неё с участием, справлялся о самочувствии, вообще был готов всячески заботиться о ней. Но, сидя рядом и фиксируя боковым зрением, как она пьёт глоток за глотком колу, волнуется и смотрит перед собой, стараясь думать о чём-то другом, но никакие другие мысли явно не идут ей в голову, и только одна дилемма мучает её, заставляя раскладывать pro и contra на чаши невидимых, но точных весов, — я размышлял о своём. Было ли мне дело до её беременности, возможного аборта или не аборта? До её любви

к Артуру? Или не любви, а просто, как говорила мама, юношеской влюблённости, которую, впрочем, я до сих пор не мог отличить от любви.

Я честно старался чувствовать то, что должно. Но что было в моей голове и моём сердце на самом деле?

Наконец, из кабинета вышла очередная девушка, она осторожно отпустила дверь и засеменила к выходу, стараясь скрыться с глаз как можно скорее. Диана встала и, не посмотрев на меня, вошла в кабинет. Я хотел ей что-нибудь сказать, но ничего путного не придумал. Что там говорят перед УЗИ? Ни пуха ни пера?

Через некоторое время дверь открылась и уже по тому, как она открылась: быстро, рывком, будто кто-то держал её с этой стороны и вдруг отпустил, я догадался о результатах анализов. Диана с трудом сдерживала улыбку и на мой вопрос «ну как?», заданный больше для вежливости, сделала большие глаза: «Ну не здесь же!»

Артур в школу так и не пришёл. Ни на следующий день, ни через день. Сначала я ждал его: надо же было сообщить ему хорошие новости. Каждый раз, когда после начала урока открывалась дверь и опоздавший ученик осторожно протискивался в класс, я поднимал голову или оборачивался с надеждой увидеть своего друга. И на переменах я невольно занимал такую позицию, с которой просматривался коридор или выход на лестницу. Но Артур не появлялся. Я позвонил ему однажды вечером, но его мама крайне нелюбезно ответила, что Артура нет и неизвестно, когда будет. По её раздражённо-му голосу я не смог разобрать, то ли ей неприятно лгать, когда Артур на самом деле дома, то ли он действительно пропал, и она злится на него. Наконец, я решил, что мне абсолютно безразличны как его отсутствие, так и присутствие.

Моя жизнь без него не сильно менялась. Те же уроки, контрольные, домашние задания. Никто не делил со мной

парту, так у меня снова стало много места. И не с кем было прогуливать уроки. Ну, это тоже к лучшему: в конце концов, хотя бы иногда надо ходить на физру, чтобы не получить пару в четверти. Всё равно в последнее время Артур проводил больше времени со своими подругами, чем со мной, так что эта потеря не была такой уж ощутимой. К тому же я не был уверен, как мы будем общаться после всего, что произошло. Может, Артур решит и вовсе со мной не разговаривать и будет демонстративно сидеть за другой партой. Придётся ходить в школу и «не замечать» своего бывшего друга. Или, может, он станет издеваться надо мной, отпускать в мой адрес обидные шутки? Или, что ещё хуже, смотреть на меня осуждающим взглядом, который предназначался у него для предателей и неверных друзей. Я был уверен, что такой взгляд у него есть в запасе. Лучше уж чтобы вовсе не было никакого Артура, чем Артур обвиняющий. Теперь я специально выбирал на переменах незаметные уголки и усилием воли заставлял себя не смотреть на опоздавших.

Ещё одно известие, которое можно было бы считать неприятнейшим, если бы не вся эта интрига, ждало меня на очередной репетиции «Ревизора». Никто уже и не надеялся увидеть Артура (впрочем, без него постановка ничего не теряла), но на эту репетицию не пришла уже сама Вера. Сначала мы долго сидели всем классом в актовом зале. Кто-то шутил, что она сбежала от такой бесталанной труппы, другие высказывали самые разные предположения — от возможной болезни до отмены всего мероприятия, но при всех раскладах было странно, что нас никто не предупредил. Могла же она позвонить старосте в крайнем случае. И только я мучился тревожным предчувствием, предполагая, что лишь мне известна истинная причина её отсутствия. Наконец, решили отправить гонца к завучам, чтобы понять, ждать нам дальше или расходиться по домам. Гонец вернулся с учительницей

математики, Анной Андреевной, она никогда не вела у нас уроки, но пару раз замещала математичку.

Анна Андреевна была маленькой суетливой женщиной, которая всё делала очень быстро: ходила, говорила, писала на доске. Её быстрота вместе с мелкими тонкими чертами лица делали её похожей на белку в колесе. Вот и теперь она вбежала, немного запыхавшись, в актовъй зал, посмотрела на нас и зачастила:

— Ребятки, здравствуйте, — другой её особенностью была привычка использовать уменьшительно-ласкательные обороты, — Веры Сергеевны сегодня не будет. То есть, понимаете, её не только сегодня не будет, но и вообще не будет. Так получилось, что её... перевели в другую школу, и она ни дня, ну ни денёчка не могла задержаться у нас. Вот. Но всё, что вы делали и готовили для конкурса самодеятельности, — это всё никуда не денется, потому что фестиваль никто не отменял. Меня Настасья Александровна (директор школы) попросила заняться вами, пока к нам не придёт новая учительница по музыке, тем более что времени до выступления нисколько не осталось. Вот. Я просто не знала, что у вас, то есть у нас, сегодня репетиция, и поэтому не пришла вовремя. Но раз уж мы все здесь, предлагаю начать, — последние слова она произнесла радостно и бодро.

Ответом на её речь была гробовая тишина, участники первого акта стали молча и нехотя подниматься на сцену.

Репетиция не клеилась. Анна Андреевна делала всё, чтобы быстро вникнуть в суть происходящего, и мы как будто даже старались помочь ей. Но всё, что могло сорваться или получиться плохо, срывалось и получалось плохо. Новоявленные актёры без эмоций произносили свои реплики на сцене безо всякой попытки играть, другие отвечали им так же без выражения, чтобы поскорее закончить и разойтись. Но особенно удручающими оказались музыкальные номера, которыми так гордилась Вера. Можно было подумать, что не

было у нас за спиной двух месяцев еженедельных репетиций, а мы только сегодня встретились впервые и стараемся спеться без какого бы то ни было результата. Наконец, мы утомили математичку, и она отпустила нас:

— Ну, ладненько, ребятки, на сегодня хватит. Я всё поняла, вы у меня молодчинки, всё прекрасно у вас получается, думаю, все будут в восторге. Когда следующая репетиция? В среду? Ну и прекрасно. В среду, значит, на том же месте в тот же час! — победным криком закончила она.

Ну, вот и всё. Финал. Теперь не будет у меня ни Артура, ни Веры, ни Дианы. Первые двое пропали, третья в школе и так со мной никогда не разговаривала, так что остался я снова один. Благо, я не учусь больше с Михой, а с новыми одноклассниками у меня выстроились прекрасные отношения: они меня не трогают, а я их. Есть у меня ещё любовь, Ира, всё общение с которой сводится к коротким разговорам, когда она шутит, а я краснею. Что же, был друг и не стало друга. А может, он вовсе и не был таким уж верным другом? Иначе не стал бы впутывать меня в эту историю. И вообще не стал бы знать ся...

Да, впрочем, это другое. Нельзя, наверное, смешивать дружбу и отношения с девушками. Хотя у меня ведь тоже есть Ира, но она никогда не была помехой дружбе, я даже не посвящал Артура в свои чувства. Но это нельзя сравнивать, потому что с Ирой у меня никогда ничего не получится. Да и вообще ни с кем никогда ничего не получится — ни любви, ни дружбы. Не надо было и пытаться. Как поёт Кинчев в одной из любимых Артуровых песен: «И как эпилог всё та же любовь, и как пролог всё та же смерть». Если нет смерти, то не будет и любви.

Ну, надо понимать в более широком смысле, наверное, в наше время ведь не всё так драматично. Если нет жертвы, то нет и любви. А я никогда ничем не жертвовал по той простой причине, что жертвы мои никому не были нужны. Да и нечем было жертвовать... Просто проживал себе свою незаметную

жизнюшку, как сказала бы Анна Андреевна, жил-поживал, появился Артур на горизонте, хорошо, появилась Ира — тоже хорошо. А там что случилось то случилось. А теперь вот нет никого, потому что я не смог сделать так, чтобы они остались. Впрочем, кто, собственно говоря, «они»? Диана с Верой мне не нужны.

Дни шли за днями, закончилась четверть, прошли каникулы, наступил день нашего спектакля. Нам не хватало Вериней энергии, и ни у кого не было желания работать, но Анна Андреевна приходила на все репетиции и заставляла нас раз за разом прогонять роли.

Понимая, что мы уже едем по накатанным не ею рельсам, она старалась не вмешиваться в творческий процесс, так что, можно сказать, её неучастие было нам даже на руку.

— Ой, ребятки, какие вы молодчинки, всё так хорошо, у меня даже слов нет, — то и дело приговаривала она, всплёскивая руками.

Мы снова втянулись в эту рутину, тем более что обратной дороги не было, и, в общем, так или иначе довели «Ревизора» до ума.

В день спектакля все принесли с собой из дома костюмы, которые были сшиты родителями и в основном представляли собой старые перелицованные пиджаки и длинные платья с нашитыми рюшами. Поглядев на нас, можно было подумать, что мы собираемся играть в балагане, а не ставить Гоголя, но это никого не смущало. Впрочем, большинство моих одноклассников не были знакомы с модой прошлого столетия, поэтому все просто радовались, что можно пощеголять в необычных нарядах. На мне был старый дедушкин пиджак: мама перешила на нём пуговицы, чтобы он не висел мешком, и добавила полы, чтобы он хоть отдалённо походил на сюртук. На голове — самый настоящий цилиндр, сделанный из картона, обтянутого чёрной тканью. Цилиндр получился немного меньше, чем нужно, так что приходилось постоянно придер-

живать его рукой, чтобы не сваливался. В этом костюме мне предстояло петь в хоре и изображать купца. Загвоздка была в том, что купцы никаких сюртуков и цилиндров не носили, но я решил, что для сцены с купцами сниму цилиндр, ну а сюртук... Что ж, будет у меня такой прогрессивный купец.

С самого утра настроение у всех было приподнятое. Никто особенно не волновался, потому что мы столько раз повторяли одно и то же и были уверены, что всё пройдёт без особых накладок. К тому же это ведь была просто самодеятельность, от которой мало что зависело в нашей жизни.

Я впервые ощущал единение с другими. Причём, не с одним человеком или несколькими, а именно со многими людьми: с одноклассниками, учителями, параллельными классами, которые ставили свои спектакли. Мне нравилось чувствовать себя маленькой частью чего-то большого и радостного. Пусть это большое и не заметило бы, если бы меня не было или если бы я пропал в последний момент, мне невероятно нравилось, что столько людей делают какое-то одно общее дело, и я делаю его вместе со всеми.

Мне было немного грустно, что Вера не увидит плодов своего труда и Артур не примет участия в спектакле, но я старался не думать о них, чтобы не разрушать это праздничное настроение.

В первых актах, где я пел в хоре или просто стоял в глубине сцены, всё шло нормально. Кто-то иногда забывал слова, и ему подсказывали, кто-то начинал смеяться не к месту, но быстро останавливался, но в основном все старались играть так же как на репетициях. Я с самого начала чувствовал себя на сцене немного странно. Я вдруг понял, что на меня смотрят десятки глаз, эти люди (родители и ученики из других классов) раньше, возможно, даже не знали о моём существовании. А если и знали, то не замечали. Зал был полон. Рампа у нас была достаточно скромная, поэтому мы видели лица

зрителей. Вот сидит Диана. Недалеко от неё — Ирин Вепрь. Мне казалось, он больше смотрит на меня со своей вечной насмешкой, чем на Иру. И ещё много-много людей, которых я, без сомнения, видел, но которые никакого отношения ко мне имели. И вот теперь они глазят на меня, или даже говорят обо мне, или, что ещё более вероятно, смеются надо мной. Эта мысль начала давить.

Я пытался отогнать её, убеждая себя, что у меня не такая уж и важная роль, чтобы её оценивали, надо просто спеть соло небольшую песню от имени купца, а потом уже остальные подхватят. Но ведь в этом-то и был весь ужас! Если мне не доверили нормальной роли, то лишь потому, что были уверены — я не справлюсь. Но и с этой маленькой ролью надо было совладать, чтобы доказать — я не «отстой», как сказал бы Артур. Но смогу ли я оправдать их ожидания или, наоборот, докажу всем и в первую очередь себе, что я на самом деле ни на что не годен, и даже этой незначительной роли не следовало мне давать?

Мне вдруг стало страшно. Я убедил себя, что всё провалю. Радостные лица моих «коллег-актёров» ещё больше удручали меня: «Они все такие довольные, потому что уверены в себе. Не то что я».

Так я промучился всю пьесу, стараясь петь не очень громко в общем хоре и не слишком выделяться в массовке (хотя как тут выделиться). Наконец, подошёл мой выход. В центре сцены я понял, что забыл снять дурацкий цилиндр, который вовсе не шёл купцу! Уже играла фонограмма моей песни, а я всё не знал, вернуться ли мне за кулисы или просто снять цилиндр, и если снять, то куда его деть: положить на пол или оставить в руке. В любом случае будет смотреться глупо. Я решил снять и заложить за спину, так чтобы его не было видно. Между тем я пропустил начало мизансцены, мне зашикали из-за кулис и поставили музыку ещё раз. Теперь я начал вовремя, но сбился на второй строфе, забыв слова,

подхватил на третьей, покраснел, увидел сожаление в глазах незнакомых людей на первом ряду и окончательно ступался. Я допел свою песню совсем тихо, пропустив куплет в середине, впрочем, наверняка меня совсем не было слышно. Как только фонограмма закончилась, на сцену высыпали одноклассники и начали петь, как мне показалось, нарочито громко, чтобы сгладить впечатление от моего выступления.

Когда отзвучали последние аплодисменты, мы спустились со сцены, и нас попросили посидеть немного в зале, потому что директриса собиралась сделать какое-то объявление. Мне не хотелось её слушать, единственным желанием моим было скрыться куда-нибудь от насмешек одноклассников. Я не просто провалил своё выступление перед классом и всей школой, я заработал сегодня такую репутацию, о которой пару лет назад и мечтать не мог. Раньше только мои одноклассники знали, что я задрот и слабак, остальные меня просто не замечали. Теперь о моём существовании знают все. От этой мысли хотелось забиться в уголок и по-детски заплакать. Но никаких потайных уголков в пределах видимости не было, да и плакать в моём возрасте было странно. Так что пришлось сесть на гладкий деревянный стул и погрузиться в протрацию, позволявшую не думать о моём позоре.

Как это часто бывало со мной в минуты расстройств, казалось, мир рухнул и лучше бы мне вовсе исчезнуть. Не умереть — я не думал тогда ещё о смерти как о возможности избавиться от проблем, — а просто исчезнуть, как будто меня вовсе никогда не было. Если бы я умер — скажем, попал бы под машину, выпал из окна или повесился бы на спинке стула, как один мальчик из параллельного класса, — все бы, конечно, начали жалеть меня и говорить обо мне (правда, не факт, что в том ракурсе, в котором мне хотелось). Например, про того мальчика говорили, что он увлёкся таким видом онанизма, когда придумываешь себя немного и от этого

кончаешь. Было приятно осознать, что кто-то подвержен ещё более разрушающему пороку, чем я, но становилось страшно, что меня рано или поздно ждёт похожая судьба и аналогичные сплетни. А если бы меня никогда не было на свете, то ни у кого не возникло бы желания и обсудить меня. Мама как-то в сердцах обмолвилась, что зря не сделала аборт. В такие дни, как сегодня, я был с ней согласен.

Я не думал ни о чём конкретном, но в моей голове безо всякой видимой связи проносилось множество разных образов, заставлявших жалеть себя ещё больше. Артур, который вошёл в класс, стреляя испуганными и наглыми чёрными глазами, и вдруг направился к моему столу. Диана, выходящая из кабинета УЗИ: глаза её искрятся, а губы напряжены, чтобы не расплыться в улыбке. Вера, которая открывает дверь своей квартиры и не знает, смотреть на меня или не смотреть, говорить что-то или бежать вынимать каравай из печи. Так много всего произошло за такое короткое время. Мама говорила, что Артур рано ли поздно предаст меня и смоемся. Артур и правда пропал, но только вопрос с предательством оказался скользким. Интересно, его родители тоже обо мне такого мнения? Хотя они меня ни разу не видели... «Вольному воля, спасённому боль». Артур был вольным, а я спасённым. Спасённым от чего? От дружбы, наверное, которая так много требовала. И от любви. Ну что же, мне не привыкать. Вот только со спектаклем жаль, что так получилось. К тому же...

Тут мои размышления были прерваны оглушительным пискom микрофона, а потом кто-то чуть не с разбегу плюхнулся на соседний стул и больно ткнул в бок локтём. У меня захватило дух от какой-то неземной, всеобъемлющей радости, такой, какая бывает, наверное, если вдруг выйти из полутёмного трюма на нос корабля, который уносит тебя в незнакомые и счастливые края. Я ещё не видел его, но знал, кто это.

— Ну ты чё, чел, расселся-то нах. Давай двигай жопой!

История 3. Имя

— **Н**у ты чё расселся-то нах. Один на всей скамейке. Давай двигай жопой.

Здоровый, как стена, парень, по виду года на два старше меня (хотя мы наверняка были одногодки), плюхнулся рядом и так широко расставил ноги, что натянулись его серые «семейники». Наверное, из соседней школы. Откуда у них только берутся такие бугаи? Вот кого надо в армию отправлять раньше срока: всё равно никакого толку не выйдет. Он, наверное, теорему Пифагора до сих пор не выучил, что ему в старших классах делать? Вообще-то это была моя очередь в кабинет хирурга, но я решил не настаивать и пропустить бугая вперёд.

Было зябко и неудобно. Деревянная скамейка не согрелась даже после того, как я просидел на ней несколько минут. А тут ещё пришлось подвигнуться, и я не мог справиться с покрывшими всё тело мурашками. Вокруг стояли, сидели, ходили голые, в одних трусах, парни из разных школ. Среди них были и мои одноклассники, но они как-то затерялись в толпе, так что я чувствовал себя одиноко в недружественной и даже угрожающей среде. Я боролся с желанием поднять глаза и смотреть на всё, что происходит, раньше я не видел такого скопления голых тел. На пляже видел, конечно, но там они смотрелись органично, поэтому было неинтересно за ними наблюдать. А здесь, в узких грязных коридорах

военкомата, где то и дело сновали туда-сюда врачи и медсестры в белых халатах, а также какие-то невероятно толстые люди в форме и с красными лицами, раздетые подростки смотрелись странно и не к месту. Это возбуждало интерес, но я боялся, что кто-нибудь его заметит, поэтому уставился в пол. Иногда удавалось бросить незаметный взгляд, как, например, на семейные трусы бугая рядом со мной, но я старался тут же отводить его.

Жаль, не было рядом Артура. Мы бы держались друг друга, шутили и смеялись. Можно было бы на всех смотреть, потому что когда ты не один, это не выглядит подозрительно. Он бы, наверное, подначивал меня и издевался над моей наготой, но я уже привык к его шуткам. Ему предстояло попасть в эти стены только через полгода.

Наконец, бугай встал и вразвалку, кряхтя, как будто выйдя из бани, вошёл в кабинет. Теперь надо ждать очереди. Я сел поближе к двери. Скамейка была ещё тёплой и показалась мне даже теплей, чем та, на которой я сидел раньше. Вот уж он её нагрел-то.

Интересно, мне одному неловко или все остальные чувствуют то же самое? Бугаю было, наверное, всё равно. Его хоть на Красную площадь в одних трусах отправь, он будет так же кряхтеть, как будто это совершенно нормально — ходить полдня в таком виде перед совершенно незнакомыми людьми обоих полов. И что они там делают у хирурга?

Подошла моя очередь. Я встал, стараясь смотреть в пол, и открыл белую деревянную давно не мытую и не крашеную дверь. В кабинете было пятеро абсолютно голых парней. Только один из них учился в нашей школе, остальных я видел впервые. Они стояли в ряд перед столом врача, осматривавшего одного из них. У меня перехватило дух, настолько неожиданным было это дефиле, но меня быстро вернула в сознание сидевшая рядом с дверью медсестра, которая про-

изнесла механическим голосом: «Школа, класс, фамилия». Я назвался, она тем же скрипом ржавого, работающего из последних сил робота сказала: «Труссы снимаем, стоим, ждём».

Парни стояли боком ко мне, свободно, как в очереди за картошкой. Бугай так вообще заложил руки за спину и прислонился к стене. Только мальчик из нашей школы, такой же subtilный, как и я, стоял, стыдливо прикрыв чресла руками. Я и тут старался ни на что и ни на кого не смотреть, но всё же не смог перебороть себя и оглядел бугая с ног до головы. Вот это да. Такого даже в музее не увидишь. Он перехватил мой взгляд, и я покраснел до ушей. Надо было куда-то смотреть, но куда ни помотришь, всё время натыкаешься взглядом на голое тело. Выдавали бы какие-то повязки на глаза, что ли.

Самое интересное происходило перед столом врача. Хирург (мужчина лет сорока с чеховской бородкой и редкими русыми волосами, в белом халате и круглых очках, которые при большом желании можно было принять за пенсне) крутил перед собой очередного мальчика, просил его развести руки, поднять ногу, осматривал позвоночник, а потом вдруг начал трогать его в промежности. Со мной такое уже случилось много лет назад, мне и тогда все эти действия казались слишком интимными. Мальчик стоял, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, а остальные украдкой наблюдали за ним (хоть тут я не один такой любопытный). «Так, а теперь сам заголи головку», — сказал хирург будничным голосом. Впрочем, каким он ещё голосом мог говорить? Разве головка требует особенного пиетета? Парень сделал то, о чём его просили, после чего хирург развернул его и попросил нагнуться. Всё это происходило достаточно быстро, но мне хватило и этого, чтобы во мне что-то зашевелилось. Я испугался, что моё волнение будет замечено, это был бы полный позор. Особенно если принять во внимание этого парня из нашей школы. Я снова уставился в пол, пока очередь не дошла до бугая.

Он стоял совсем близко и исполнял все просьбы врача с каким-то отсутствующим и немного скучающим видом, будто говоря: «Ну, что тебе ещё? Головку заголить? Давай побыстрее заканчивай эту бодягу, а то мне курить охота». Я не смог заставить себя отвернуться и исподтишка наблюдал за ним. Он был красив. Широкое скуластое лицо, которое немного портило выражение скучающей тупости; развитая грудь, большие бицепсы, круглые белые ягодичы, выделяющиеся на фоне загорелого тела. Когда он проделывал все эти манипуляции со своим большим, оформившимся, неожиданно тёмным членом, я вдруг потерял контроль над собой и почувствовал, что мой собственный начинает опасно набухать. Чтобы как-то отвлечься, я стал тараторить про себя первое попавшееся стихотворение: «Скрыла руки под тёмной вуалью, отчего я сегодня бледна...» Тут он повернулся, наклонился и раздвинул ягодичы, «Оттого, что я терпкой печалью напоила его допьяна...». Ахматова не помогала. Самое неприятное было ещё и в том, что я оказался будто между Сциллой и Харибдой: сзади стояли зашедшие за мной мальчишки, а передо мной — бугай. Я решил, что один бугай лучше четырёх свидетелей, и остался стоять к нему лицом. Я не знаю, заметил ли он что-нибудь, но, проходя мимо, смерил меня полным презрения взглядом, будто я был огромным насекомым.

Дальше началась настоящая пытка. Я и врача-то стыдился, а тут на меня смотрели пять пар глаз, которые были отнюдь не так безучастны, как хирург. Я надеялся, что моё возбуждение спадёт, но не тут-то было: несмотря на все усилия, а скорее даже благодаря им, предательский орган не становился меньше. Я ни на кого не смотрел, потому что любой взгляд смутил бы меня ещё больше, но я знал, что они всё видели и всё понимали. Наконец, экзекуция была закончена, я быстро, но с достоинством прошёл к двери, надел трусы и вышел из кабинета.

Не знаю, специально они ждали меня на улице или моя несчастливая звезда столкнула меня с ними. Я сразу почувствовал неладное, когда увидел бугая, окружённого пятёркой парней, таких же крупных, как и он. Они все были одеты в модные спортивные костюмы Adidas: чёрные пластиковые брюки на резинке, черные или тёмно-синие куртки, белые футболки и выдавшие виды кроссовки. «Тёмные, зато не маркие», — подумал я маминым тоном. Отступить было поздно и некуда, нужно было пройти сквозь этот строй, чтобы попасть на трамвайную остановку. Первым начал бугай:

— А вот он, этот педрила, который на меня пялился. Ты чё, пидор, давно пизды не получал?

— А ему не нужна пизда, он же пидор!

Компания заржала над этим изысканным каламбуром.

— Ну-к поди сюда, парень, расскажи нам, как там у вас, у пидоров всё бывает?

Я шёл с каменным лицом, будто их эскапады относились вовсе не ко мне. Но долго это не могло продолжаться, потому что дорожка была узкой, и я неминуемо должен был упереться в них. Наконец, один из спортивных костюмов преградил мне дорогу и положил руку на плечо:

— А ты чё, блядь, не здороваешься, когда с тобой разговаривают?

Я дёрнул плечом, чтобы сбросить его руку, но он больно ударил меня в живот, так, что я согнулся. Кто-то толкнул меня сзади, я упал на колени, и они стали не сильно, но ощутимо пинать меня ногами. Поскольку я не оказывал сопротивления, а избивать меня всерьёз никто не собирался, это занятие скоро им надоело, но отпустить меня слишком быстро было неинтересно. Бугай взял меня за плечи, приподнял и повернул к себе:

— Слышь, ты, пидор, а хочешь у меня отсосать?

Пока один из его друзей держал меня за плечи, он растегнул ширинку и вытащил из неё свой толстый чёрный член. Никакой эрекции у него, конечно, не было, но он под всеобщий хохот стал трясти им перед моим лицом, приговаривая: «Ну, давай, детка, ты же этого хочешь».

— Ладно, Никитос, пошли на хуй отсюда, а то вон какие-то старухи уже пялятся, щас ментов ещё, блядь, позовут, — сказал тот, что держал меня за плечи и тут же закричал в сторону, — что вы, блядь, пялитесь, пошли на хуй отсюда.

Никитос застегнул ширинку, пнул меня напоследок коленом в грудь, после чего вся компания исчезла так быстро, как будто мне всё приснилось.

Хорошо, что не было Артура. Он бы не остался в стороне, и ему бы досталось больше, чем мне.

Надо было вставать: прохожие начали на меня оглядываться. Где они раньше были и куда смотрели, интересно? Мне захотелось крикнуть что-нибудь злое в их адрес, как это сделал один из спортивных костюмов, но я промолчал, отряхнулся и поплёлся к трамваю. Пидор. Так меня не называли даже в младших классах. А если и называли, то неосознанно, до конца не понимая, что это значит. И только сегодня это определение, от которого я старался бежать, вылезло на свет, и я впервые открыто посмотрел на него. В моей маленькой жизни начиналась новая эпоха.

Теперь я стал взрослым. Это случилось как-то незаметно. Взрослость моя определялась не отношением окружающих, а скорее, неким самосознанием. В детстве постоянно думалось: «Вот когда стану взрослым, мне разрешат допоздна смотреть мультфильмы». А теперь больше не было повода так думать, потому что детство окончательно испарилось вместе с мультфильмами. Появились другие временные зарубки: «когда я закончу школу», «когда я найду работу», «когда я буду учиться в институте». Я ещё не знал деталей,

но не было сомнений, что рано или поздно всё это со мной случится. Лучше, чтоб быстрее.

Я по-прежнему учился в школе, но последний звонок уже звучал в моих ушах и очень скоро должен был прозвенеть наяву. Не то чтобы я ненавидел школу: в старших классах учиться стало легче, и отношения с одноклассниками выстроились более-менее приятельские. Но хотя у меня и был Артур, я чувствовал отчуждённость между мной и остальными. Они были посторонними. Мне казалось, как только я сойду, не обернувшись, со школьного крыльца, передо мной мгновенно развернётся новая удивительная жизнь, полная забот и трудностей, но они будут оправданы радостями и открытиями. Я встречу новых людей, которые ничего не знают о моём прошлом, и мне будет легко придумать новую легенду и нового себя.

Я стал достаточно взрослым и полностью отдавал себе отчёт в том, что я не такой, как все, но не в том смысле, в каком думал об этом раньше. Я всегда был самым слабым, изгоем, шибздиком, мудилой и говнилой, но при этом я не считал, что действительно отличаюсь от своих одноклассников в широком смысле этого слова. Руки, ноги, славянская внешность, бедная ношенная одежда и весь спектр оценок в дневнике. Но с некоторых пор я стал понимать, что внутри меня кроется не просто змей-искуситель, заставлявший меня регулярно заниматься грязными «делишками», как их называла мама, но что змей этот был особым. Я не знал ничего про остальных, но был почти уверен, что Артур страдает тем же пороком, что и я. Но порок его отличался от моего нюансами — на это проливали свет бесчисленные девушки, проходившие через его руки. Я ощущал — что-то происходит внутри меня, но мне пока было страшно дать этому название. Я не хотел думать об этом, боялся задавать себе вопросы, на которые, знал, ответов не будет. Но незаданные, они мучили меня

ещё больше. Оставаясь погребёнными где-то в глубине моей души, они давили изнутри, как пар в кастрюле с плотно закрытой крышкой, грозясь вырваться и разрушить меня до основания.

Эта моя необычность проявлялась повсюду: в том, о чём я думал, занимаясь «делишками»; в волнении, которое во мне вызывали греческие скульптуры в музее или люди на пляже. Да что там говорить, не просто скульптуры и люди, а мужчины, были ли они из плоти и крови или же из мрамора. Я отводил глаза и старался не замечать пробегающую по телу дрожь. Каменному Эроту было, конечно, всё равно, да он, наверное, привык, что на него все пялятся вот уже две тысячи лет, но я боялся не его. Мне не хотелось чувствовать всё то, что я чувствовал, потому что это было неправильно. Чаще всего мне удавалось спрятать голову в песок, сделав вид, что никакой проблемы нет. Но иногда она прорывалась-таки наружу, как тогда в военкомате, и мне приходилось снова мобилизовать свои душевные силы, чтобы не обращать на это внимание и жить так, будто ничего не случилось.

Ира была по-прежнему рядом, и мне казалось, что я всё так же в неё влюблён, несмотря на то что она перешла в нашу школу довольно давно. По крайней мере, налицо были все ингредиенты любви: я краснел и чувствовал себя неловко, если она говорила со мной, думал о ней, когда оставался один, и писал стихи, посвящённые ей (а также моим страданиям и одиночеству). Но даже тут я ощущал какую-то усталость от этого чувства. Оно было во мне, я не сомневался, но меня радовала мысль, что очень скоро наши с Ирой пути разойдутся, может быть, навсегда, и мне можно будет забыть о ней.

Я был уверен, что никогда не стану одним из счастливцев, которым повезло обзавестись любимой, более того, понимал, что и семьи-то у меня, наверное, никогда не будет, ведь чтобы завести семью для начала надо закрутить роман. А о каком

романе может идти речь: достаточно посмотреть в зеркало, чтобы понять — из гадкого утёнка я превратился в гадкого селезня. Субтильный, с впалыми плечами, прыщами на худом непропорциональном лице. На голове всё тот же чуб, с которым ничего нельзя поделывать: после стрижки можно было ходить с короткими волосами дней пять, а на шестой он начинал курчавиться по новой. А если провести по этому чубу рукой, из него сыпался такой снег перхоти, что хоть пылесос включай. Я несказанно обрадовался, когда мы перестали носить школьную форму — на сером свитере это всё было не так заметно и не приходилось отряхивать плечи каждые полчаса. Но я давно со всем смирился. Не судьба мне быть любимым, ну и ладно. Зато, может, стану умным и ужасно образованным. Золотая медаль мне, правда, не светила, но разве в медалях дело!

Ещё одна причина, по которой мне хотелось, чтобы школа скорее осталась позади и началась самостоятельная жизнь, заключалась в маме. Раньше всё было просто: существовали табу и обязанности. Получил тройку в четверти — жди взбучки, не вымыл посуду — будет скандал, разбил или сломал что-нибудь — готовься слушать причитания на тему «откуда же у тебя руки растут» или «ничего тебе доверить нельзя». С этим жить было не слишком приятно, но, надо признаться, не очень сложно: я научился умело лавировать между «нельзя» и «нужно», чем максимально упростил себе жизнь. Со временем рычагов давления у мамы становилось всё меньше, лишать меня каких-то удовольствий с каждым годом становилось труднее: гулять мне было не с кем, к сладкому я был равнодушен, компьютерные игры были тогда уделом богатых, ну а телевизор мама и так постоянно смотрела сама. Да и вырос я из возраста, когда не отпускают гулять. Оставались крики и серьёзные разговоры — последние, впрочем, происходили всё реже.

Скандалов, впрочем, становилось всё больше, и поначалу я был уверен, что это мама стала невыносимой. На работе проблемы, денег нет, бабуля давно на пенсии, которой не хватает даже на дрова на дачу, к тому же каждый раз, оказавшись вместе, они ругались, как две кошки.

Мне казалось, что мама вымещает свою злобу и раздражение дома — и на ком же ещё можно оторваться, как не на мне. Но если раньше я сидел тихонечко и ждал, когда пройдёт буря, то теперь стал отвечать ей грубостью на грубость, что, конечно, не могло её утихомирить. Сначала это была война сугубо оборонительная, пусть иногда мне приходилось бороться за свои права, которых, как мне казалось, меня лишали. К примеру, днём все двери в нашей квартире всегда были открыты. Но мне нужно было пространство, отделённое от остального мира, поэтому я стал закрывать свою комнату. После почти месяца ожесточённых боёв мама сдалась, хотя потом мы ещё две недели не разговаривали. Она, впрочем, оставила за собой право входить ко мне без стука («Я в своём доме не намерена спрашивать разрешение, можно мне войти куда-то или нет»).

Но через какое-то время я поймал себя на том, что сам эскалирую конфликты, которых можно было бы избежать. Мама стала врагом, с ней хотелось воевать по любому поводу просто ради войны, а не ради победы.

Она могла зайти в мою комнату, уже готовая к стычке, и заявить:

— Артём, мне надо, чтобы ты завтра поехал со мной на дачу, нужно крышу починить.

Я, не отрываясь от книги, отвечал:

— Мама, мне нужно остаться в городе, у меня много дел.

— Каких ещё дел? — ещё спокойно спрашивала мама, хотя в её голосе уже сгущались тучи, на горизонте появлялась готовая разразиться гроза.

— Какая разница, каких дел. Я же говорю — на дачу поехать не смогу.

— Так. Во-первых, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! Во-вторых, меня не интересуют твои дела, ты завтра поедешь на дачу!

— Нет, мама, я не поеду, — я почти всегда говорил очень сдержанно, совершенно точно зная, что эта манера ещё больше выводила её из себя.

— Ах ты, дрянь такая, не поедет он! Да сколько можно?! Хорошо устроился, валяется на диване целыми днями, ни хрена не делает, его одевают, кормят, а он пальцем пошевелить не хочет! Я сколько тебя просила погладить бельё? Я сколько тебя просила помыть ванную? Ты сколько ещё будешь отдыхать-то, выродок небесный?!

И так могло продолжаться до хрипоты. Мама кричала, я спокойно сопротивлялся. Исход бывал разным, редко когда заранее можно было сказать, чьё упрямство пересилит. Иногда она оставляла меня в покое, но потом несколько дней молчала. Порой я понимал, что она не отстанет, пока не добьётся своего, и соглашался сделать то, что она просила, но непременно с какой-нибудь оговоркой, позволявшей сохранить лицо.

Периоды взаимной ненависти и ругани перемежались странными вспышками спокойствия и взаимного понимания. Мы были похожи на пару, прожившую вместе так долго, что о любви речи уже не шло, но надо было сохранить семью, поэтому мы предпринимали очередную попытку помириться. Во время этих просветов мы разговаривали по душам. Это напоминало психологические беседы былых дней с той лишь разницей, что теперь мне нравилось в них участвовать. Я научился управлять ситуацией: рассказывать, что можно, и утаивать сокровенное; вызывать жалость и создавать иллюзию, что мама помогает мне своими советами;

жаловаться на жизнь и получать поблажки, от которых ей было невозможно отказаться позже, когда она снова была в гневе. Меня забавляло, что мама была уверена: ей известно всё о моей жизни, но на самом деле она даже не подозревала, чем я живу, что меня радует или расстраивает.

Любил ли я её в моменты душевной близости и любил ли вообще? Не знаю. Я искренне ненавидел её, когда мы ругались, я представлял себе, что будет, если она умрёт какой-нибудь не страшной, но быстрой смертью, и я останусь один с бабулей. Я иногда мечтал наяву — вот мне звонят незнакомые люди и говорят, что маму сбил автобус и она скончалась на месте, и мне нужно приехать на опознание. Или что у неё вдруг ночью остановится сердце, с утра я вызову «скорую», но врачи ничего не смогут сделать. И потом все будут жалеть меня, сироту, потерявшего последнего родителя, на лице моём будет траур, но в душе я буду плясать от радости.

Но даже когда мы сидели рядом, и я рассказывал ей о проблемах в школе или своём одиночестве (но ровно столько, чтобы не выболтать ничего лишнего), даже в такие моменты я не мог бы поручиться, что в моём сердце есть что-то, кроме жалости к стареющей, раздражённой и усталой женщине. Я обманывал её, делясь переживаниями, которых не было, и утаивал то, что чувствовал на самом деле, а она верила, потому что хотела верить, что моменты искренности с сыном — реальны.

Времена были непростые. Денег хватало только на самое необходимое, мама была уже в том возрасте, когда бурная личная жизнь — удел звёзд эстрады, ни со мной, ни с бабулей не удавалось найти общий язык на сколько-нибудь продолжительное время. Многие в то время обратились к Церкви — извечной утешительнице обиженных и обездоленных. Но, помимо официальной Церкви, появилась масса групп, которые пытались найти не столько ответы на вечные

вопросы, сколько просто обещание, что из тоннеля, где мы все якобы находимся, есть выход. Группы эти были самыми разными. От тех, кто заявлял, что стал Буддой ещё при земной жизни или откровенно сектантских организаций наподобие Свидетелей Иеговы, — до ассоциаций колдунов, магов и ясновидящих.

Группа, в которую вовлеклась моя мама, была небольшой — человек пятнадцать. Обычно они собирались у кого-то дома или снимали небольшую комнату на работе у одной из участниц. И там общались. Если поставить им на стол бутылку водки и салат оливье, их посиделки мало чем отличались бы от празднования Нового года. Говорили они в основном на эзотерические темы о переселении душ, карме, ясновидении и нирване. Основной смысл, который мне удалось потом извлечь, заключался в том, что каждый человек должен достичь совершенства, для этого ему отпущено столько инкарнаций, сколько потребуется. Если не получилось в этот раз, то придётся родиться снова, чтобы выполнить своё предназначение. С точки зрения этой системы, Иисус Христос, Будда и прочие божественные личности прожили свою последнюю перед нирваной инкарнацию и поэтому служили ориентирами для остальных людей. В маминной группе читали массу литературы, основными авторами были Блаватская, Рерих, Кастанеда, попадались даже Ницше и Шопенгауэр или такой раритет, как Бхагават Гита. Ничего криминального в этих сборищах не было, деньги собирались только на аренду помещения, плюс участники приносили с собой какие-то закуски к чаю.

Сначала мама ничего о своём новом увлечении не рассказывала. Просто стала раз в неделю приходить с работы позже обычного. Меня её жизнь не особо интересовала, да и я был только рад остаться один. Но как-то раз во время непродолжительного перемирия она начала проповедовать.

Нирвана, кармические связи, проблемы, которые остаются нам на следующие инкарнации, и если не найти им решения, мы будем возвращаться к ним снова и снова. Мне всё это показалось интересным, ведь у меня была масса вопросов, на которые ни школа, ни мама, ни кто бы то ни было не мог ответить. Тех самых вопросов. Может быть, мои проблемы — как раз и есть кармическая задача?

— Я уже довольно давно всем этим занимаюсь, — признавалась со скромной гордостью мама, — и уже кое-что могу делать. Я вот, например, ауру вижу у людей. Не у всех, но у многих.

— И у меня можешь видеть?

— Могу.

— И какая она у меня?

— Она у тебя, Артём, серая, с розовым и иногда ярко алым. Это говорит о том, что ты неустойчив, неуверен в себе, но слишком замкнут и эгоцентричен. Я тебе, впрочем, это и так говорила. У тебя много внутренних проблем, которые ты ото всех скрываешь.

Это было невероятно, но это было правдой. Особенно про внутренние проблемы и неуверенность в себе. Первый раз за много лет я поверил в то, что говорила мама, потому что почувствовал: за её словами стоят какие-то более мощные силы.

— А у тебя она какого цвета?

— Сама я свою ауру видеть не могу, но говорят, что она у меня небесно-голубая, это символ внутренней сильной духовности.

В маминой внутренней сильной духовности у меня были некоторые сомнения, но я не обратил внимания на эту неувязку, поражённый остальными совпадениями. Я попросил взять меня на следующее собрание, на что мама ответила, что не может привести меня просто так, ей нужно предупредить лидера группы. Но пока что я могу почитать кое-какие книги, чтобы более-менее разбираться в материале.

Мне пришлось ждать почти десять дней. Артуру я ничего не рассказал, потому что был уверен — он поднимет меня на смех, к тому же я не смог бы поразить его чудесами вроде открывшегося третьего глаза. Под разными предложениями мне приходилось увильнуть от него, чтобы не оставаться с ним после школы: мне предстояло столько всего прочитать, чтобы быть готовым к посвящению.

Я мало что понял в маминых книгах. Одни из них анализировали Библию и Новый Завет, ссылаясь на тексты, которых я не читал, и притчи, которых я не слышал. Наша семья не была религиозной, а в школе мы весьма поверхностно изучали историю религий, которую вёл учитель астрономии. Другие книги были попроще и рассказывали о карме, переселении душ, чакрах и сенсорных способностях человека. Я пытался концентрироваться на кончике носа, погружался в транс, чтобы вспомнить свои прошлые инкарнации и внимательно смотрел на одноклассников в надежде увидеть ауры. Ничего такого у меня не получалось, но я объяснял это своей неопытностью.

Больше всего мне понравилась идея переселения душ. Я подумал, что в прошлой жизни наверняка был какой-нибудь французской принцессой (или даже королевой), отсюда, наверное, все эти странные привычки и мой интерес к истории.

Наконец, долгожданный день наступил. Я встречал маму у метро. Был обычный серый зимний вечер. Ледяной северный ветер пронизывал моё видавшее виды пальто, под ногами струилась позёмка, красные грязные трамваи громыхали по рельсам, и серые толпы устремлялись в них, толкаясь, пытаясь втиснуться в узкое горлышко дверей в своих полушубках, куртках и меховых шапках. В это время другие замёрзшие, злые, недовольные люди выходили из метро и шли к остановке, готовые биться за своё место в следующем трамвае. Грязный снег залепил фонари, фары и окна, так что

было темно и уютно. Город был мрачен и неприветлив. Но мне всё равно было радостно от почти что детского ожидания чего-то необычного и сказочного, что должно расставить все точки над *i* и снова сделать жизнь простой и понятной. Из этой массы шагающих, как под звуки неслышного марша, людей вышла мама. Такая же серьёзная, если не сказать озабоченная, как все остальные, но я-то знал, что за этой озабоченностью кроется тайное знание.

Собрание проходило в подсобке бывшего дома культуры, переделанного под ночной клуб, который впрочем, был открыт только по пятницам и субботам, а в середине недели здание пустовало. В небольшом помещении, чуть меньше школьного класса, стояло несколько парт, расставленных буквой «П». На бежевых стенах, выкрашенных так давно, что они стали коричневыми, висели старые календари с видами моря, котятками и цветами. В помещении не оказалось ни одного окна, но зато было достаточно ламп дневного освещения, дававших слишком яркий, почти театральный свет. В этом свете были видны малейшие детали: одинокий гвоздь на стене, которому не досталось календаря с котятками; потрескавшаяся фанера парт (если потянешь её, она не сломается сразу, а будет отходить от стола полосами); покосившаяся дверь шкафа (которую закрыли и задвинули внутрь, чтобы она не отвалилась совсем). Всё это создавало ощущение заброшенности, но в то же время возрождения. Я подумал, что у помещений тоже есть своя судьба, часто не очень счастливая. Эта комната, наверное, предназначалась для заседаний работников культуры, а может, в ней проводились лекции о вреде курения и алкоголя. И теперь вот с этими партами она похожа на залу, приготовленную не то для поминок по директору школы, не то для тайной вечери.

Второе было больше похоже на правду, наверное, потому, что настроение царило мистическое. На этой вечере при-

существовали одни только женщины — человек десять. Когда мы пришли, они разливали чай по старым потрескавшимся столовским чашкам и говорили о житейских проблемах: «Так холодно, а сапог-то теперь нормальных не купить — где такие деньги взять-то?». Мама представила меня: «Вот мой сын Артём» — и сидевшие женщины поздоровались со мной, не называясь, полагая, очевидно, что я всё равно их всех не запомню.

Мы ждали Веру Николаевну, лидера группы, она вела собрания и была чем-то вроде гуру. Ей доверяли, её слушались, её уважали. Войдя, она поздоровалась с каждой участницей отдельно и только после этого подошла к нам.

Вера Николаевна находилась в том же возрасте, что и все остальные, — около сорока. Первые морщины только начали появляться на всё ещё красивом лице. Она была в прекрасной форме, хотя чувствовалось, что полнота придёт весьма скоро. Но меньше всего она воспринималась как Женщина. Не было в ней ничего мягкого, кокетливого, игривого — того, что порой остаётся в женщинах до самой старости. Если одеть её в монашеское одеяние, она бы походила на деву Марию, сошедшую с картины художника Раннего Возрождения. Брови всегда сдвинуты и чуть приподняты, губы сжаты, светло-русые волосы собраны в пучок сзади так, что составляют единую линию с чуть вытянутым, строгим, но очень спокойным лицом.

Она взяла меня за плечи и долго внимательно смотрела мне в глаза. У меня не было возможности отвести взгляд — так близко было её лицо. Эти большие голубые глаза, казалось, проникали в самую глубину твоего естества, понимая сразу, что ты из себя представляешь и о чём думаешь. Но это не вызывало дискомфорта. Наоборот, они будто гипнотизировали тебя, так что хотелось, чтобы они смотрели в тебя ещё и ещё, потому что от этого взгляда на душе становилось спокойно.

Потом все сидели за партами и разговаривали. Кто-то заводил тему, а остальные либо рассказывали о том, что происходит у них, либо пытались дать совет. Вера Николаевна молчала до последнего и просто слушала, хотя все, несомненно, ждали её слов.

— Я знаю, что одна из моих кармических задач — найти общий язык с сестрой. Но это никак не получается. Я стараюсь и так и эдак, но постоянно сама срываюсь, и мы начинаем опять ругаться, — рассказывала толстая армянка с крашеными красными волосами (говорила она, впрочем, безо всякого акцента).

— Я тебя понимаю, Манана, — отвечала ей другая участница, — у меня то же самое с мамой. Но надо смириться. Каждый день просыпаться и спрашивать себя, что хорошего я могу сделать или сказать этому человеку, чтобы сегодняшний день прошёл мирно. Это не всегда получается, потому что сестра твоя наверняка не заинтересована в том, чтобы вы жили тихо под одной крышей, но надо стараться.

— Или попробуй разобраться, почему твоя сестра так на всё реагирует, — сказала вдруг моя мама, — может, просто у неё тоже много проблем, а она несёт их все домой, вот вы и цапаетесь. Предложи ей представить, что когда она входит в квартиру, в дверном проёме льётся такой небесный водопад, который смывает с тебя всю грязь и раздражение. И тогда дома будет мир и покой.

— А может, она просто энергетический вампир? Ей надо подпитываться от тебя постоянно? Тогда нужно защиту ставить каждый раз, когда вы встречаетесь.

И всё в таком духе. Я подумал, что идею с водопадом маме неплохо было бы использовать самой, хотя она, скорей всего, произнесла это всё для меня.

Как и все, я ждал мнения гуру. Меня не интересовала история Мананы и её сестры, но было важно откровение,

которое должно за ней последовать. Наконец, Вера Николаевна заговорила. Тихо, но чётко произнося каждое слово. Поскольку все тут же затихли, её было хорошо слышно, хотя она и сидела на другом конце стола.

— Манана. Я смотрю на тебя сейчас и вижу стрелы злости, которые исходят от твоей ауры. Ты вся искришься, как грозовая туча. Расслабься. Посмотри внутрь себя и спроси себя, хочешь ли ты мира в своём доме. Мы всё время говорим, — и тут она начала пророчествовать, обращаясь ко всей группе, — что хотим решить те или иные проблемы. Найти мир в семье, вернуть мужа, жить в согласии с детьми. Это хорошо, что мы так говорим, но так ли это на самом деле? Мы думаем, что мы понимаем наше предназначение, но готовы ли мы его принять? Может быть, секрет не в том, чтобы заставить успокоиться тех, кто рядом с нами, а в том, чтобы смириться самому? Давайте сделаем сейчас простое упражнение, — и она заговорила медленнее, будто хотела усыпить всех, кто находился в комнате, — закроем глаза, откинемся на спинку стула, хотя они и не слишком удобные; расслабимся так, будто мы не в этой комнате, а у себя дома, в своём любимом кресле или на диване; будем дышать ровно и медленно, медленно и ровно. Я призываю вас отключиться от мира, забыть, где вы и что вы здесь делаете, просто расслабьтесь. Давайте подумаем о том близком человеке, который доставляет вам больше всего беспокойства и неприятностей. Это может быть ваша мама, ребёнок, сестра, отец, муж. Давайте вспомним, когда последний раз вы выясняли отношения, вспомним, как вам было плохо, прочувствуйте всю злобу, которая владела вами, и не выходите пока что из того состояния, в которое погрузились, — она замолчала на некоторое время. — А теперь давайте вспомним моменты счастья, любви с этим человеком, минуты, когда вам обоим было хорошо друг с другом. И давайте простим того человека, на которого

мы были злы и который нас так раздражал несколько мгновений назад, отпустим негативные эмоции, чтобы осталась только любовь и радость от совместной жизни.

Я думал о маме — о ком же ещё? И у меня получилось достичь необходимого мира в душе, но я не был уверен, надолго ли меня хватит. Наверное, до тех пор, пока снова не придётся ехать на дачу рубить дрова или ещё что-нибудь в этом духе.

Потом они говорили об астральных телах, экстрасенсорике и прочих вещах, которые были мне не очень понятны. Под конец собрания, длившегося почти два часа, Вера Николаевна подошла к нам и сказала маме:

— Надо мальчику дать литературу почитать, чтобы ему скучно не было. Позвони мне завтра, я тебе скажу, что выбрать.

С тех пор мы стали ходить на собрания вместе. Дома я читал «литературу», улавливая только общий смысл, но она завораживала меня необычными определениями и новым отношением к миру. Мне казалось, что я понял своё предназначение, которое, впрочем, не был готов с кем-либо обсуждать. Мне нужно было справиться со своей болезнью и решить нашу кармическую сцепку с мамой. Обе эти вещи, несомненно, были связаны между собой, невозможно было найти решение для одной, не затрагивая вторую. В этом-то и была вся сложность. Несмотря на еженедельные рассуждения о смирении и любви, водопады в прихожей, выходы в астрал и прочие приёмы организации счастливой семьи — ругани в нашем доме меньше не становилось. Война шла полным ходом с той только разницей, что перемирия теперь стабильно случались раз в неделю. Более того, поняв, как глубоко я поверил в Веру Николаевну и её учение, мама начала использовать его против меня.

— Артём. У тебя за последнее время аура стала ещё более красной, что свидетельствует об эгоцентризме. Я с Верой Николаевной говорила на эту тему, она со мной согласна.

Есть реальная опасность, что ты замкнёшься на себе и никогда больше не выйдешь из этого состояния. Тебе надо быть более открытым, не раздражаться против меня и не думать только о себе. Ты не один живёшь.

Аура меня, впрочем, не так беспокоила, как то, что даже во всех этих книгах я не находил интересующую меня информацию. Отношения между полами были представлены исключительно со стороны семейных проблем. Даже в полюбившемся мне Кастанеде, который вольно рассуждал на разные волнительные темы, Дон Хуан боролся со своим пристрастием к женщинам, но ни о чём ином там не было ни слова. Можно было сделать только один вывод: Путь Воина — не для меня, пока я не разберусь с этим препятствием.

Артура я в эту историю по-прежнему не посвящал. Это было несложно: собрания проходили вечером, когда он уже уезжал домой. Я попытался подсунуть ему «Путешествие в Икстлан», но для него Кастанеда мало чем отличался от Льва Толстого: «Слишком она толстая, эта книга, я её не прочитаю». Я думал иногда, чем мы связаны с Артуром, есть ли у нас кармическая сцепка и как она влияет на моё предназначение.

Он привлекал меня в разных смыслах этого слова. Я мечтал о нём иногда, оставшись один; он заигрывал со мной и продолжал провоцировать физические контакты, которые только со стороны могли показаться невинными, но эти шутки никогда не заходили слишком далеко; я не любил думать или анализировать эти моменты, потому что они напрямую касались запретной темы. Артур был рядом, я не представлял свою жизнь без него, и с этим ничего нельзя было поделать. Но, может быть, дело было не в Артуре, а просто «Давно сердечное томление теснило ей младую грудь; душа ждала кого-нибудь»?

Каждый раз, когда он в очередной раз шутливо прижимался ко мне в коридоре («Ну что, Тёма, давай делом займёмся»)

или делал предложения наподобие: «Давай просто полежим рядом и подрочим, а?»), меня будто окутывал туман. Хотелось со всем согласиться и отдаться на волю случая. Но я не знал, насколько серьёзен был в своих намерениях Артур, и боялся потерять его. Хотя, наверное, основной причиной, по которой я отталкивал его каждый раз, было то, что я боялся самого себя. Как далеко готов зайти я и что из всего этого получится? Я уже допустил досадную ошибку несколько лет назад, когда начал «блтоваться руками», и с тех пор этот недуг не оставляет меня ни на день. Наверное, не стоит пробовать что-то ещё, иначе окончательно погрязнешь в пороке. Покуда ничего не произошло и ничто не названо своими именами, можно делать вид (прежде всего перед самим собой), что всё нормально. Я прилагал немалые усилия к тому, чтобы не дать волю своим страстям, удержать их под контролем, но они не могли находиться в подполье вечно.

Поскольку в школе я всё время был с Артуром, мы не заводили никаких новых друзей. У Артура, правда, постоянно появлялись разные девушки, некоторые оставались надолго, другие исчезали быстро, и он либо знакомил их со мной, либо нет — в зависимости от того, насколько серьёзными считал очередные отношения. Мне они все не нравились, но поделаться с этим я ничего не мог, поэтому приходилось делать вид, будто я рад знакомству.

Однажды, когда Артур болел дома (взаправду — с температурой, кашлем и осипшим голосом), я стоял на очередной перемене в рекреации и размышлял, не стоит ли и мне заболеть. Ко мне подошёл тот самый парень, которого я видел на приёме у хирурга в военкомате.

Он был таким же худеньким скромным мальчиком, как и я. На его простом русском лице тоже красовались прыщи, а на голове торчал чуб, по обеим сторонам которого уже начинали прорисовываться впадины залысин. Он был немного

выше меня и из-за этого сильнее сутулился, так что в профиль был похож на скобку.

— Привет, — у него была особая манера говорить. Он, видно, стеснялся не меньше моего, поэтому каждое слово или предложение прорывалось сквозь толщу робости. Казалось, он проталкивал мяч сквозь слишком узкую баскетбольную сетку, мяч сначала застревал в ней на мгновение, а потом вываливался с большей, чем нужно, скоростью.

Я поздоровался в ответ. После обмена приветствиями и знакомства («Я Сергей» — выпал мяч из сетки) он вдруг спросил:

— А что к тебе эти парни после военкомата привязались?

Мне стало стыдно за тот день, о котором я было уже и думать перестал, к тому же совершенно не улыбалось обсуждать его с парнем из нашей школы. Я пробурчал что-то в ответ, чтобы Сергей понял — мне эта тема неприятна. Мы поболтали немного о чём-то и разошлись по разным классам. На следующей перемене он снова нашёл меня. Оказалось, что он был моим ровесником, но учился в физико-математическом классе на год младше, жил неподалёку, в общем, ничего интересного. Он ходил в нашу школу с первого класса, но мы до сих пор не пересекались. Мы ни разу не произнесли имя Артура, хотя оно витало в воздухе — неспроста Сергей подошёл ко мне именно в тот день, когда я был один.

Мы не делали ничего плохого по отношению к моему другу, но я чувствовал, что так было лучше, и не собирался ни рассказывать Артуру о своём новом знакомстве, ни тем более сводить их. Сергей был полной противоположностью Артуру, и мне казалось, что они никогда не нашли бы общего языка.

Вообще-то Артура не хватало. С Сергеем было интересно, но не было в нём сумасшедшинки, которую я любил в Артуре. Он был похож на меня и поэтому общение получалось

пресным. К тому же мы стеснялись друг друга, и разговор каждый раз получался довольно натянутым. Но я не умел показать это, да и не хотел, чтобы он подумал, будто мне неприятно стоять с ним на переменах — всё лучше, чем быть одному. К тому же я был уверен, что с возвращением Артура общаться мы перестанем.

Артур болел вторую неделю, и в один из дней я пригласил Сергея к себе прогуливать очередную физру. Он согласился, хотя ему пришлось пропустить другой урок.

По дороге я поскользнулся и сел на грязный мокрый снег, выпачкав брюки. Хорошо, что у меня с недавних пор были запасные, так что можно было просто переодеться и вернуться в школу, а не бросаться застирывать и утюжить грязные штаны, да ещё перед новым приятелем. Когда я переодевался, Сергей сидел напротив. Сначала он смущённо молчал, а потом так же робко начал шутить на тему стриптиза:

— О, Артёмка, давай, детка, вот так хорошо, — выпало из баскетбольной сетки целое предложение.

Я подхватил игру и начал двигать бёдрами, стоя в одних трусах и рубашке. Сергей вдруг встал, подошёл ко мне и стал танцевать рядом, прижимаясь ко мне сзади. Он обнял меня так, как это делал иногда Артур, но я не оттолкнул его. У меня перехватило дыхание, мне стало страшно и приятно. Я не знал, что случится дальше и просто продолжал играть в стриптиз. Руки Сергея опустились ниже и нашли то, что искали:

— О, Артём, ничего себе. Надо что-то делать с этим.

— А что?

— Ну, не знаю. Но нельзя же просто так стоять.

Не глядя на Сергея, я задёрнул шторы, достал из шкафа одеяло и сказал ему:

— Только я при тебе раздеваться не хочу. Давай ты разденешься в соседней комнате, а я тебя буду ждать под одеялом.

Мы лежали друг на друге и совершали движения, которые, по нашему пониманию, назывались «заниматься любовью». Я первый раз в жизни видел чужой мужской член, вернее, я его не совсем видел, под одеялом было темно, но он был рядом, большой, горячий, приятный на ощупь, такой же, как мой, но совершенно другой. Сергей попытался поцеловать меня, но мне не понравилась мысль целоваться с парнем — было в этом что-то противоестественное. Поелозив под одеялом, мы решили, что пора собираться в школу, потому что времени до следующего урока почти не оставалось.

Вернувшись с уроков, я принялся за то, чего мы так и не добились с Сергеем, мучаясь мыслью, что всё это как-то пугающе ненормально. Самое ужасное, что мне нравилось, вспоминая, представлять тёплое тело Сергея рядом с моим, воображать, что это его руки делают то, что сейчас я делал сам. Я решил, что нужно остановиться, иначе я стану тем, кем меня называл тот бугай из военкомата.

На следующий день у нас снова нашёлся предлог пойти ко мне в гости после уроков. В этот раз я не стал доставать одеяло, хотя окна всё-таки зашторил.

После нескольких минут возни Сергей отстранился от меня и осторожно сказал:

— Не, Артём, так не пойдёт. Может, попробуем что-нибудь по-взрослому сделать. Ты в рот когда-нибудь брал?

— В рот?! — я был по-настоящему шокирован. — Нет, не брал... А ты?

— Нет, я тоже не брал, но в порнушке видел.

Я в жизни не видел ни одной порнушки, если не считать тех многострадальных карт, затёртый валет от которых до сих пор был припрятан в томике Лескова. Но теперь я припомнил, что были там какие-то эпизоды со ртом. Принцесса, кажется, делала что-то такое свинопасу. Вообще-то мне стало немного противно. Но эта брезгливость была поверхностная,

слабая, наносная. Она была смыта прорвавшимся вдруг желеванием, которое я быстро подавил, вернув его в те глубины, где ему надлежало быть. Но не тут-то было.

— Ну, давай попробуем. Только ты член помой. С мылом.

Мы по очереди сходили в ванную и снова легли на диван. Его член был рядом с моим лицом, такой же горячий и волнующий, как вчера. Я повременил немного, проверил, что он был достаточно чист, и осторожно взял его в рот. Я старался не сжимать губы, чтобы не укусить Сергея, и просто делал те же движения, что обычно руками. Внезапно мне пришла в голову мысль, которая заставила меня прекратить мою работу и сказать:

— Слушай, только если ты решишь кончить, то ты мне заранее скажи. Не надо мне этого в рот делать.

— Хорошо. Но до этого ещё далеко.

Через какое-то время я устал. Ничего не происходило, мышцы лица болели, хотелось закрыть, наконец, рот.

— Ну что, теперь ты мне?

— Давай. Только сходи ещё раз член помой, а то вдруг он там уже не такой чистый.

Мы поменялись местами. Сергей был так же осторожен, как и я, было видно, что он никогда не делал этого раньше. Я не чувствовал ничего особенно приятного, но меня возбуждала сама мысль о том, что мой член находится у кого-то во рту. Через какое-то время ему это надоело, и мы повторили наше вчерашнее упражнение, лёжа друг на друге. Я взял его член в руку и попытался делать то же, что обычно делал себе, но потом оставил его, подумав, что ему это может быть неприятно. Сергей, впрочем, продолжил сам, и через какое-то время я почувствовал на своём животе липкую тёплую массу.

— Да ты ещё и онанист, — вырвалось у меня.

Сергей смутился:

— Ничего я не онанист, ты сам начал.

Я вытерся майкой всё с той же ханжеской брезгливой гримасой. Мы торопливо оделись, после чего Сергей собрался уходить. Я быстро попрощался и закрыл за ним дверь, потому что для меня наш «секс» был ещё не завершён.

После всего произошедшего сомнений не было: надо бороться с этими проявлениями, пока они не засосали меня окончательно. И речи не могло идти о том, чтобы повторить тот опыт с Сергеем или с кем бы то ни было ещё. Но поскольку ни в одной из маминых книг я не нашёл советов, как поступать в таких случаях, а говорить на эту тему было не с кем, я дал себе обещание, что буду работать над собой, пытаться решить кармическую задачу так же, как дон Хуан преодолевал свои трудности с женщинами. Нужно быть сильным. С меня хватит уже того, что онанист-то как раз я. Ну, то есть, Сергей тоже вполне может им быть, но меня это мало касается. Самое главное, нельзя усугублять ситуацию такими вот играми.

Меня спасло то, что Артур, наконец, выздоровел, и с Сергеем мы больше не разговаривали. Мы здоровались в коридорах и могли переброситься парой слов на перемене, но он понял, что я не хочу продолжения этой «дружбы».

Впрочем, если с Сергеем было легко разделаться в реальном мире, то из моей головы он никуда не делся. Снова и снова я прокручивал детали тех двух проведённых вместе дней, и всё это неизменно заканчивалось одним и тем же. Я был болен, безнадежно болен и не знал, как мне быть дальше. Оставалась одна надежда — Вера Николаевна. О том, чтобы напрямую спросить её, не могло быть и речи. Но вдруг она увидит что-то своим третьим глазом и всё-таки даст мне совет, как справиться с самим собой?

Несколько собраний подряд я ждал подходящего случая. Всё, что мне было нужно, — это остаться с Верой Николаевной наедине. Ну, не совсем наедине, конечно, но я не был готов рассказывать о себе в присутствии всей группы. Тем более

мамы. Если бы только нам удалось поговорить приватно... Я был почему-то уверен, что она даже слова мне не даст сказать, а просто укажет, что делать дальше. В крайнем случае, если она захочет, чтобы я начал разговор первым, наплету что-нибудь про проблемы в школе и с девочками.

У маминой группы были какие-то сложности с арендой помещения, и одно из собраний решили провести у нас дома. Мама взяла выходной и с утра суетилась так, будто принимала у себя английскую королеву и готовила ужин на двести кувертов. Мы вынесли из большой комнаты почти всю мебель, чтобы освободить пространство, решив, что все сядут прямо на палас. Потом она не только вымыла полы во всей квартире сама, не доверив это мне, но и прошлась руками по ковру, собирая прилипшую грязь, не поддававшуюся пылесосу. Немного подумав, она испекла пирог с вареньем — тот самый пирог, который я так любил с самого детства, мама не пекла его уже много лет. В конце концов, всё было готово. Большая комната казалась непривычно пустой и теперь оправдывала своё название. На фотообоях с видом карельского соснового бора светлело пятно в том месте, где стоял передвинутый диван, а в остальном всё было, пожалуй, готово и к приёму королевы. Я почему-то тоже волновался и долго не мог решить, что надеть, хотя выбор был не особенно богатый: рубашка смотрелась бы неуместно торжественно, а футболка — слишком по-домашнему. В результате я остановился на футболке и сером джемпере, старом и потёртом, но он по-прежнему мне нравился.

Собрание прошло, как и все остальные. Сначала обсуждались семейные проблемы одной из участниц, потом все рассуждали про ауры, эфирные тела и связь их цвета с заболеваниями. Мне это было не очень интересно, но я сидел с таким видом, будто присутствовал на совещании олимпийских богов и ловил каждое слово.

После того как основная часть закончилась, мама пригласила всех задержаться на чай с пирогом. Большая часть гостей вежливо отказалась, остались только Вера Николаевна и ещё три женщины, составлявшие сердцевину группы.

Мы прошли на кухню. Мама вынула пирог из духовки и начала разрезать его. Я мыл посуду, Вера Николаевна стояла, прислонившись к столу рядом со мной. Я ждал, когда она посмотрит на меня, чтобы сказать что-то, но боялся при этом привлечь внимание остальных. Она спросила маму, не нужно ли ещё чем-то помочь, мама ответила «нет», но Вера Николаевна тем не менее пошла в большую комнату собрать оставшиеся чашки. Вот он, мой момент, которого нельзя упустить. Я закрыл кран, быстро вытер руки и направился за ней.

В комнате Вера Николаевна ласково посмотрела на меня, как будто ждала, что я появлюсь следом.

— Ну, что ты мне, Артём, хочешь сказать? — спросила она без тени издёвки, но таким тоном, будто знала не только, что я собирался поговорить с ней, но и о чём именно я хотел спросить.

— Ну... ничего особенного, — запнулся я, не зная, с чего начать.

— Артём, я вижу, тебя тревожит что-то, но ты не хочешь говорить об этом с мамой. Это нормально. Твоя мама — прекрасный человек, но не всё возможно обсуждать с родителями.

Мне очень хотелось открыться ей. Я верил, что Вера Николаевна поймёт меня и найдёт простое и понятное решение. Но я не знал, как произнести бурлящие во мне слова, в какую форму облечь мои чувства, переживания и страхи? Я находился в ступоре, понимая, в каком глупом положении нахожусь: я же сам создал условия для этой беседы и вот теперь не мог выдать из себя ни слова.

— Артём, у тебя есть какая-то девушка на примете?

— Нет, — соврал я, потому что Ира вовсе не была тем предметом, который я желал обсуждать.

— Ну а что тогда? Друзья же есть у тебя сейчас? Я знаю, что когда ты был маленький, тебе было трудно найти общий язык со сверстниками, но теперь, вроде, это решено?

— Есть у меня один друг, да.

— И что же, тебе нравится с ним?

— Да. Но знаете, Вера Николаевна, иногда у меня в голове происходят разные вещи, которые не должны бы происходить на самом деле, понимаете? — мне было сложно подобрать слова, поэтому я говорил очень медленно, боясь сказать лишнее, но желая, чтобы она услышала невысказанное, — и вот с другом с моим тоже. Я даже не знаю, как объяснить ...

— Артём, — она прервала меня на полуслове, взяла за плечи, как в тот раз, когда я впервые пришёл на собрание, и посмотрела в глаза. — Никогда! Слышишь, никогда не делай больше того, что ты делаешь со своим другом, понял? И выкинь из головы всё, что тебе там мешает. Освободись. Нельзя думать и делать то, что ты делаешь и думаешь. Но кроме тебя никто не сможет с этим справиться.

Мне стало не по себе. Она всё знала, всё понимала — и осуждала моё поведение. Более того, она рассматривала это не как болезнь, но как порок, с которым я должен совладать сам.

Вера Николаевна отпустила меня, и мы вместе пошли на кухню с горой чашек и блюдец в руках. Когда мы зашли, она вдруг радостно сказала, обращаясь к маме:

— Знаешь, я сейчас посмотрела не твоего Артёмку и увидела: у тебя будет трое прекрасных внучат. Одна девочка и два карапуза.

Второй раз за день от её слов у меня внутри всё перевернулось. Девочка и два карапуза. Это хорошо, конечно, потому что, помимо всего прочего, означало, что мне удастся справиться. Но несмотря на то что новость была положительной, она покорила меня, настолько чуждыми мне казались карапузы. Я корил себя за это, ведь Вера Николаевна не могла

ошибиться: если она видела что-то — это непременно должно быть правдой. Но мне стало страшно при мысли о пути, который мне придётся пройти, чтобы оправдать её пророчество.

Я окончательно запутался. Никогда не повторять того, что случилось с Сергеем — не было ничего проще. Но как можно не думать? Как освободиться от того, что мешает мне? И ещё эти карапузы, которые когда-то, видимо, очень нескоро, должны появиться на свет. Я чувствовал себя слабым, потому что не знал, с чем мне нужно бороться. Враг был, но он был невидим. Это была не просто дурная привычка, от которой легко отказаться — типа перестать грызть ногти или бросить курить. Это нечто было частью меня самого. Перестать смотреть на парней в школе? Перестать волноваться в раздевалке спортзала? Перестать перед сном думать про свинопаса, Артура, а теперь ещё и про Сергея? Я ведь уже пытался бороться с этим несколько лет назад, когда всё только начиналось, но без особого успеха. Попробовать ещё раз? Но какой смысл, если я заранее знаю, что моя затея обречена на провал? Может, не нужно вовсе ничего делать, ведь если Вера Николаевна предрекла этих детей, то они должны родиться независимо от того, буду я бороться со своим пороком или нет?

После этого разговора тревожность и осознание собственной ничтожности и испорченности не оставляли меня ни на секунду. Я старался меньше общаться с Артуром, мне казалось, что он провоцирует меня и тем самым препятствует моему выздоровлению. Я перестал даже здороваться с Сергеем, каждый раз при встрече принимая серьёзный вид и кивая головой с таким видом, будто спешу на заседание кабинета министров. Я пытался не ругаться с мамой, потому что отношения с ней ведь тоже были частью моей кармической задачи, но не спорить с ней не получалось, поводы для скандалов множились, как грибы после дождя. Я был бы рад совсем запереться, скрыться от мира в своей комнате, как

в келье, не разговаривать и не видаться ни с кем, но это было невозможно, к тому же самое страшное происходило именно в те моменты, когда я оставался наедине с самим собой.

Погружённый в себя, я не обращал внимания на то, что происходило вокруг, и почти пропустил новую интрижку Артура. Вообще-то он знакомил меня не со всеми своими девушками, менявшимися достаточно часто, но если отношения затягивались более чем на неделю, их было технически невозможно утаить. Ну, или, скорее, Артуру было трудно скрыть меня от этих знакомых.

Катя бросила школу после девятого класса, проваландалась пару лет без работы и учёбы и теперь готовилась поступать в лицей. Раньше он назывался ПТУ, и готовили в нём строителей, укладчиков плитки и плотников. А теперь его переименовали, повесили над дверями красивый голубой плакат и стали выдавать дипломы менеджеров по туризму и ещё чему-то непонятному, но жутко модному. Катя только и говорила, что об этом лицее: мол, пусть место не очень-то известное, но зато дают специальность, так что потом можно легко найти работу.

Она была девушкой простой, невзрачной. Если представить себе час пик в метро, или толпу на первомайской демонстрации, или людей, выходящих вечером из фабричной проходной, то эта толпа состояла бы из таких вот незаметных девушек. Небольшого роста, с чуть полноватой фигурой, они заполняли пространство трамвая и стояли в очередях в универмаге. Простые русые (или даже серые) волосы всегда собраны в хвост и затянуты невидимой резинкой. Губы, глаза, нос, лоб — всё это казалось слишком русским, деревенским и абсолютно незапоминающимся. Когда я увидел её первый раз, она была одета в серое пальто, похожее на крестьянское платье конца прошлого века. Мне показалось, что это птичница Аграфёна сошла со страниц Лескова или Бунина.

Я подумал, что не стоит уделять ей много внимания — с такими данными она недолго продержится. Но когда Артур сказал мне, что они встречаются уже с месяц, я был удивлён неслыханной длительностью их романа.

При ближайшем рассмотрении я обнаружил в Кате два неоспоримых достоинства, которые можно было считать особыми приметами. Во-первых, она смеялась. Не просто смеялась, а заразительно хохотала по любому поводу. Стоило кому-то пошутить, пусть даже неудачно, она широко раскрывала свои серые глаза, поднимала голову, как будто собиралась нырнуть, и заливалась раскатистым звонким смехом, от которого все вокруг начинали смеяться вслед за ней. При этом она долго не могла остановиться и часто, уже успокоившись, вспоминала причину этого веселья и начинала хохотать снова. Всё смешило её одинаково сильно: анекдоты Артура, наш с ним пинг-понг с его скабрёзностями и моей чопорной реакцией, чьё-то падение на гололёде на улице, смешная шапка на голове у прохожего. Если задуматься, это можно было объяснить той же простотой, только теперь душевной: смеялась Катя над простыми житейскими вещами, которые давно не веселили никого, кто был старше восьми лет. Но в этом было столько детского очарования, что невозможно было осуждать её, наоборот, хотелось видеться с ней чаще и чаще.

Если первая её отличительная черта была умилительно детской, то вторая, напротив, делала её взрослее, чем она была на самом деле. Она была старшим ребёнком в большой семье, так что ей с детства приходилось заботиться о младших братьях и сёстрах. Это приучило её нянчиться и сюсюкаться со всеми вокруг, вмешиваться в бесконечные повседневные проблемы, успокаивать и заботиться о каждом, кто попадал в её поле зрения. «Ну что, Артурчик, получил-таки двойку за итоговую контрольную? — говорила она тоном доброй ма-

маши-клуши без доли шутки, но с искренним состраданием и стремлением подбодрить, — ну не расстраивайся, мой зайчик. Это ведь просто контрольная, верно? Всё равно они тебе в четверти тройку должны поставить. Или хочешь, пойдём вместе к учительнице, я её попрошу моему Артурчику поставить троечку. Пирогов ей снесу, вареников», — и, завидев улыбку на хмуром секундой раньше лице Артура, начинала заливисто хохотать.

Я не заметил, как проникся её очарованием, мне стало не хватать её, когда мы долго не виделись. Она и меня взяла под своё крыло, каждый раз стараясь приободрить, если я был не в настроении, что в последнее время случалось достаточно часто. Артур был не против нашей взаимной симпатии, наоборот, ему нравилось, когда мы проводили время втроём.

У Кати всё было просто. Люди делились на хороших и плохих, но плохие тоже были хорошими, только надо было до этой их хорошести докопаться. У большинства людей, наверное, просто нет желания и времени анализировать окружающих, чтобы обнаружить глубоко спрятанные положительные качества. Кате же не требовалось никаких усилий, чтобы понять, за что можно любить того или иного человека. Я никогда не видел её не только расстроенной, но даже сколько-нибудь озабоченной. Если не было повода для смеха, она просто с довольной миной болтала о чём-то несущественном с довольным лицом. Когда мы были вместе, я заражался этим её оптимизмом. Конечно, не стоит расстраиваться по пустякам, когда вокруг столько всего интересного, занимательного или просто смешного. Её присутствие действовало на меня, как умный и обходительный доктор на душевнобольного: вот пациент носился по палате, как ужаленный, а только вошёл врач и сказал ласково пару слов, тот уже сидит на постели и счастливо улыбается. Поэтому

если сначала я просто радовался ей, вернее, их визитам, то потом начал искать Катиного общества.

Это было не так легко. Катя была несвободна. Она жила с мужчиной, который был гораздо старше и, более того, собиралась за него замуж. Артур, наверное, не хотел мне этого рассказывать, стесняясь своего щекотливого положения, но сама Катя не видела в этой ситуации ничего странного. Во время одной из наших встреч в самом начале знакомства она вдруг сказала:

— Мы с Андреем на выходные на дачу к его родителям поедем. Уезжаем в пятницу утром, так что я с вами, мальчики, не увижусь теперь до следующей недели.

— А кто это Андрей? — спросил я.

— Ну-у, муж мой будущий, — протянула Катя, явно удивлённая тем, что я до сих пор не в курсе.

В комнате повисла пауза. Я не знал, как обычно реагируют в таких случаях, Артур потупил глаза и не произносил ни слова. Только Катя, казалось, не была ничуть смущена:

— А! Артёмка, тебе Артурчик не рассказал ничего... Ну, ничего страшного. Да, так вот получилось, что я не одна. Есть у меня мужчина. Андрей его зовут. Да вы не расстраивайтесь, мальчишки, он у мамы в деревне, вам он ничего не будет стоить, — процитировала она известный фильм и засмеялась.

Адюльтер меня мало беспокоил с моральной стороны, но мне было интересно, что думает по этому поводу Артур. Насколько я знал своего друга, играть второстепенные роли он не любил. Тем более Катя даже не подавала вида, что собирается в перспективе бросить своего Андрея. Но Артур на эту тему говорить не хотел и каждый раз, когда я намекал на эту неприятную особенность их отношений, мрачнел и переводил разговор на другую тему. У меня же не доставало духу спросить его напрямую. Да он, наверное, всё равно бы ничего не ответил.

По вечерам Катя возвращалась домой, но после школы мы теперь всегда были вместе. Обычно они сперва ехали к Артуру, а потом возвращались в наш район и приходили ко мне. Пару часов мы болтали, потом Катя уходила домой, Артур оставался ещё ненадолго — так, чтобы уйти перед самым приходом мамы. Иногда Артур не приезжал, а Катя по привычке заходила. После Дианы она была единственной девушкой Артура, с которой мы сблизились, но, в отличие от Дианы, общение с ней не казалось ни натянутым, ни искусственным. Нам обоим нравилось быть вместе, у нас не было недостатка в темах для обсуждений, и Катя никогда не заводила разговоров, которые могли бы меня смутить или поставить в неловкое положение по отношению к Артуру. Порой я провожал её до границы нашего микрорайона: она не позволяла мне ходить дальше, чтобы не встретиться ни с кем из знакомых мужа.

Но даже в нашем микрорайоне мы могли долго ходить кругами около моего дома и разговаривать. Чаще всего это была простая, ни к чему не обязывающая болтовня, но иногда мне казалось, что Катя становилась серьёзнее, чем обычно, и тогда за поверхностной простотой проглядывала взрослая, познавшая трудности и разочарования, но тем не менее большая и светлая душа.

Однажды мы шли рука об руку по весенней грязи. Было начало марта. В наших краях это прерванная зима. Кажется, что зима отступила и природа начинает просыпаться. Снег осел и готов исчезнуть, воробьи совсем по-весеннему чирикают в ещё голых ветках деревьев, в воздухе пахнет предстоящим теплом и солнцем, которого, правда, пока не видно. И хочется верить, что зима закончилась, а серым дням и неделям пришёл конец, и скоро можно будет скинуть зимнюю одежду и ходить в одном только свитере, пусть даже ещё не в футболке. Но всем прекрасно известно, что это ложные надежды. Северная весна обманчива. Непременно подует

ещё с Балтийского моря холодный ветер и заставит воробьёв замолчать, а людей — закутаться в зимние пальто.

Я расстегнулся, снял шапку и шарф и держал их в руке, наслаждаясь тёплым воздухом, овевавшим мою голую шею. Были ранние сумерки, когда неясно, то ли уже наступает вечер, то ли просто тучи опустились слишком низко. Катя была осторожнее и раздеваться не стала, мы медленно шагали нога в ногу, не смотря друг на друга.

— А ты что будешь после школы делать? — вдруг спросила она.

— Не зна-аю, — протянул я. — А что?

Этот вопрос мучил меня наряду со всеми остальными. В нашем физико-математическом классе мы могли выбирать из двух вузов, куда поступали почти без экзаменов. Но даже названия этих институтов звучали пугающе, как лай злых овчарок: военмех и политех. Я попытался ходить на курсы высшей математики в военмех, но первый же урок показал, что я не только ничего не понял, но даже и не пытался понять, все эти цифры на доске не вызывали ничего, кроме изжоги. Но альтернативы не было, как не было и ответа на вопрос «Кем ты хочешь стать?». «Пожарным», — хотелось ответить, как в детстве, но я понимал, что сейчас не до шуток.

— Нет, ничего, просто спросила. Ты какой-то грустный в последнее время, Артёмка. Что-то случилось?

— Ничего. А чего веселиться?

— А чего грустить? Обижает тебя кто, котёнок?

Мне захотелось сказать, что нет, никто не обижает, но от этого не легче, уж лучше, чтобы кто-то обижал. Но я сдержался. Слишком многое пришлось бы объяснять.

— Да нет, никто не обижает. Просто нет что-то настроения.

— С мамой нормально всё?

— Ну, как нормально... Ругаемся каждый день, а так ничего.

— А из-за чего ругаетесь?

— Да-а... Так... По-разному. Сложно с ней.

- Переживаешь из-за неё?
- Нет. Привык уже, в общем, не страшно. Из-за неё не переживаю.
- Из-за кого-то другого тогда?
- Нет. Нет никого, из-за кого стоило бы переживать. Знаешь, просто бывает непонятно, что происходит. Раньше мне казалось, что я был влюблён... Ну, там, в одну девушку, и из-за этого страдал. Но теперь понемногу прихожу к мысли, что это было всё несерьёзно: и любовь, и страдания. А теперь, вроде, и нет какой-то видимой причины, но на душе всё равно беспокойно. Понимаешь?
- Понимаю. Мечешься ты просто. Себя найти не можешь.
- Да. Ты права. Не могу. И не знаю, что делать. Не может же это вечно продолжаться?
- Ну почему же не может? — с хохотком сказала Катя. — Может! Некоторые всю жизнь мечутся и никак не успокоятся. Но ты, мне кажется, не из таких. Я тебе вот что скажу, Артём. Сходи в церковь. Не важно, веришь ты в бога или нет, но тебе легче станет, вот увидишь. — Слово «бог» она произнесла по-простому, с «х» на конце: «бох».
- Да. Может быть, — пробубнил я, несколько удивлённый её советом.
- К вопросам религии в нашей семье относились просто. То есть, вернее сказать, не относились никак. Кроме туристических экскурсий по соборам я был в церкви только два раза: на собственных крестинах (мне было лет семь, когда среди маминых подруг прошло поветрие крестить своих уже выросших детей), да ещё на похоронах одной бабулиной подруги. О существовании или отсутствии бога я не задумывался — хватало над чем размышлять и без того. В маминых книгах эта тема, правда, обсуждалась достаточно активно, но я эти места пропускал, богословские вопросы интересовали меня куда меньше, чем переселение душ.

А вдруг действительно можно обратиться за помощью к высшим силам? Не важно, как они называются и где находятся, но что если они смогут открыть в моей душе правильные каналы с хорошей светлой энергией, которая вылечит меня и сделает нормальным парнем? Я решил спросить, что по этому поводу думает Вера Николаевна.

Я подошёл к ней на следующем же собрании. После того нашего разговора я чувствовал себя немного увереннее. Кажалось, что между нами установилась известная только нам двоим связь, и я могу подойти к Вере Николаевне с любым вопросом. Мама делала вид, что не обращает на это внимания, хотя, несомненно, наблюдала за мной. Наверное, она должна была радоваться, что я попрошу совета если уж не у неё, то у человека, которому она доверяет. Может, она думала, что Вера Николаевна тоже станет мне рассказывать про то, насколько красная у меня аура?

— Вера Николаевна, а что вы думаете по поводу церкви? — спросил я простым и даже несколько радостным тоном, будто интересовался её мнением о втором сроке американского президента.

— Церкви? Видишь ли, Артём, Церковь как институт за многие столетия своего существования себя исчерпала. Но сами храмы, куда люди ходят молиться, остались средоточием многих сил. Представь себе, сколько народу приносит туда свои горести, радости, просьбы и жалобы. И всё это там собирается в течение многих веков, — тут она серьёзно на меня посмотрела, — так что если тебе хочется сходить в церковь, не бойся, просто иди. Не обязательно уметь молиться — всё, что нужно, придёт само. Иногда с самим собой сложно пообщаться, когда ты находишься в привычной для себя обстановке, а в соборе, может быть, получится. Но если ты спрашиваешь меня о боге, то это тема для отдельной беседы. Если хочешь, поговорим об этом на следующем собрании.

Нет. На тему существования бога я говорить не хотел. Мне хватало маминой установки, что в мире присутствует некое божественное начало, частица которого есть в каждом из нас, а уж как это начало называть — вопрос вкуса. И логично было сделать вывод, что именно это божественное начало должно помочь мне справиться с самим собой. Оно бы, наверное, давно уже помогло, но было скрыто, задавлено внутри меня. Оставалось только освободить его, чтобы начать новую, чистую и открытую жизнь.

Я решил никому про церковь не говорить. Даже Катя, давшая мне совет, могла проболтаться Артуру. Тот, наверное, промолчит, но про себя решит, что я совсем свихнулся.

Я поехал во Владимирский собор во второй половине дня после уроков. Почему именно сюда? Не знаю. Ничем особенным он не отличался, просто был, на мой взгляд, достаточно старым, или, как говорили некоторые, намоленным, но стоял вдали от туристических маршрутов. Он показался мне настоящим, этот храм, потому что сюда приходят, чтобы говорить с богом, а не рассматривать фрески.

Мне было немного боязно входить внутрь. Казалось, все станут на меня смотреть и перешёптываться, пытаюсь отгадать причину, приведшую в церковь парня вроде меня. Так что я принял самый что ни на есть скучающий туристический вид, как будто пришёл с культурно-познавательными целями. В храме было тихо, темно и пусто. Маленькая бабушка в темной одежде снимала огарки с подсвечников, ещё пара старух молились по углам, да тётки за столом с книгами и свечами кудахтали о чём-то отнюдь не божественном:

— Да, ага, ну а она что?

— А она и говорит мне: «Нюра, да я же тебя предупреждала!»

— Ну, ага, ну а ты что?

— А я ей и отвечаю: «Ну так что же, что предупреждала, так ведь никто же не знал, что так выйдет!».

Когда за мной закрылась, громко скрипнув, дверь, они на мгновение замолчали, посмотрели в мою сторону, а потом кудахтали снова, как будто меня тут вовсе не было.

— Да ты что? Ну, так ведь и есть! Ну, а она что?

Я зашёл за колонну так, чтобы меня не было видно тёткам-продавщицам. В дальнем углу стояла низенькая махонькая старушка, вся закутанная в миллион платков, но она была так увлечена своей молитвой, что я без труда представил, будто я здесь один. Или не один? С икон со всех сторон на меня смотрели десятки глаз. Я понимал, что это просто изображения, нанесённые темперой на дерево, но не мог отделаться от ощущения, что они смотрят не просто на меня, а внутрь меня. Что я перед ними — раскрыт и ясен, как шахматная доска для игрока. Мне подумалось, что окружающие меня люди глядят на меня, как баран на новые ворота, видят что-то сложное, но даже не пытаются разобраться, что к чему. Или делают какие-то предположения и выводы, которые заранее можно считать неверными, потому что для верных выводов у них нет ни опыта, ни интуиции. И только здесь эти безмолвные святые понимают меня и видят меня всего, целиком и полностью. И уж они-то наверняка знают, каким должен быть следующий ход, но только уста их закрыты самым их нарисованным естеством, и мне остаётся лишь угадывать их желания или просить, чтобы они дали знак, что мне делать дальше.

Мне стало спокойно и мирно. Я не умел молиться и не знал, как и с кем разговаривать в церкви, потому просто стоял, не сводя глаз с иконостаса. Мне казалось, что если я буду просто так вот стоять и смотреть, мне откроется что-то важное, и я пойму, как надо действовать. Я не слышал больше кудахтанья тёток, не видел старушки в платках, я вообще

не ощущал себя в церкви как в некоем строении на Владимирском проспекте. Я был где-то за пределами этого мира. Мне захотелось сесть, но сесть было негде, так что я прислонился к углу колонны, не отрываясь от икон.

Не знаю, сколько времени я так простоял, но когда вышел на улицу, уже стемнело. Зимний ветер унёс все надежды на весну, пурга поднялась, как в середине декабря. Но мне было не до погоды. Я старался сохранить в себе чувство просветлённости и мира, которое вынес из церкви. Вот оно, избавление от моих недугов. Как же я раньше об этом не подумал?! Если ходить сюда постоянно, то рано или поздно я просто забуду о том, что меня донимало прежде, и стану совсем другим, обновлённым человеком.

Перед сном я старался удержать ощущения этого дня, но несмотря ни на что не смог совладать с тем, что поднималось во мне изнутри, как по часам, в одно и то же время. Я решил, что, наверное, одного похода в церковь недостаточно, но не стоит по этому поводу расстраиваться. В конце концов, в собор я ходил только сегодня, а трудности преследуют меня уже несколько лет.

На следующий день Катя зашла ко мне одна. Когда я провожал её, она вдруг спросила меня:

— Ну, ты в церковь-то ходил, как я вижу?

— Да. А ты почему так решила?

— Да ты сегодня какой-то блаженный, ну, в смысле, спокойный очень.

— Ты только Артуру не говори, ладно?

— Не скажу, не бойся. Ему этого не понять. Но он придёт к этому тоже рано или поздно. Все мы придём, — мечтательно ответила Катя, — а ты что там делал-то? Молиться-то умеешь? — засмеялась она

— Нет. Я просто так стоял и думал.

— Ох ты, котик. Это хорошо, что думал, но надо молиться.

Молитва, она хоть и простая, но сила в ней есть, иначе бы её люди столько веков не повторяли. Я тебе напишу слова. Хочешь со мной в воскресенье на службу пойти?

— А как же Андрей?

— А он не ходит в церковь.

— Ну, давай пойдём.

На службе мне понравилось меньше. Оказалось много народу, было тесно и душно. Катя надела на голову платок, так что ещё больше стала напоминать птичницу Аграфёну. Когда мы вошли в церковь, она слилась с толпой, её серая спина растворилась в десятках таких же. Священник нараспев говорил что-то, народ вторил ему. Вокруг меня стояли одни женщины без возраста и даже без пола, ничего женского в них не осталось. Они истово крестились и тянули за священником: «Господу помолимся. Господи поми-и-и-илу-у-уй!». Мне не хотелось повторять за всеми, я чувствовал себя чужим. И ещё я ужасно боялся встретить кого-нибудь из маминых знакомых. Ничего зазорного в посещении службы не было, но мне было бы стыдно. В общем, никакого покоя на душе на сей раз не получилось, я ждал, чтобы всё это поскорей закончилось и я вернулся домой.

Ко всему прочему, в конце службы вышел священник и стал кадить в нашу сторону. Народ расступился, я оказался в первом ряду. Он прошёл мимо пару раз, а потом вдруг посмотрел на меня скользким и голодно-плотоядным взглядом, от которого по коже пробежали мурашки. Что-то было неправильное в этом взгляде, как и во всей службе. Я решил, что в церковь надо ходить одному, иначе никакого общения ни с богом, ни с самим собой не получается.

Летом мама взяла два месяца отпуска и уехала на дачу, а я остался в городе, потому что нашёл работу. Работа. Я зарабатывал деньги! Они, правда, были уже расписаны — мама решила сделать ремонт в ванной, — но меня это ничуть не рас-

страивало. Я подумал, что смогу урвать себе что-нибудь на шоколад и мороженое, а больше ни на что деньги, собственно говоря, мне были не нужны.

Работа показалась мне несложной, а называлась гордо: агент по недвижимости. Надо было ездить по городу и показывать квартиры людям, которые хотели снять их в аренду. Никакой зарплаты не предполагалось, но я получал 10% от месячной стоимости квартиры.

Мне это всё нравилось. Я вырвался из границ своего района, стал ездить с одного конца города на другой. А раньше и метро-то почти не пользовался, разве что изредка выбирался на экскурсии с классом. Мне открылся этот огромный мегаполис, где было столько всего незнакомого. Большая часть квартир, что я показывал, находилась не в центре — туда ездили агенты постарше и поопытнее. Но меня это не смущало. Было лето, погода стояла хорошая, а в транспорте днём было свободно. После каждого показа я обычно садился на скамейку в каком-нибудь дворике и наблюдал за мамашами с колясками и детьми; за всей этой жизнью, которая была как две капли воды похожа на жизнь в моём дворе, но тем не менее была другой. Я чувствовал себя жутко взрослым, ведь я не просто так болтался!

Это было моё первое лето в городе, преобразившемся, опустевшем. Не было сугробов, снегоуборочных машин, припаркованных на всю зиму заваленных снегом автомобилей. Не было людей, все разъезжались по дачам, лагерям и санаториям. На улицах было чисто, как будто их только что вымыли, только иногда ветер гнал одинокий фантик, перекатывая его от одного поребрика к другому. Создавалось сюрреалистическое ощущение построенной декорации. Казалось, что актёры вот-вот выйдут из гримёрок, кто-то крикнет: «Мотор» — и город внезапно оживёт, задвигается, забудет.

Мне нравилось ходить по пустынным улицам, дышать тёплым воздухом, пропитанным влажными запахами: ас-

фальта, постриженной травы, пыли, поднятой проехавшей машиной. Но самое главное, всё это пахло свободой, чувством, что я один, могу делать, что захочу. В известных пределах, конечно, но и в такой, пока ещё ограниченной свободе я чуял запах свободы абсолютной, которая, как мне казалось, ожидает меня совсем скоро.

Артур на лето уехал, но мы продолжали встречаться с Катей. Вечерами она была занята, и я звонил ей каждый раз, когда у меня появлялось время днём. Мы гуляли, сидели на скамейке во дворе, болтали о жизни. Нам казалось, что впереди ещё столько всего интересного и неизведанного, но только это ни в коем случае нельзя упустить. Мы боялись потратить время впустую, а потом жалеть о том, чего не сделали, как это случилось с нашими родителями. Но к нашим надеждам на большое и захватывающее будущее примешивался страх, что ничего не выйдет, страх бессознательный и необъяснимый, потому что было непонятно, что же, собственно, должно выйти. Я понятия не имел, куда поступать, но мне оставался ещё год, и я надеялся, что за эти двенадцать месяцев что-то да решится.

Я спросил однажды Катю про её будущего мужа.

— Понимаешь, Артём, — ответила Катя неожиданно серьёзно, — Андрей гораздо старше меня. Он очень взрослый и очень умный человек. Я, конечно, люблю его, но я ещё и уважаю. Я решила для себя, что мне нужно общаться с теми людьми, которые могут меня чему-то научить, понимаешь? Я ведь в простой семье выросла, нас там много было, хоть я в школу и ходила, но учиться у меня времени не было. А с ним я чувствую, что становлюсь лучше и умнее.

— Ну а Артур?

— А что Артур? Артур... Ну, он вот появился как-то неожиданно. Я сначала пожалела его, какой-то он был заброшенный, смотрел на меня, как псёнок. А потом вот затянулось.

Пропавший он, Артур. Мне бы хотелось помочь ему, но я не знаю, как. Ты вот, Артём, тоже мечтаешь, но в тебе сила есть, ты рано или поздно найдёшь себя.

Мне стало немного обидно за Артура, что Катя просто жалела его, но я понимал, что она имела в виду. Я сам иногда смотрел на него и думал — что-то с ним не так. С тех пор, как мы познакомились, прошло много лет (для нашего возраста и год-то был большим сроком), но он ничуть не изменился. Внешне вырос, стал таким длинным юношей, который вот-вот превратится в мужчину, но никуда не делись ни волчий взгляд, ни наглость, сквозь которую проглядывал страх перед людьми. Мне иногда хотелось обнять его, прижать к себе. Казалось, нам обоим от этого станет легче. Но я сдерживался, чтобы не перейти те границы, где заканчивалась дружба и начиналось нечто совсем другое, от чего я старался убежать.

Мамины собрания летом не проводились, но у меня оставалась церковь — место, где можно было хотя бы попытаться обрести покой в душе. На службу я больше не ходил, но каждый раз, когда позволяло время, подолгу стоял в тишине и темноте во Владимирском соборе, разговаривая то ли с самим собой, то ли с невидимым собеседником, который никогда не отвечал мне, но зато был прекрасным слушателем.

— Почему всё так? — вопрошал я, — почему все парни как парни, а со мной всё так странно? Это наказание? За что? Как мне эту вину искупить? Что надо сделать, чтобы измениться? Вера Николаевна говорила, надо просто очень захотеть. Мысли материальны. Только хотеть надо взаправду. Но я хочу измениться, действительно хочу! Но у меня ничего, ничего не получается. Наверное, просто я слаб, и мои мысли бессильны. Катя, конечно, думает, что я даже сильнее Артура, но это не так. Ну, то есть по сравнению с Артуром я, может, и кажусь таким, но на самом деле я всегда был слабым. Слабым и остался. Неужели мне всю жизнь надо будет бороться

с самим собой безо всякой надежды на победу? Как это всё неправильно и несправедливо.

Но мой невидимый слушатель только молчаливо внимал этим жалобам, не давая никакого совета. Да, неправильно, да, несправедливо, но ничего не поделаешь, надо как-то с этим жить дальше.

Мама стала странно реагировать на простые вещи, которыми я не придавал никакого значения. Она долго не разрешала мне бриться, потому что «если один раз начнёшь, то потом придётся бриться всю жизнь». Я не понимал, что в этом такого ужасного, но до поры до времени бритвенных принадлежностей не покупал. На моём красно-оранжевом прыщавом лице, которое и так впору было выставлять в кунсткамере, клочками росли местами длинные, местами короткие разноцветные волосы: чёрные, русые и рыжеватые. Это нельзя было назвать ни бородой, ни усами, это походило на шерсть, торчавшую в разные стороны. Поскольку мои одноклассники красотой не блистали, и на их фоне я не получил бы главный приз за уродливость, я долго мирился с таким положением вещей. Но настал момент, когда я взбунтовался и купил-таки одноразовую пластмассовую бритву и гель для бритья, потратив на это треть своего недельного заработка. Маме решил, тем не менее, ничего не говорить, чтобы по возможности отсрочить скандал. Сама увидит рано или поздно. К моему удивлению, мама, наезжавшая периодически в город, не сказала ни слова, только бросила недовольный взгляд, застав меня утром в ванной с намыленным лицом.

Но было ещё одно место, где волосы мне совсем не нравились. Подмышки. С этой напастью тоже нужно было как-то бороться, иначе не получалось перебить запах пота и избавиться от подтёков на рубашках. Я покупал дезодоранты, но от них не было никакого толку, разве что рубашки пачкались

ещё быстрее, а белый налёт ничем не отстирывался. Я попробовал и там брить волосы, и, к моему счастью, это если и не решило проблему полностью, то по крайней мере сократило её масштабы. К тому же я надеялся, что мама не станет интересоваться моими подмышками и на этом фронте обойдётся без столкновений.

Прошло достаточно много времени, прежде чем она заметила. Она приехала с дачи, чтобы выйти на работу на пару недель и взять больничный, который собиралась растянуть до конца лета. Был август, на улице стояла такая жара, что все окна в квартире были открыты круглые сутки, но даже это не спасало, и мы чувствовали себя, как в духовке. Я ходил в одних шортах — майка сразу становилась мокрой и неприятно липла к телу. Как-то вечером, когда я потянулся, чтобы достать с полки пачку чая, мама вдруг грозно спросила:

— А ты что, и подмышки теперь бреешь?

— Угу, — растерянно промычал я, искренне не понимая, что в этом постыдного.

— Это зачем ещё? — она явно не верила в мою наивность и говорила так, будто нам обоим было известно, что за преступление я совершил.

Ответить ей было нечего, вдаваться в подробности не хотелось:

— Ну, так просто, а что?

— А ничего. Откуда это ты моду такую взял — подмышки брить? Ты кого из себя строишь, интересно? Сначала, значит, подмышки, а потом что? Будешь крем от морщин покупать? Может, и пудриться начнёшь?

Крем от морщин я покупать не собирался, но спорить с мамой было бессмысленно, потому что она не обосновывала своё мнение сколько-нибудь разумными аргументами.

— А что такого-то?

— Да ничего, Артём! Где это видано, чтобы мужики брили

подмышки? А если увидит кто? Стыда же не оберёшься! — и мама начала длинный монолог, посвящённый тому, что нечего выпендриваться и строить из себя неизвестно кого.

Я решил, что бриться не перестану, но впредь буду ходить в футболке, чтобы не провоцировать новых скандалов.

В другой раз Катя принесла настенный календарь с какими-то американскими футболистами. Они все были похожи друг на друга и стояли в разных позах, голые по поясу, в спортивных трусах, с мячом в руках. Мы просмотрели его вместе, обсуждая их огромные грудные мышцы и то, сколько же надо тренироваться, чтобы так накачаться. Катя забыла этот календарь у меня, а я долго ещё рассматривал каждую картинку, наслаждаясь обнажёнными мужскими телами, которые нечасто приходилось видеть в жизни. Недолго думая, я нацепил календарь рядом с секретером, открыв его на текущем месяце. Ну и что такого? В конце концов, отчим Артура тоже повесил в туалете футболистов (те, правда, были одеты).

Этот календарь провисел у меня неделю, пока мама в очередной раз не приехала с дачи. Я пришёл с показа достаточно поздно — люди часто смотрели квартиры после работы. И уже с порога почуял неладное. Она позвала меня из большой комнаты, как только захлопнулась входная дверь. Я сбросил сандалии и прошёл к ней.

— Это что? — с едва сдерживаемым гневом спросила мама, показывая на лежащий перед ней календарь.

— Календарь, — растерянно ответил я.

— Артём, не делай из меня дуру, пожалуйста. Я вижу, что календарь. Откуда он взялся и почему висит в твоей комнате?

— Ну, подруга одна принесла.

— И почему она носит тебе такие вещи?

— Она не мне принесла, она просто принесла и забыла.

— Ага. Забыла, значит. А ты сразу и развесил по всем стенам! — тут мама стала срываться на крик. — Ты думаешь, это

нормально молодому человеку вроде тебя иметь в комнате такие календари?! Ты думаешь, что у многих мальчиков висит подобное? Ты за кого меня принимаешь? Ты что себе вообще позволяешь? Подруга забыла! Что это ещё за подруга, хотелось бы мне знать?! Быстро возьми это, и чтобы больше я этой дряни в моём доме не видела!

Я взял злополучный календарь и исчез в своей комнате. Надо отдать его Кате, хотя жалко, конечно, — за неделю я уже привык к этим мощным торсам.

Что-то новое появилось в маминых криках. Я считал, что она следит за мной и нарочно придирается, но в глубине души понимал, что отчасти она права. Правда, понимание это приходило только по конкретным поводам и после очередного скандала. Я редко мог заранее предсказать, что именно она сочтёт недостойным «молодого человека вроде меня» в следующий раз.

Лето закончилось. Мама, Артур и ещё несколько сотен тысяч человек вернулись в город. На улицах снова стало много прохожих, в метро было тесно даже днём, а уж вечером к общественному транспорту лучше было не подходить. Благо, было тепло, так что я старался, где можно, ходить пешком. К работе, которую я не хотел оставлять, прибавилась школа, начался последний учебный год. При этой мысли захватывало дух от счастья и смутного страха. Всё равно что прыгнуть с парашютом: нужно перебороть ужас, чтобы насладиться полётом, но, самое главное, обратной дороги нет — хочешь не хочешь, а тебя вытолкнут за борт, чтоб не задерживал остальных.

Артур продолжал встречаться с Катей, и, за исключением моих отлучек на показы квартир, мы по-прежнему проводили вместе большую часть свободного времени. Катя в свой лицей так и не поступила, провалив последний экзамен, но не особо печалилась по этому поводу, рассчитывая поступить

в следующем году. Она вообще редко из-за чего расстраивалась. За лето мы ещё больше сблизились, так что я даже стал считать её своим вторым другом. Вторым, потому что Артур всё же занимал первое место, да и что-то двусмысленное было в дружбе с девушкой друга, какое-то ненужное наложение отношений.

Для Артура это был первый серьёзный роман: до этого он сбегал от каждой новой пассии, как только она начинала строить планы на будущее. Впрочем, может быть, именно бесперспективность отношений с Катей удерживала его рядом? Он не боялся, что она решит вдруг выйти за него замуж или начнёт его в чём-то ограничивать.

Он-то не ограничивал себя ни в чём. Однажды пришёл ко мне сказать, что не появится в школе по крайней мере неделю:

— Короче, чел, такое дело, я триппер подхватил.

— Это чего такое?

— Ну, блядь, капает с конца и болит. Хочешь посмотреть? — и он начал на полном серьёзе расстёгивать ширинку.

— Нет, — чуть не закричал я, — блин, Артур, не надо мне ничего показывать, я и так верю.

— Короче, нужно Кате что-то наплести, чтобы она не думала ничего. Можешь ей сказать, что я заболел что ли, но не серьёзно, а просто грипп...

— Да, очень заразный, но ничуть не опасный, так с тобой будет всё в порядке, но навещать тебя ни в коем случае нельзя.

— Типа того, Тёма, да. Ты умный, навешай ей что-то.

Несмотря на мои многочисленные попытки завести разговор об Андрее, Артур каждый раз переводил разговор на другую тему. Только один раз мне удалось разговорить его, и каким бы коротким ни был тот разговор, он приоткрыл завесу над его чувствами.

В тот раз Катя в очередной раз уехала к своим родителям почти на две недели. Несмотря на то что Артура, я был уверен, было с кем провести время, он маялся, не находил себе места, сидел часами у меня дома, не произнося ни слова. Я мог спокойно читать рядом, он не предпринимал никаких попыток завести разговор. Однажды, не отрываясь от книги, чтобы не смутить его, я спросил:

— Скучаешь?

— Да, чел, а что?

— Ничего. Ходишь чернее тени.

— Чернее тени, говоришь? Да, не хватает мне её, чел.

— И что ты делать думаешь?

— А что тут, блядь, поделаешь? Не бросит она его, — уныло сказал Артур.

— Ты бы хотел, чтобы бросила?

— Бля, Тёма, я не знаю. Бросила не бросила... Мне, блядь, понимаешь, первый раз хочется быть с ней всё время. Раньше не было такого. Другие заёбывают за неделю, не знаешь, куда деваться. Трахаться вроде хорошо, а потом, блядь, начинаются эти все разговоры: «Ты мне должен то», «Ты мне должен это». А тут, блядь, она ничего не просит, но мне даже хочется, чтобы попросила. А так как-то не по-настоящему всё получается.

— Ты любишь её? — не нужно мне было бы задавать этого вопроса, наверное. Он заставил Артура осечься.

— Не знаю. Это ты, Тёма, умный, понимаешь, когда любишь, когда не любишь, а я не знаю. А что, мамашка-то твоя скоро припрётся?

— Скоро.

— Пора мне линять...

Мне было жаль его, но я понимал, что ситуацию исправить невозможно. Оставалось ждать, пока одному из них надоест этот гордиев узел.

Однажды вечером я возвращался с показа в час пик. Хотя народу было меньше, чем зимой, да и одеты все были легко, в поезде было не протолкнуться. Обычно я старался избегать давки и предпочитал переждать самое неприятное время с книжкой где-нибудь на лавке, но сегодня работы было много, я устал и думал только о том, как будет приятно растянуться в постели. Я стоял в самом набитом месте — около дверей, но не было никакой надежды протиснуться в середину вагона, где можно было бы достать книгу и уткнуться в неё до моей станции. Я переваливался с боку на бок, как пингвин, чтобы пропустить выходящих людей, впрочем, мало кто выходил, в основном входили, утрамбовываясь потными телами в вагонную тесноту.

В какой-то момент я повернулся и столкнулся нос к носу с Катей. Как ни странно, она не очень обрадовалась нашей встрече, и я даже думаю, что если бы у неё была возможность, сделала бы вид, что не заметила меня. Но как у соседних кирпичей в кладке нет возможности игнорировать друг друга, так и у нас такого шанса не было. Мы поздоровались, она как-то неестественно повернулась боком и сделала большие глаза. Я сначала не понял, что означала её пантомима, но тут догадался, что она не одна.

— Это мой муж Андрей, — прокричала мне на ухо Катя, а потом повернулась к Андрею и, видимо, представила ему меня.

Я с интересом посмотрел на него. Вот уже скоро год, как мы были заочно знакомы, но я не думал, что когда-нибудь его увижу: Катя строго следила за тем, чтобы её отношения с Артуром (а значит, и дружба со мной) не выплыли на поверхность.

Так вот он какой, значит, Андрей. Мне было удобно разглядывать его, он стоял ко мне боком, и, если бросать осторожные взгляды, не было опасности быть уличённым. Он был красив. Он не был похож на жителя нашего города, более того, даже славянским его лицо было назвать трудно. Такая

смуглая кожа встречалась только на лицах вернувшихся из Крыма после месячного отпуска. Но причиной его загара было, конечно, не отпускное солнце, а то, что светило на его предков в течение многих веков. Широкие выдающиеся скулы и миндалевидные карие глаза выдавали в нём что-то татарское, но не чистокровное, а смешанное с другими кровями, делавшими черты лица благородными. Полные чувственные губы были чуть приоткрыты. Короткие чёрные волосы то там, то здесь поблёскивали серебром, ничуть не старившим его, а наоборот, придававшим шарма. Мне хотелось рассмотреть его анфас, но я стоял в неудобной позе, так что пришлось довольствоваться профилем.

Наконец, мы доехали до нашей остановки. Здесь выходила большая часть пассажиров, нас просто вынесли из вагона. Катя воспользовалась столпотворением, помахала мне на прощание и быстро потащила Андрея к выходу. Я не стал их догонять, понимая Катини меры предосторожности.

Вскоре случилось ещё одно событие, которое в очередной раз выбило меня из колеи и заставило ездить в церковь ещё чаще.

Показы обычно проходили достаточно быстро. Мы встречались у парадной, подписывали расписку, где клиент обязывался не обманывать агентство и не снимать квартиру без нас, поднимались наверх, и дальше уже квартира либо нравилась, либо нет. Если всё складывалось хорошо, мы заключали договор, и я забирал свою комиссию, если нет — расходились по домам.

В один из дней я должен был показывать несколько квартир одному клиенту. Это был новый район, застроенный ярко раскрашенными домами: одна половина здания могла быть розовой, вторая — зелёной, а все балконы оказывались небесно-голубыми. И все они были очень высокими, гораздо выше тех, что стояли у нас. Я приехал чуть раньше на-

значенного времени и решил пройтись по дворам, где ещё сохранялись следы недавно законченной стройки. Детские горки стояли посреди развороченных газонов, изборождённых следами от трактора, не у всех парадных были скамейки, огромная железная труба перегораживала парковку. Было видно, что и дом заселён не полностью: многие окна были немывты и заклеены изнутри чем-то белым.

Наконец, к парадной подъехала зелёная иномарка. Я очень разбирался в машинах, для меня все они делились на две категории: наши и иномарки. Последних было мало, и они являлись свидетельством принадлежности к высшему классу. Я на такой машине ни разу не ездил и обрадовался, что с одной квартиры на другую можно будет прокатиться на автомобиле.

Из машины вышел пухленький кругленький мужчина лет тридцати, в овальных очках и с небольшими залысинами у висков. Стругацкие могли бы взять его за прообраз своего Агасфера Лукича. Такой же маленький, юркий, деловой, знающий, что ему нужно, всегда добивающийся своей цели. Он был одет не по погоде: в тёплый шерстяной коричневый костюм и голубую рубашку без галстука, застёгнутую на все пуговицы. Сходство с Агасфером Лукичем завершал выдавший виды кожаный портфель. Вот она, та самая дверь в ад, куда опускаются контракты на покупку душ, за которыми охотится этот посланник дьявола под личиной страхового агента.

— Так-с, — проговорил он, глядя на меня из-под очков. — Вы, значит, Артём... как вас по отчеству?

— Сергеевич, — растерянно ответил я, — но можно просто Артём.

— Да, Артём Сергеевич, — он будто не услышал моей поправки, — меня Игорь Сергеевич зовут. Ха-ха. Вот ведь, почти тёзки. Нам надо с вами за час управиться, потому что у меня дела потом. Успеем?

— Успеем, конечно, тут всё рядом. Надо вот только смотровые листы подписать, и можно подниматься.

— Так-с, что тут у нас, — он стал изучать мои простенькие бумаженции так пристально, как будто это была хартия вольностей, — ну, это ерунда какая-то, но ладно, если вы настаиваете, я, конечно, подпишу.

Подписывая бумаги, он то и дело посматривал на меня, его глаза сверкали из-под очков каким-то скользким блеском, от которого становилось не по себе. Я подумал, что кто-то на меня уже смотрел так же странно, но никак не мог вспомнить, кто именно. Я старался не встречаться с ним глазами, но мне было интересно наблюдать за ним, так что он то и дело перехватывал мой взгляд. Эта игра могла продолжаться долго, хотя крайне смущала меня.

Мы зашли в подъезд. Лифт не работал, пришлось подниматься пешком. На третьем этаже Агасфер Лукич спросил:

— А что же, Артём Сергеевич, какой этаж-то?

— Одиннадцатый, — ответил я, понимая со смехом в душе, что на такой ответ он не рассчитывал.

— Ох. Вы меня уморить решили, что ли? Нет, так не пойдёт. Если лифт не работает и не понятно, когда заработает, то мне эта квартира уже сразу не подходит. Я понимаю, что это не ваша вина, вашим менеджерам там надо уши надрать за такое, но я не спортсмен, чтобы меня по лестницам гонять. Давайте поедem следующую смотреть.

— Да, хорошо. Только мне всё равно надо подняться, хозяев предупредить.

В машине Агасфер Лукич расспрашивал меня про жизнь и всё блестел очками, умудряясь при этом следить за дорогой:

— И что же, вы, значит, Артём Сергеевич, в школе ещё учитесь и уже работаете?

— Да, — ответил я, не переставая рыться в памяти: где же я видел этот взгляд раньше?

— И много зарабатывать получается?

— Ну, не очень. Но я только начал, пока ещё не понятно.

— Вы что же, проценты какие-то получаете?

— Да, десять процентов от суммы сделки, — не без гордости сказал я.

— Понятно. Ну для вашего возраста должно быть неплохо. А вы в каком же классе учитесь?

— В одиннадцатый вот перешёл.

— А что же, теперь одиннадцать классов? Раньше десять было.

И всё в таком духе. Мы посмотрели три квартиры, Агафер Лукич не снял ни одной, но зато за тот час, что мы провели вместе, выяснил все подробности моей жизни. Я даже про Артура и Катю ему рассказал, умолчав, правда, про сложности с Катиным замужеством.

— Ну что же, Артём Сергеевич, мне очень жаль, что так получилось, но ваши коллеги, хм, неверно поняли мой запрос и вот прогоняли без пользы и вас, и меня. Вот вам за беспокорство, — и он протянул мне купюру, которую я получил бы, если бы сдал одну из этих квартир.

— Спасибо, — смущённо ответил я, думая, что следовало бы отказаться, но было поздно, деньги уже шуршали у меня в руках.

— М-да. Артём Сергеевич, мне, признаться, очень понравилось с вами общаться. Вы молодой человек крайне увлекательный. Вот что, дайте-ка мне ваш телефон, а я вам свой оставлю. Во-первых, если у вас будут ещё квартиры на просмотр, вы мне просто без вашего агентства позвоните, мы их посмотрим. Ну, или, может, просто встретимся на чашку чая, как вы полагаете?

В полном замешательстве я продиктовал свой телефон, который был записан в вынырнувшую из недр портфеля записную книжку (нет, языков пламени не было, и громового

урчания — тоже). Потом Агасфер вырвал листок из той же книжки, написал на нём номер и протянул его мне. Он предложил подвезти меня до метро, но я отказался, соврав, что у меня будет ещё один показ: не хотелось сидеть с ним в машине, уж лучше пройтись под закатным осенним солнцем.

По дороге домой настроение менялось каждое мгновение. Мне то становилось страшно, то наваливалось необъяснимое счастье. Приехав, я валился с ног от усталости, но скорее душевной, чем физической. Я подумал, что Агасфер, наверное, энергетический вампир, которых так часто обсуждали на маминых собраниях — присосался ко мне и теперь даже на расстоянии вытягивает все силы.

Весь вечер и следующий день я делал вид, что занимаюсь своими обычными делами: ходил в магазин, показал квартиру недалеко от дома, отварил сосиски с картошкой на обед, потом лежал и читал. Но сколько я ни старался обмануть самого себя, мне это не очень удавалось. Я ждал звонка Агасфера и боялся этого звонка. В самом звонке не было ничего страшного, проблема была в том, что я не знал, что сказать ему.

Что он вообще из себя представляет? Обычный мужик, раздобревший к своим тридцати от кабинетной работы и мягких сидений авто. Ну да, странно смотрел на меня из-под своих очков, ну, вытянул из меня все детали моей жизни. Кроме самых интимных... Да и они... У меня было такое чувство, что он знает, но не так, как Вера Николаевна или тот некто, с кем я разговаривал в церкви, а знает по-другому: не метания моей души, а самое низкое и грязное, что я скрываю от самого себя, известно ему во всех подробностях. Именно этого я боялся: что он вытащит на свет всё то, что я с таким трудом прятал.

Когда вечером зазвонил телефон, у меня не было никаких сомнений в том, кто на другом конце провода.

— Алло, Артём Сергеевич? Здравствуйте, это Игорь Сергеевич говорит. Мы с вами квартиры давеча смотрели, если помните.

— Да, Агас... Игорь Сергеевич, здравствуйте.

— Так-с. Ну. Рассказывайте. Какие же ваши дела?

В других обстоятельствах меня бы забавляла эта его манера говорить нарочито старомодно, но в этот раз было не до шуток. Трубка прилипла к ладони, из неё доносился голос, который я ненавидел, но который притягивал меня к себе, как бездонная пропасть манит акрофобика.

— Нормально дела, — только и смог выдавить я, голос предательски дрогнул.

— А что, вы сегодня вечером ангажированы?

— Да нет. Ничего особенного.

— Хм. Может, хотите встретиться за бокалом вина, поболтать о том о сём?

— Да нет, спасибо, я же не пью, — выпалил я, обрадованный, что есть прекрасный предлог отказать от приглашения.

— Ну, если не пьёте вино, то можно и чаю, как водится. Что ж тут?

— Да и поздно уже, — я хватался за все соломинки, которые подворачивались под руку.

— Ну, это разве проблема, Артём Сергеевич? Мы могли бы за вами на машине заехать. Поговорили бы, пообщались, а потом бы вас обратно доставили в целости и сохранности.

Мне хотелось бросить трубку и выдернуть провод из розетки, но тут же думалось, что ничего ужасного в этом приглашении нет, так что незачем вести себя по-детски, почему бы и не согласиться. Но его скользкий голос вызывал в памяти такой же скользкий взгляд из-под овальных очков, и мне становилось противно, как будто таракан пробежал по обеденному столу. Я вдруг вспомнил, кто смотрел на меня так же странно: священник на службе в церкви. Я потом

долго не мог избавиться от того взгляда. Наверное, он тоже был энергетический вампир, даром что священник.

— Ну, что же вы молчите, Артём Сергеевич?

— Да нет. Я всё-таки, наверное, не смогу.

— Ну отчего же не можете? Мы же вас не на Луну приглашаем. Мы тут рядом живём. Заедем за вами на машине, потом отвезём, куда скажете.

И это его «мы». Кто это «мы»? И это его «потом». После чего они меня отвезут, куда я скажу? Это всё звучало ужасно приторно, и давно уже было пора заканчивать разговор, но вертелась в моей голове одна мысль, которая не давала мне оборвать линию. Ведь Агасфер — не просто лысеющий и не очень-то симпатичный мужчина. Он представитель того мира, в который мне, может быть, никогда больше не откроется доступ. А если откроется, то неизвестно, скоро ли. Он один из них. У нас есть этот общий секрет, общая тайна, но он свыкся с ней, прожил с ней тридцать лет и не умер, не покончил с собой, не попал в сумасшедший дом. Даже работает и деньги зарабатывает, на иномарку вон хватило. Если бы не было этого «потом», то я бы мог, может, просто спросить его обо всём, столько всего обсудить.

Эта манящая дверь в запретный мир приотворилась лишь на узкую щёлочку, но мне было страшно даже заглянуть в неё, потому что я понимал — обратной дороги может не быть. И почти на автопилоте я захлопнул её так, чтобы она никогда уже больше не отворилась:

— Да нет, Игорь Сергеевич, я и правда не могу. Нет-нет. Спасибо большое за приглашение.

И я повесил трубку, не дождавшись его контраргументов и даже не дав ему попрощаться. Я знал — больше Агасфер не позвонит.

Я не был горд своим поступком. Более того, не был уверен, что сделал правильный выбор. Я порвал на мелкие кусочки

телефон Агасфера, чтобы отрезать себе все пути к отступлению, но тут же попытался сложить обрывки. Это было достаточно сложно, но у меня получилось. В следующем же порыве я снова собрал всё в горсть и спустил в унитаз. Меня разрывали противоречивые чувства. Первое укоризненно нашёптывало, что я упустил, потерял такую возможность узнать, понять, проверить то, что мучило меня последние годы. Второе напускало ужас перед тем, что могло случиться, и во что бы я тогда превратился. Я решил, что надо ходить в церковь как можно чаще, может, тогда она оградит меня от новых соблазнов.

Несмотря на еженедельные посещения собора, ничто не менялось ни в моих мечтах, ни в ощущениях. Я решил, что если у меня не получится исправиться совсем, то, по крайней мере, надо сделать так, чтобы не стало хуже. Поэтому если раньше я уединялся, чтобы разобраться в себе, то теперь, наоборот, старался всё время быть с Артуром или Катей — или с ними обоими. Когда мы гуляли, болтали, смеялись, казалось, что жизнь течёт своим чередом, и мои проблемы отходили на второй план. Чтобы добиться этого эффекта, я стал больше общаться и с другими одноклассниками, которые в большинстве своём оказались интересными и ничуть не опасными людьми. Мы могли все вместе после школы пойти к кому-нибудь в гости или просто сидеть на школьном крыльце и болтать ни о чём. С ними было легко, потому что никто не подозревал о происходящем в моей душе. Эта неизвестность защищала меня и хотя бы внешне делала обычным мальчишкой, старшеклассником, окружённым друзьями, с багажом противостояния «матерей и детей», которого никто из нас не избежал. Ну, а об остальном можно было не думать, пока снова не останешься один.

Возобновились и мамнины собрания, но я посещал их с меньшей регулярностью, сначала из-за работы, а потом

просто потому, что отвык от всех этих разговоров и не находил в них ни утешения, ни полезной для себя информации. Я продолжал читать мамины книги, но с Верой Николаевной старался не пересекаться.

Обычно я показывал квартиры после школы. Оператору было известно моё расписание, так что каждый день я приходил домой, обедал на скорую руку и куда-нибудь уезжал. Иногда, впрочем, приходилось пропускать уроки, если встреч было много и агентов не хватало. Мне не очень нравилось работать по утрам из-за переполненного метро. Зимой в этом было ещё меньше удовольствия, все были одеты в толстые куртки и шубы, места в вагоне занимали больше, а потели как летом.

В метро самое главное, конечно, — встать в правильном месте. Сиденья обычно были заняты, да и садиться не было никакого смысла: непременно найдётся какая-нибудь старая ведьма, которая будет сверлить тебя глазами, пока ты не встанешь. Козырное место было рядом с дверьми, там, где можно прислониться к сиденью. Тебя никто особо не толкает, все проходят мимо, к тому же не надо заранее пропихиваться, готовясь к выходу. А если ухитриться, то можно даже почитать между станциями.

В то утро мне удалось встать именно там, только вот читать не получалось: народу набилось слишком много. Я стоял в полудрёме, закрыв глаза, и только отмечал остановки, чтобы не пропустить свою.

В какой-то момент я почувствовал некоторую неловкость, кто-то слишком сильно прислонился ко мне спереди и чуть не вдавил кулак в мою ширинку. Я попытался отодвинуться, но пространства для манёвра не было. Это был молодой мужчина, которого, видно, так прижали со спины, что ему тоже было не пошевелиться. На остановке он выпустил стоявших сзади пассажиров, зашёл обратно и снова встал рядом со мной.

Я никак не мог понять, делает ли он это специально или нет, но на каждой станции история повторялась: он выходил, пропускал людей и заходил обратно, чтобы снова прижаться ко мне. Он был симпатичный — молодой и смуглый, — но мне не удавалось хорошенько разглядеть его, он стоял слишком близко, и я видел только его профиль. Что-то показалось мне, впрочем, знакомым в этом профиле.

Мне стало совсем неудобно, от этих неловких прикосновений, всё во мне поднялось, джинсы стали опасно тесными, и я боялся, что он заметит это. Наконец, пытка закончилась, мне было пора выходить. Слава богу, парень ничего не заподозрил, даже не посмотрел в мою сторону, находясь, наверное, в той же дрёме, что и другие пассажиры.

Только я чуть успокоился на эскалаторе, как сзади кто-то вдруг спросил:

— Не подскажите, как на Садовую пройти?

Садовая была совсем рядом с метро, было странно этого не знать. Но я ещё больше удивился, когда обернувшись увидел того самого парня из вагона.

— Да вот, как выйдете из метро, сразу направо по трамвайным путям.

— Покажете?

— Конечно.

Где я видел его раньше? Наверное, один из клиентов.

Мы вышли на улицу, я принялся объяснять ему что-то про трамвайные пути и Гостиный Двор, как он вдруг спросил:

— Не хочешь познакомиться?

Опять это чувство ужаса перед неминуемым, этот взгляд за борт самолёта перед прыжком, эта дверь, которая снова приоткрылась и манила меня чем-то неизвестным и оттого пугающим.

— Меня Артём зовут, — совсем тихо произнёс я.

— А я Андрей.

Андрей! Конечно, это он! Катин будущий муж, который не помнил меня, потому что мы лишь мельком виделись в метро несколько месяцев назад. Я вдруг понял, в какой переплёт попал, и мне на мгновение захотелось расхохотаться, но потом страх снова сжал всё внутри, и я продолжил разговаривать с ним, как будто мы только что познакомились.

— А ты куда идёшь, Артём?

— Мне квартиру надо показать, я агентом по недвижимости работаю. А вам разве не на Садовую нужно?

— Да нет. Не нужно мне на Садовую. Я что, похож на идиота? — улыбнулся Андрей, — я так просто спросил, чтобы разговор завести. И давай уж на ты.

Он предложил проводить меня, я согласился. По дороге я рассказал ему о себе, о работе, о школе, о том, что понятия не имею, куда буду поступать, но куда-то поступать нужно. Он, как выяснилось, работал редактором в одной из местных газет.

— А что, сложно журналистом работать?

— Да нет. Надо уметь писать и, в общем, любить это. Ну и везение нужно какое-то. В нужном месте в нужное время, как говорится. Хочешь попробовать?

— Да я не знаю даже. Я никогда не писал ничего.

— Ну ладно, «не писал». Сочинения-то в школе писал? Стихи, небось, писал?

Я покраснел при последних словах, но сознался, что да, писал стихи.

— А где надо учиться, чтобы стать журналистом?

— Ну, я журфак в университете заканчивал, но вообще много где есть такие факультеты. Надо только готовиться заранее, потому что конкурс большой.

Я вдруг отвлёкся от обстоятельств нашего знакомства, меня увлекла эта новая идея. Я-то никогда не думал о журналистике как о возможной профессии, но ничто не препят-

ствовало этому. Мне на самом деле нравилось писать, к тому же это было бы прекрасным решением моего физико-математического вопроса и всех этих политехов-военмехов. Конкурс меня нимало не смущал, главное, что за грядущим июнем и выпускными экзаменами появлялось что-то осязаемое, более того, привлекательное.

Мы дошли до дома, где я показывал квартиру. В этом маленьком грязном дворе в центре города не было ни света, ни воздуха, так что казалось, будто стоишь в каменном мешке.

— Как тут жить вообще можно? — протянул Андрей, оглядываясь.

— Тш. Сейчас мне клиента спугнёшь, — ответил я с улыбкой. Я уже немного освоился и мог позволить себе пошутить.

— Хочешь, подожду тебя, а потом погуляем? Или ты तोпишься?

— Ну, мне в школу вообще-то надо, но можем и погулять.

Когда я увидел пару, вошедшую в арку, то сразу понял, что ничего у нас не выйдет: слишком большой живот был у мужчины и слишком дорого была одета его спутница.

Мы долго бродили по улицам. Андрей задавал много вопросов, но моя жизнь была такой неинтересной по сравнению с его. Работа в газете, статьи, интервью, встречи с влиятельными людьми. Выяснилось, что мы соседи (ещё бы!), но он ни слова не произнёс о Кате. Я решил не портить наше знакомство и не признаваться, что знаю его будущую жену. Потом как-нибудь скажу.

Казалось, между нами не было разницы в возрасте. Хотя он был много умнее и опытнее меня, говорили мы на одном языке. Я понял, что Катя имела в виду, когда рассказывала, как всё время учится у Андрея чему-то новому, стало очевидно также, что у Артура не было никаких шансов.

Мы замёрзли, и Андрей предложил зайти в кафе погреться. Я никогда раньше не был в кафе, только в далёком детстве

бабуля водила меня есть мороженое в кафетерий, который я гордо называл рестораном. У меня было совсем немного денег, но я подумал, что если закажу один чай, то должно хватить. Вот она, взрослая жизнь практикующего журналиста: шёл по улице, захотел погреться, зашёл себе в кафе. И никаких мыслей о том, на что жить следующую неделю.

Он заказал кофе и какие-то пирожные, я ограничился чаем. Мы сидели совсем близко друг к другу в пустом зале, только вдали официантка гремела пустой посудой за баром. Столик был накрыт клеёнкой с красными и белыми квадратами, посреди стояла белая стеклянная вазочка с фиолетовыми пластмассовыми герберами. Мы сидели у стены, перед нами стоял ещё один ряд таких же столиков с клеёнками и герберами, а за ними в большом наполовину замёрзшем окне медленно падал снег, проходили укутанные в шарфы прохожие, и казалось, что если добавить ещё музыку, к примеру, из «Служебного романа», то можно представить, что всё это — сцена в кино. Я начал напевать про себя эту мелодию и мне вдруг стало так радостно и спокойно, как будто я и вправду был героем какого-то прекрасного романтического фильма, а не сидел здесь с будущим мужем девушки моего лучшего друга, с которым мы познакомились при таких странных обстоятельствах.

Он смотрел на меня каким-то тёплым взглядом и неожиданно взял меня за руку. Я дёрнулся, бросил взгляд в сторону официантки, но она была слишком далеко, чтобы нас видеть. Моя испуганная ладонь сначала судорожно сжалась, но потом расслабилась от его нежных прикосновений. Сердце часто забило, и мне стало казаться, что оно выстукивает мелодию из фильма. Я старался не смотреть на него, мне хотелось растаять, чтобы от меня осталась одна только ладонь, и он бы всё держал меня в своей руке и поглаживал кончиками пальцев.

— Придѣшь ко мне в гости? — спросил он тихо, почти что шѣпотом, хотя нас было некому слушать. Мелодия в моей голове оборвалась.

— А как же Катя? — чуть не вырвалось у меня, но я вовремя сдержался и просто кивнул головой.

Мы договорились, что я приду к нему вечером на следующий день. На вопрос о Кате мне ответил в школе Артур, сказав, что она снова уехала к родителям.

Я не помню, как одевался и что надел, как дошёл до его дома. Всё это происходило в полусне, полубреду. Я отключил сознание, чтобы не думать, не анализировать, не принимать решений, а просто двигаться, как робот, которому ввели программу, обязательную для исполнения. Я не задавал себе вопросов, стоит ли идти и почему это надо делать. Дверь, в которую я должен был войти, теперь была открыта настежь, и у меня больше не было выбора. Если бы он не ласкал мою ладонь или был бы груб, или скабрѣзен и пошёл, как Агасфер, или как-то иначе расплатился за мой чай, не деликатно спросив меня, не буду ли я против, если он заплатит, а, к примеру, дав почувствовать, что платит-то он, у меня была бы лазейка, была бы причина, за которую можно было бы ухватиться и остаться дома.

Но её у меня не было.

Пока я поднимался на третий этаж, меня охватила настоящая паника. Я не знал, что плохого может случиться и даже примерно представлял себе, что произойдёт, но не мог побороть это чувство, заморозившее все прочие ощущения. Это как зимой прикоснуться языком к холодным железным перилам школы: кожу приятно щиплет, но душа уходит в пятки от мысли о грядущей боли. Впрочем, если бы я обжѣгся или порезался сейчас, то, наверное, ничего бы не заметил.

Я немного помедлил перед дверью и огляделся. Обычная лестничная клетка девятиэтажного дома, построенного лет

двадцать назад. На полу маленькая кафельная плитка, в ней местами зияли пустые квадратики; темно-зелёные стены и лампы дневного света создавали ощущение погреба. На мысли о подzemелье наводил и чуть затхлый запах. Три двери с одной стороны от лифта и три — с другой. Все двери разные, некоторые не меняли много лет — они обиты дерматином, другие современные металлические. В одну из этих мне и предстояло войти.

Я зачем-то выдохнул, как будто собирался выпить рюмку водки, и перекрестился. Позвонил.

Андрей открыл почти сразу (надеюсь, он не наблюдал за мной в глазок). Он стоял в одних трусах. Спортивное мускулистое тело, на которое теперь можно было смотреть, не боясь быть уличённым в подглядывании. Но я стеснялся, поэтому, бросив быстрый взгляд, сразу поднял глаза.

— Извини, только что из душа. Сейчас оденусь и сварганю что-нибудь поесть, — весело сказал он.

Я вовсе не был голоден, но не знал, как себя вести, поэтому молча разделся и прошёл в комнату. Страх и оцепенение никуда не делись, наоборот, стали ещё сильнее. Я сел на диван, вытер о штаны мокрые ладони и огляделся с опаской, будто ожидая, что из шкафа сейчас выйдут Катя с Артуром.

Ремонт был сделан совсем недавно, бежевые обои ещё помнили магазин, побелка на потолке была белой, а не сероватой от осевшей на ней пыли, паркет всё ещё немного пах лаком. Напротив раскладного дивана, куда я сел, стояли книжные полки с альбомами по искусству и недавно изданными книгами, никаких макулатурных собраний сочинений, как у нас дома. Письменный стол у окна мог похвастаться компьютером — роскошью, доступной немногим. Всё было новым, чистым, только что купленным.

Я поймал себя на том, что безуспешно пытаюсь отыскать следы Катиного присутствия. Даже на фотографии рядом с

компьютером Андрей стоял рядом с женщиной в возрасте — наверное, мамой. Впрочем, может, просто это его кабинет, поэтому тут нет её вещей.

Он зашёл в комнату в джинсах и свободной красной футболке.

— Ты очень голодный или так себе?

— Нет, не очень.

— Ну, у меня рыба есть и какие-то консервы. Могу рыбы пожарить.

— Давай.

— Да ты что такой каменный-то? Всё нормально? — спросил Андрей с улыбкой.

— Да-да. Всё хорошо, — ответил я как можно бодрее, чтобы он не заметил мою неловкость. Хотелось казаться видавшим виды парнем, которого сложно удивить, но, видно, такая игра была мне не под силу.

Андрей подошёл, сел рядом, обнял меня сзади и начал шептать на ухо:

— М-м, боишься меня что ли, воробей? Ну, ты не бойся, мой хороший. Я не кусаюсь. А если кусаюсь, то от этого только приятно...

Он расстегнул мне ширинку и начал ласкать меня. По-прежнему было страшно, но в его руках становилось спокойнее, особенно если не смотреть на него.

— Ну, ну, этак мы сейчас наиграемся, а потом мне ничего не достанется, — сказал Андрей, поцеловал меня в шею и ушёл на кухню жарить свою рыбу.

Мне стало легче и теперь хотелось, чтобы скорее прошла эта прелюдия с рыбой и ужином, и мы бы оказались рядом, и не нужно было бы бояться, что мы наиграемся, и ему ничего не достанется.

За ужином я не мог ни о чём думать, и на вопросы Андрея отвечал односложно, стараясь делать это бойко, чтобы

не показаться занудой. Время тянулось медленно, мне казалось, что Андрей почему-то специально оттягивает момент близости. Но, может, он просто выполнял обычный ритуал?

— Ну что, душ хочешь принять? — спросил он меня.

Я вообще-то помылся дома, но тем не менее согласился. В ванной было заметно, что в доме живёт женщина: на полке рядом с раковиной стояли бутылочки, тюбики и баночки, хотя никаких предметов женского туалета не было. Конечно, он просто решил скрыть от меня, что у него есть девушка, но в ванной убраться не догадался.

Когда я вошёл всё в ту же комнату, диван был уже разобран, Андрей лежал в халате с журналом в руке. На мне были только плавки, остальную одежду я положил на край дивана.

Если долго, до последнего сидеть под водой, а потом вынырнуть и дышать, дышать, дышать — так, будто дышишь в первый и последний раз, — нет времени наслаждаться воздухом, думать, свеж он или нет, пахнет ли лесом или пылью: ничего этого не замечаешь, просто дышишь и радуешься тому, что это можно делать так легко. Так же я наслаждался Андреем: его смуглым горячим телом, по которому я мог бы вечно водить руками, чтобы снова и снова ощущать под пальцами его грудь, бицепсы, сильные плечи. Мне ничего не нужно было бы от этой ночи, ничего, что произошло позже. Андрей вообще мог бы не двигаться, мне было достаточно просто ласкать его, прижиматься к нему, время от времени отстраняться, чтобы посмотреть на него в полутьме комнаты, каждый раз захлёбываясь от восторга, что это не сон или мечта, я — здесь, с ним, и я дышу, дышу.

Он был нежен со мной, его руки были повсюду, казалось иногда, что сердце вот-вот остановится от истомы, в которую погружали его прикосновения, в ногах и руках покалывало, будто они занемели, я только вздрагивал и постанывал аккуратно, чтобы не сбить, не вынырнуть ненароком. Он

перевернул меня на живот и лёг сверху. Он старался делать всё аккуратно, но было больно. Очень больно. Как будто меня привязали к двум лошадям, и те разрывали меня надвое. Волна удовольствия схлынула, стало трудно дышать. Я закусил наволочку, зажмурился, но терпел, чтобы не дать Андрею почувствовать, что он делал что-то не так. Он двигался на мне, было уже не так больно, как сначала, но приятно всё равно не становилось. Я только ждал, когда всё закончится, чтобы можно было снова повернуться к нему, обнять его и гладить его сильную спину. Наконец, он быстро задышал, закричал, потом несколько раз дёрнулся и навалился на меня.

Андрей снял презерватив и по-деловому принялся за меня. Несмотря на то что мне было хорошо, развязка всё не наступала, поэтому мне пришлось закончить самому. Он достал откуда-то из-за дивана полотенце, и мне стало немного противно, я подумал, что, может, я не первый, кто им вытирался. Вообще последние несколько минут были похожи на работу какого-то конвейера, но я подавил в себе эти мысли и растянулся на постели.

Мне хотелось ласкать его ещё и ещё, но Андрей пробурчал, что устал, а завтра на работу, чмокнул меня и отвернулся. Я долго не мог заснуть и всё любовался его спиной. Мне хотелось обнять его, но я боялся его разбудить. Сон не шёл. Я встал и пошёл на кухню. Несмотря на съеденный ужин, вдруг страшно захотелось есть, но в холодильнике ничего не было, кроме сметаны. Я открыл её, достал ложку, сел на стол так, чтобы можно было болтать ногами, и стал есть сметану прямо из упаковки.

За несколько часов мир изменился. Вопросы, которыми я задавался столько лет, не нашли ответов, но просто это были неправильные вопросы. Вся моя сознательная жизнь до этой упаковки сметаны представилась мне чёрной дырой, в которой бездарно пропали годы упущенной радости.

Мамины собрания, кармические задачи, церковь, осознание собственной неполноценности... Вот что важно в жизни: чтобы рядом был другой человек, который отвечает на твои ласки, поддаётся тебе, хочет быть рядом с тобой. Я забыл уже обо всех неприятных моментах и думал только о том, что теперь-то я знаю, что делать. Теперь-то я буду по-настоящему счастлив.

Прогревшая за окном снегоуборочная машина возвестила утро. Я так и просидел всю ночь на кухонном столе. Надо было хоть немного поспать — с утра предстояла контрольная по физике, которую ни в коем случае нельзя было завалить. Я вернулся в комнату, лёг рядом с Андреем, прижался к нему и уснул.

Мне снилось, что я, маленький, бегаю по даче в одних шортах без майки и кто-то поливает меня водой из шланга. Вода не холодная, даже тёплая, но я всё равно кричу, смеюсь и всё бегаю и бегаю туда-сюда. А потом уже сухой захожу в дом и иду по длинной комнате, которая оказывается прихожей и кухней одновременно. Я слышу запах нашего дома и другие запахи, которые вливаются в него из сада через открытые окна веранды. Мухи жужжат, и одна из них бьётся о стекло единственного закрытого окна. Я чувствую, что складки баб-Аниного платья касаются моих голых коленок, и мне приятно от того, как развевается ткань. Я иду тихо-тихо, чтобы никого не спугнуть, хотя знаю, что в доме пусто. Подхожу к трюмо, смотрю в зеркало и вижу себя, но не мальчика в платье, а себя взрослого, в джинсах и сером свитере, в котором я хожу в школу. Передо мной стоит бабулина музыкальная шкатулка в форме фортепьяно. Я открываю её, зная, что она не заиграет, потому что сломалась очень давно, но из неё неожиданно раздаётся мелодия «К Элизе». Я с удивлением слушаю, как она проигрывается полностью. Я знаю, что второго раза не будет, она должна замолчать, но почему-то

мелодия повторяется снова и снова, пока я не просыпаюсь, чтобы понять, что она на самом деле играет в комнате. Я лежу какое-то время с закрытыми глазами и слушаю механическую музыку, потом Андрей начинает ворочаться, встаёт, подходит к стоящему на столе электронному будильнику, нажимает на кнопку и ложиться обратно в постель. Через пять минут история повторяется, и через десять Андрей по-нуру идёт в ванную, не взглянув на меня.

Мы попрощались быстро, без сентиментальностей. Андрей попросил не звонить ему, потому что он «живёт не один и не хочет, чтобы возникли какие-то подозрения», но обещал найти меня, как только снова будет возможность встретиться.

Я шёл домой с осознанием того, что я теперь другой. Это случилось. Я раньше не понимал, что мне нужно, чтобы стать окончательно взрослым, но было необходимо именно это. Дома, деревья, трамваи, машины, снег под ногами, тучи над головой, пешеходы — всё казалось прежним, но я как будто снял тёмные очки, и привычные вещи стали видеться по-новому. Особенно прохожие. Они ни о чём не догадывались и просто спешили по своим делам, не обращая на меня внимания, но я-то знал, что теперь я перешёл в другой разряд, встал на одну с ними ступеньку. Я улыбался сам себе от огромного всеобъемлющего счастья, которое теперь будет длиться вечно, потому что иначе нельзя. Ведь счастье это не зависело от будущего, оно было принесено произошедшим, а значит, у меня его уже не отнимешь.

Домой я пришёл достаточно поздно, нужно было хватать рюкзак и бежать в школу. Как только я открыл дверь, в нос ударил непривычный с утра запах сигарет. Мама. Во вчерашнем сомнамбулическом состоянии я совсем о ней забыл. Но она была — и была дома, и, видимо, тоже не спала всю ночь, но совсем по другой причине. В квартире было накурено так, что выступали слёзы. Когда я вошёл в коридор, она уже

стояла там, сигарета в руках, красные от бессонной ночи глаза, уголки губ опущены от гнева и обиды.

— Ну. Ты где был? — тихо спросила она. Она всегда начинала скандалы тихо, чтобы показать, что она и не собиралась орать на меня, но я сам её вывел.

— У друзей, — прошептал я, понимая, что это объяснение её вряд ли удовлетворит.

— У каких друзей?

— Ты их не знаешь.

— Ах, я их ещё и не знаю. Так, замечательно. А кто тебе разрешил ночевать не дома?

— А что такого? — всё так же тихо спросил я.

— Да ничего! Что такого?! У него ещё наглости хватает спрашивать, что такого! А я должна не спать ночами, волноваться, потому что он с друзьями, видите ли, развлекается! — мама перешла на ор, но хорошо хоть, что от меня ничего больше не требовалось, кроме как стоять и ждать, пока она не выдохнется. — Мало того, что ты не дорос ещё, чтобы ночевать неизвестно где, так ты хотя бы мог позвонить и сказать, что домой не придёшь! Это что за новые манеры такие? Ты решил совсем с ума меня свести?!

Мама кричала и кричала, я уже безнадежно пропустил первый урок, а она всё не собиралась останавливаться. Под градусом упрёков я прошёл в свою комнату, взял рюкзак и был готов уйти, как только закончится экзекуция.

Самое неприятное заключалось в том, что она была права, и мне действительно было стыдно, что я не оставил никакой записки. Но выкажи я раскаяние в части содеянного преступления, для мамы это означало бы, что я принял свою вину полностью. То есть у меня не было бы больше возможности ночевать не дома. Поэтому я ждал, когда она перейдёт к частностям, чтобы отстоять для себя этот пункт.

— Ну и где же ты ночевал, что за друзья такие?

— Неважно, — прошептал я.

— Что значит «неважно»? А где мне искать тебя, если тебя дома нет, это тоже неважно?

— Не надо меня искать.

И тут началась обычная перестрелка, в которой мама па-лила из гаубиц, разнося всё вокруг, а я отвечал скромными выстрелами из винтовки, но гаубицы ничего не могли сде-лать против моей винтовки, потому что она была тихая, но упрямая.

В результате мама отпустила меня в школу, но, поскольку ни к какому финальному решению мы не пришли, бой нельзя было считать законченным. К этому я тоже привык: если ей не удавалось сломить моё сопротивление сразу, она с новыми силами бралась за дело позже, пока не понимала, что всё бесполезно и придётся со мной если не согласиться, то по крайней мере закрывать глаза на то, что я престоупаю её запреты.

Скандал вылетел у меня из головы, как только за мной захлопнулась дверь парадной. Меня снова охватило безгра-ничное счастье от произошедшего и ещё от того, что никто не знает об этом. Это была моя тайна, наша с Андреем. Даже Артур заметил, что со мной что-то не так и спросил на пере-мене, отчего я такой приподнятый, на что я ответил со всей загадочностью, на которую был способен:

— Ну, есть причины.

Он не стал меня допрашивать, следуя давней традиции, что когда один из нас не хочет о чём-то рассказывать, второй не задаёт вопросов.

Андрей, Андрей, Андрей. Он не выходил у меня из голо-вы ни на минуту. Всё, что я делал, говорил, было как во сне. Наяву были только мысли о нём, о проведённой ночи, о том, как он гладил мою руку в кафе, о сметане, о бетховенской мелодии, которая пришла из детства, чтобы сделать меня

счастливым. Я не думал, любовь это или нет, мне не хотелось вешать ярлыки на наши отношения, мне просто было приятно ежесекундно думать о нём.

Когда же он позвонит? Я знал, что Катя вернулась, и не было известно, когда уедет снова, но он мог бы просто набрать мой номер, чтобы спросить, как у меня дела. Я не сомневался, что он объявится, просто у него много работы, нелегко же, наверное, быть журналистом.

Катя с Артуром заходили чуть не каждый день. Артур разболтал, что у меня появилась таинственная незнакомка, так что они, хоть ни о чём и не спрашивали, но порой подначивали, шутя над моей отрешённостью:

— Что-то ты, Артёмка, совсем сам не свой. Мучает тебя твоя зазноба?

Сам факт существования зазнобы я не отвергал (да они и не поверили бы), но просто улыбался и переводил разговор на другую тему.

Я всё ждал, когда же Катя объявит о том, что снова уезжает, но с её последнего отъезда прошло так мало времени, что надеяться на новый не приходилось. В общем-то я и встречался с ними так часто только из-за того, что надеялся получить информацию из первых рук. Каждый день, когда она ничего такого не говорила, казался потерянным.

Андрей не звонил. Я начал не то чтобы волноваться, но мне физически не хватало его. Я осознал, что значит «сохнуть по кому-то». На самом деле чувствуешь себя цветком, который никто не поливает. Мне казалось порой, что я даже мог бы пережить какое-то время без близости, раз уж он не мог пригласить меня домой, но мне нужно было поговорить с ним, услышать его голос или, может, увидеть его на какие-нибудь полчаса. Вечерами я иногда приходил к его дому, смотрел в его окна, боялся налететь на Катю, надеялся столкнуться с ним. Но никого так и не встретил.

Однажды после уроков, когда я переобувал сменку в холле, ко мне подседа Ира. Мы давно не разговаривали, она всё больше болтала со своими подругами, а после школы сразу уходила. Андрей и все остальные давно вытеснили её из моей головы, но когда мы снова очутились так близко, я вдруг смутился, как будто мы вернулись на пять лет назад, когда я был влюблён в неё. Она сильно изменилась. Теперь это была не девочка-подросток, чуть наглая красота которой только начинала прорываться. Она стала женщиной, было сложно поверить, что она всё ещё ходит в школу. Надетая на белую рубашку облегающая кофта подчёркивала грудь, открытую чуть больше, чем позволяли школьные правила. Узкие джинсы, явно купленные за границей, обтягивали стройные длинные ноги. Её чуть подкрашенные чёрные глаза, обрамлённые длинными ресницами и дугами бровей стали ещё больше. Они смотрели прямо, с нескрываемым интересом, но всегда немного насмешливо. Цыганские смоляные волосы казались ненастоящими, хотелось пощупать их. Только в её губах по-прежнему оставалось что-то детское, они всё так же не могли уняться и постоянно двигались, выдавая её неугомонный характер. Она дождалась, пока я завяжу шнурок, и необычно нежно спросила:

— Как дела, Артёмка?

— Нормально, — чуть слышно ответил я.

— Вот, смотри, что я тут на антресолях нашла.

Она немного повозилась с сумкой, где не водились учебники, и вынула оттуда фотоаппарат. Тот самый, который я подарил ей перед пятимесячным расставанием, казавшимся вечностью, но никто не мог подумать, что оно затянется так надолго. Я осторожно взял его, как будто это была хрупкая древняя реликвия. Было приятно поглаживать пальцами шершавую отделку из кожзама и холодный металлический корпус. Крючок на верхней панели немного скрипел, я отвёл его, направиł объектив на Иру и нажал на кнопку. Она рассмеялась:

— Дурачок, там плёнки уже сто лет не было, я им и не пользовалась, боялась маме показать: вдруг заставит вернуть.

Я посмотрел на неё и увидел в её теперь таких взрослых глазах ту, другую, Иру, с которой нам было так хорошо вдвоём в занесённой снегом деревне. Я рассмеялся в ответ, и мы начали хохотать, сидя на школьной лавке.

— И вот ещё. Специально для тебя тогда напечатала, но отдать так и не было okazji, — она протянула мне несколько помятых чёрно-белых снимков.

Вот какими мы были. Два бесформенных создания в огромных безразмерных ватниках, валенках и шапках, укутанные в платки и шарфы так, что лиц вовсе не видно. Стоим возле кустов, ветки опустились под тяжестью налипшего снега, видно, была оттепель, и он намок, но ещё не свалился. Мы казались похожими на партизан войны с Наполеоном, вылезших из дремучего леса. Маленькие партизаны, для которых не было другого мира, кроме нескольких аллей. Кто бы мог подумать, что между ними разыгрывалась совсем недетская драма с любовью, слезами и даже робкой физической близостью. Сильно ли отличались тогдашние мои чувства от того, что происходило в моей душе сегодня? Чего я искал тогда? Человеческое тепло, ласку. Хотелось стоять на железнодорожной насыпи и смотреть на лес, держась за руки. Хотелось смеяться и слышать ответный смех. Хотелось знать, что есть кто-то, кому со мной так же хорошо, как мне с ним. Много ли изменилось с тех пор?

Я поблагодарил Иру, молча разглядывавшую фотографии вместе со мной, оделся и пошёл домой. Пока не отдавая себе в этом отчёта, откладывая окончательное решение, я уже знал, что фотоаппарату, фотографиям и моей первой и последней любви к девушке суждено перекочевать на другие антресоли и остаться там ещё на неопределённое время, пока кто-нибудь не потревожит их сон.

С нашей встречи с Андреем прошло две недели. Счастье сменилось тревожным ожиданием. Ожиданием звонка и тревогой о том, что он не позвонит. В конце концов, с чего я взял, что для него это так же важно, как для меня? Он старше, у него, может, постоянно появляются и исчезают молодые мальчишки, но ни с кем он не заводит ничего серьёзного, иначе не жил бы с Катей. Но если бы знать это наверняка! Я жил в полнейшей неизвестности и заброшенности, мне не с кем было ни разделить свою тоску, ни обсудить её.

Запертый своими секретами, я ощущал потребность выговориться, излить всё то, что бурлило в моей душе. Я решил прибегнуть к давнишнему способу всех одиноких страдальцев и взялся за бумагу и ручку.

Я снова начал писать стихи, но они были лишь метафорическим отражением моих переживаний, мне же нужно было поделиться всеми деталями своего счастья и своей боли. Я принялся за дневник.

ДНЕВНИК АРТЁМА

Понедельник 17 января, 01:20

Он не звонит, не звонит, не звонит. Я не знаю, что делать и что думать. Я один, совсем один, некому рассказать, поплакаться, спросить совета. Что мне делать дальше? Позвонить ему? Подождать его у парадной? Слишком опасно. И он наверняка рассердится на меня. Лучше ждать. Но я не могу ждать вечно! Нет, я могу ждать вечно, но только это будет вечное мучение, как в аду. Нет, не как в аду. В аду нет надежды, в аду знаешь, что мучение будет вечно, и от этого должно быть легче. А когда не понятно, стоит ли надеяться или эта надежда будет лишь иллюзией, от этого становится нестерпимо грустно и обидно.

Вторник 18 января, 00:20

На уроках думаю только о нём. Меня, наверное, скоро из школы исключат. Сегодня была контрольная по алгебре, я решил не сдавать пустой листок, потому что так ничего и не решил и просто незаметно вышел из класса, когда прозвенел звонок. Хорошо, что математичка слепа, как крот.

Не думать о нём невозможно. Его руки, тело, кожа, мускулы, как он ласкал меня — сначала сидя на диване, потом в постели. Бегаю в туалет в школе по 10 раз на дню, надеюсь, Артур ничего не заметил. Какое же блаженство лежать с ним рядом, чувствовать его. Даже эти моменты, пусть не самые приятные, но одно только сознание того, что он во мне, всё меняло. Это — верх единения между двумя людьми. Мне больше ничего не нужно, хотя я не уверен, что готов повторить это с кем-то другим.

Четверг 20 января, 23:50

Сегодня решил позвонить ему. Вышел вечером на улицу, нашёл автомат (пришлось идти к метро, рядом с домом остались будки, но телефоны разбиты). Набрал его номер, ответила Катя. Помолчал в трубку, потом повесил её. В таких условиях невозможно жить.

Пятница 22 января, 02:30

*Я — разломленный надвое ствол, разветвлённый грозой,
Разлетелись обломки коры и обрывки листьев.
На все сто не уверен, но казалось мне, был живой,
Пока ты не разбил меня этим точным выстрелом.*

*Я стараюсь впитать в себя каждую каплю дождя,
Но они лишь стекают по чёрному жёлобу вниз.
Нужно будет учиться по-новому жить без тебя,
Но так трудно поверить, что в углях осталась жизнь.*

Он позвонил мне через две с половиной недели, когда я уже места не находил от отчаяния, перестал ходить в школу и целыми днями лежал на диване, как несколько лет назад.

— Ну чего, воробей, как дела?

Артур назвал меня воробьём, когда мы только познакомились. Меня тогда это немного задело, но в устах Андрея это звучало нежно. Все сомнения, неуверенность, страх, злость, раздражение последних дней испарились, как будто их никогда и не было.

— Всё хорошо. Ты куда пропал?

— Я не пропал. Работы было много. И потом я не один, ты же знаешь, — уж это я знал прекрасно.

— Когда увидимся?

— Хочешь, сегодня?

Конечно, я хотел сегодня, хотел прямо сейчас, не в силах оттягивать встречу ни на минуту.

Андрей удивился тому, как быстро я дошёл. Он снова приготовил какой-то холостяцкий ужин, но в этот раз я чувствовал себя более раскованно. Я болтал без умолку о школе, о том, как я рад его звонку, о том, что мама закатила мне скандал прошлый раз, когда я не ночевал дома...

— Ну и что ты сказал маме?

— Да ничего. Чего я мог сказать. Не буду же я рассказывать ей, где провёл ночь, — весело ответил я, — но в этот раз записку оставил, чтобы она не ждала меня.

— Артём, лучше, если твоя мама ничего не будет знать о том, что происходит. Ничего серьёзного она сделать не сможет, ты уже мальчик большой, но мне не нужны проблемы, понимаешь, — серьёзно произнёс Андрей.

Меня немного задела эта его манера говорить со мной, как с маленьким, будто я и сам не понимал, что наши встречи надо держать в тайне.

— Да-да, конечно. Я и не собираюсь ей ничего рассказывать.

Потом мы снова говорили о его работе, и я твёрдо решил, что стану журналистом. Андрей считал, что есть только два стоящих вуза: университет в нашем городе и МГУ. Я, конечно, решил, что не смогу жить за 700 километров от него и поступать буду здесь. Он отыскал адрес и телефон приёмной комиссии, но сказал, что надо заранее готовиться к экзаменам.

Наконец он встал, убрал со стола и только потом подошёл ко мне и поцеловал. Я мог бы часами целоваться с ним, такими мягкими, нежными, но в то же время сильными были его губы. Мне нравилось ощущать лёгкий запах мужского пота, который исходил от него, чувствовать его юркий язык, открывать глаза и видеть его закрытые веки с чёрными густыми ресницами. Это был тот момент, которого я так ждал последние две недели. Нет, момент, которого я ждал всю жизнь.

Потом повторилось всё, что было и в прошлый раз. Я не мог насытиться его телом, не мог оторваться от него, мне хотелось не переставая смотреть на него, гладить его, целовать. Мне снова было больно, но я терпел, и мне становилось хорошо от одной только мысли о том, что происходит.

— Ну, пока, воробей, — сказал он мне на следующее утро, — учи историю для экзаменов.

— Ты мне позвонишь? — я хотел было спросить, когда он мне позвонит, чтобы ждать этого дня и часа, но понимал, что он, наверное, не сможет ответить на этот вопрос, соврёт что-нибудь, а я буду страдать ещё больше.

— Не знаю, Артём. Может, в этот раз долго не позвоню, но позвоню обязательно.

— А хочешь, приходи ко мне в гости днём? У меня мама всё равно на работе.

— Нет, воробей, мне работать надо. К тому же что если твоя мама вдруг заявится раньше? Я не очень-то похож на твоего одноклассника.

Вторник, 10 февраля, 00:40

Вот интересно подумать о том, что такое секс. Где начинается секс и заканчивается игра. Всё, что было раньше, — было просто игрой, я это знаю. Но если теперь, скажем, Андрей перестанет делать мне больно, то у нас всё равно будет секс? С женщинами всё просто, а тут, мне кажется, не обязательно делать так, как он делает.

Среда, 11 февраля, 00:00

Нет. Ерунда. Пусть делает всё что угодно. Да, я знаю, что это больно, но когда его нет рядом, всё, о чём я думаю, — именно это. Это — высшая точка блаженства, даже если она сопряжена с болью.

Взаимное обладание. Если с женщинами всё опять же просто — мужчина обладает, а женщина отдаётся, то у нас всё по-другому. Хотя технически похоже на секс с женщиной, но всё равно я обладаю им так же, как и он мной.

О, как мне его не хватает!

Я ждал. Теперь, когда он обещал позвонить, ожидание было не таким тяжёлым. То есть нет. Оно было таким же тяжёлым, но не превращалось в отчаяние. Я понимал, что вечером рядом с ним Катя, а днём он окружён коллегами, так что он никак не может говорить со мной. Но я знал, что он думает обо мне, пусть и не так много, как я о нём, и рано или поздно позвонит.

Я съездил на журфак, выяснил всё про экзамены, купил учебник по истории и начал штудировать его после школы. Мама ничего не говорила, было заметно, что она не очень-то одобряла моё решение с университетом, но она видела, с каким энтузиазмом я взялся за дело, поэтому понимала, что переубедить меня невозможно.

Я должен, должен поступить именно сюда! Помимо звучной профессии и возможности работать в той же сфере, что

и Андрей, а значит, пересекаться с ним, у меня была ещё одна мысль, в которой я не хотел себе признаваться, но она жила, там, далеко на задворках сознания. Все уже и думать забыли о распределении по классам, которое было несколько лет назад. Я был вполне себе счастлив в физико-математическом, хотя ни в какой из мёхов поступать не собирался. Но обида на судьбу вообще и на Вадимовну в частности никуда не делась. И тут мне представлялась прекрасная возможность доказать, что она ошибалась во мне, что я заслуживал её класса гораздо больше других ребят, которые и не мечтали о блистательной карьере журналиста. От этой мысли становилось сладко, но то была запретная сладость. Хотя я и не считал гордыню таким уж грехом, но понимал, что в ней нет ничего хорошего, если она предвворяет само действие.

Прошло две недели, прежде чем он позвонил. На этот раз я хоть и обрадовался, но знал, что на встречу надеяться не стоит: Катя никуда уезжать не собиралась.

— Ну что, воробей, скучаешь?

— Ну, так. Чуть-чуть, — игриво ответил я

— М-м. Ну, правильно. Нечего скучать, — серьёзно сказал Андрей, так что я пожалел о своей шутке. — Ты завтра вечером что делаешь?

— Ничего особенного, а что? — сердце радостно забилося.

— Ну, так, просто, хотел встретиться.

— Давай.

— Только не у меня. Мне друг один квартиру свою дал, можем у него. Это недалеко. Но надо на метро ехать. Только я потом домой: я-то не с мамой живу, не могу ночевать, где попало.

Мы стали встречаться на квартире этого друга три раза в неделю. Друг работал диджеем в каком-то клубе и дома почти не ночевал. Андрей наврал ему, что у него появилась любовница, но Катю он бросать не собирается. Друга это

объяснение, видимо, устроило, по крайней мере, я никогда его не видел.

Было немного странно встречаться на чужой квартире, не хватало прелюдии жареной рыбы. Мы разговаривали с Андреем по дороге, но это было не совсем то. Близость стала какой-то деловой. Будто мы встречались в столовой на обеде, быстро ели и тут же расходились по своим кабинетам (или куда там расходятся после обеда журналисты?). А самое неприятное заключалось в том, что потом, после всего, когда так хотелось полежать, обнявшись, насладиться близостью и теплом, приходилось вставать, одеваться и выходить в холодную ночь. Но я понимал, что у меня нет выбора: можно или встречаться вот так, урывками, скрываясь в чужом месте, или не видеться вовсе.

Мама вроде бы закрывала глаза на мои отсутствия и поздневечерние приходы. Мы вообще мало разговаривали в последнее время, потому что я взял за правило не просто увёртываться от её вопросов, а вовсе не отвечать на них, мотивируя это тем, что не нужно лезть в мою личную жизнь. Мама покричала-покричала, но сделать с этим ничего не смогла, поэтому просто провожала меня недовольным взглядом каждый раз, когда я приходил слишком поздно.

Но я знал, что она следит за каждым моим шагом и всё регистрирует в своей виртуальной папке с надписью «Дело№» и моим именем.

Однажды на выходных, когда я по старинке стоял у раковины и чистил картошку, она вдруг спросила:

— Ну что, как в школе дела? — этот вопрос, самый что ни на есть обычный, задаваемый детям всеми родителями, из уст моей мамы звучал по меньшей мере странно. Мало того, что её никогда особенно не интересовало, как у меня дела в школе — двоек нет, никто не звонит, и ладно, — но в последние годы она совсем отдала моё образование мне на откуп и никогда им не интересовалась даже из вежливости.

— Нормально.

— Как Артур?

— Хорошо.

— А как его девушка? — вот он, вопрос с подвохом. Мама не могла ничего знать про Катю, потому что никогда не видела её, а я на эту тему не распространялся.

— Тоже ничего, — тем не менее ответил я.

— Ну, а у тебя-то девушка есть?

— Нет.

— В твоём возрасте пора бы уже завести, нет?

— Не знаю.

— А вот скажи мне, Артём, — и тут мама подошла так близко, что мне пришлось оторваться от картофелины и посмотреть на неё, — а вот когда ты на мальчиков смотришь, ты ничего себе такого не представляешь?

Мама застала меня врасплох, даже нож чуть не выпал из рук. Впрочем, после минутной паники мне удалось вернуться в своё конспиративное настроение:

— Что такое не представляю?

— Ну, что они трогают тебя или вы ещё что-то делаете?

— Нет, — я старался отвечать максимально твёрдо. — Ничего такого я себе не представляю.

— Ну ладно, — хмыкнула мама, ничуть мне не поверив.

Я вернулся к картошке. С чего она взяла это? Откуда узнала? Материнская интуиция? Нет, в такие глупости я не верил. Сколько раз мне удавалось обманывать её по самым разным поводам, хотя она всю жизнь твердила, будто распознаёт ложь по запаху. У лжи нет запаха, есть просто люди, которые не умеют правильно лгать. К тому же почему она завела этот разговор именно сейчас, когда с Андреем всё было более-менее хорошо, и я не страдал, как раньше, и вообще был в тонусе.

Чтобы избежать дальнейших расспросов, я ушёл к себе, как только картофельная вахта была закончена. Я принял

размышлять над тем, что думает и о чём знает мама, но ответ не заставил себя долго ждать.

Она вошла ко мне в комнату, как всегда, не постучавшись. Передник чуть сбился в сторону, в руках кухонное полотенце, вид решительный и немного угрожающий.

— Тогда скажи мне, Артём, кто такой Андрей?

Внутри всё оборвалось. Она знает. Я посмотрел на неё таким взглядом, каким смотрел в детстве, когда она прижимала меня к стенке с доказательствами какого-нибудь ужасного преступления, и я понимал: что ни говори и ни делай сейчас, наказания не избежать. Мне даже показалось, что она сейчас размахнётся и ударит меня мокрым полотенцем, я рефлекторно втянул голову в плечи и ссутулился.

— Ну, что же ты молчишь? — она начала повышать голос. — Что же ты ведёшь какую-то двойную жизнь, а мне врёшь в глаза и думаешь, что я последняя дура? — и тут она на память выдала мне фамилию Андрея и его домашний телефон.

«Наверное, подсмотрела в моей записной книжке», — подумал я. Но всё остальное?

— Артём, скажи мне, зачем ты это всё делаешь? Скажи, у меня что, сын педиком вырос?

— Перестань ругаться, — только смог выговорить я, прицепившись к последнему слову.

— Перестать ругаться? А что мне ещё делать? — и тут мама стала не только кричать, но ещё и плакать. — Что мне делать-то с сыном-пидорасом? Может, ты ещё на панель завтра пойдёшь, чтобы деньги своей жопой зарабатывать? Перестать ругаться? Ёб твою мать, что мне ещё остаётся? И ещё скрывает всё! И ещё врёт! Да за что мне такое наказание-то? Никогда у нас в семье такого не было. Ты откуда такое удумал-то? Что ты в этом нашёл-то? И ещё расписывает всё, как в романе!

— Так ты нашла дневник! — захлебнулся я от обиды.

— А как мне было не найти-то, если ты его на виду оставил? — стала вдруг оправдываться мама, но потом опомнилась и вернулась к главной теме. — Да ты что вообще говоришь? Какая разница, откуда я узнала? Ты думаешь, что я рано или поздно не узнала бы, что у меня сын — гомик?

Она кричала, плакала, размазывая полотенцем слёзы и тушь. Я никогда не видел её такой. Не говоря уже о том, что я ни разу не слышал её такой. Может, моя мама и ругалась матом в кругу своих друзей, но она никогда не позволяла себе грубо выражаться дома. Табу было таким сильным, что я и сам никогда не позволял себе этого и даже в школе пресекал Артура, если мне казалось, что он слишком разошёлся. Это, правда, мало помогало, так что большую часть его слов я пропускал мимо ушей.

— И вот ещё это! Ты ещё и всякую грязь будешь в дом тащить?! — и она бросила в меня бубновый валет, который, как мне казалось, был спрятан достаточно надёжно, ей пришлось бы перерыть всю библиотеку, чтобы найти его.

Я стоял напротив неё, не зная, что отвечать. Да, я был виновен по всем статьям, но был ли я действительно виноват? В детстве можно было оправдаться тем, что я случайно разбил окно, или поклясться, что никогда больше не буду воровать конфеты из серванта. Но что я мог сказать теперь? Даже если бы она немедленно выгнала меня из дому, я не перестал бы видеться с Андреем и даже не смог бы солгать ей, пообещав это, ведь теперь наши отношения было невозможно скрывать.

Мне хотелось, чтобы она замолчала и ушла, оставив меня, наконец, в покое. Мне-то было некуда идти, да и невозможно было двинуться, потому что она стояла в дверях комнаты. Я покраснел от злости и обиды. Даже в худшие времена в школе я не выслушивал столько оскорблений за такое ко-

роткое время, хотя все эти слова уже были произнесены по отношению ко мне в тех или иных ситуациях.

Почему она так говорит со мной? Кто ей дал право унижать меня? Почему я не могу ничего ответить и просто стою и слушаю словесный понос, который льётся из её злого рта? Мне хотелось кинуться на неё с кулаками, бить её по лицу, по голове, по этим её заплаканным глазам. Убить, раздавить, уничтожить её. Я ненавидел её всем сердцем. Я и раньше ненавидел её в такие моменты, но ненависть моя ждала этой минуты, чтобы переполнить меня всего и остаться со мной на всю жизнь, а не только на пару часов скандала. И ещё я понял, что она, моя мама, тоже ненавидела меня. Не просто не любила, как не любят неожиданных детей, а именно ненавидела. Она не раз говорила, что аборт в моём случае был бы прекрасным решением, но теперь, когда я переступил что-то, стал не тем, кем она хотела меня видеть, теперь она ненавидела меня по-настоящему.

Я не произносил ни слова, потому что знал — если начну говорить, скажу всё. А сказать всё было бы слишком много. Поэтому я стоял и смотрел на неё, стиснув кулаки.

Она увидела ярость в моих глазах. Точнее, её ненависть в какой-то момент схлестнулась с моей. Она выдохлась, вышла, громко хлопнув дверью, и заперлась в своей комнате.

Штитель.

Всю следующую неделю мы не разговаривали. Бойкот не был объявлен официально, но каждый вечер мама закрывалась в своей комнате и не выходила до утра. Я тоже старался не показываться ей на глаза, не представляя, каково будет продолжение всей этой истории.

Я спрятал получше уже написанные дневники и решил, что впредь буду писать их по-английски. Мама всё равно не поймёт ни слова, да и со словарём будет переводить сложно — почерк у меня был неразборчивый.

За эту неделю мы встретились с Андреем только один раз. Я вернулся домой поздно, мама ещё не спала, я боялся, что она закатит истерику — теперь-то она прекрасно знала причину моей задержки. Но она даже не вышла, как раньше, чтобы недовольно посмотреть на меня. В принципе, меня такой расклад устраивал. Она вроде была, но в мою жизнь не мешалась.

Но мама отнюдь не остыла. Что-то кипело в ней, бурлило за закрытой дверью её комнаты. То, что должно было рано или поздно взорваться.

В воскресенье она вошла ко мне с деловым и серьёзным видом, говорящим: «Что бы я ни сказала, ты обязан повиноваться, это моё окончательное решение». Я заранее приготовился к скандалу, поняв сходу по выражению её лица: мама прекрасно знала, что я с этим её решением согласен не буду.

— Артём, я всё продумала и решила. Если тебе так уж нравится спать с мужчинами, надо сделать операцию по перемене пола. Потом мы сможем переехать куда-то, чтобы мне в глаза соседям смотреть не пришлось. Но так дальше продолжаться не может.

Это был довольно-таки неожиданный поворот сюжета. Мама стояла и смотрела на меня, ожидая моей реакции. Она была похожа на Кутузова, который решил сдать Москву, но лишь затем, чтобы победить противника позже. Я не мог понять, говорила ли она серьёзно или просто пыталась меня напугать? Как в детстве: «Если ты не прекратишь ездить по шоссе, то придётся нам, наверное, выбросить твой велосипед на свалку». Что бы она сделала, согласись я на это чудовищное предложение? Начала бы серьёзно готовиться к операции и переезду? Или просто тянула бы время, понимая, что переменить пол не так же просто, как вырвать зуб? Я решил, что надо отсрочить момент крика, насколько это возможно, потому что когда она начнёт орать, диалога не получится:

— Нет, не надо мне менять пол. Я не хочу быть женщиной. Ты не понимаешь. Мне нравятся мужчины, но я хочу остаться мужчиной.

— Но это же ненормально, — всё ещё спокойно ответила мама.

— Ну почему же ненормально. Есть много таких же людей, как я и...

— И их раньше сажали в тюрьму или лечили — и правильно делали. Потому что надо их ограничивать, чтобы они не распространяли эту заразу. Вот ты попался в руки к такому, и что теперь делать?

— Так ты думаешь, что это Андрей виноват?

— Не произноси его имени при мне, — взвизгнула мама, а затем продолжила более сдержанным тоном, — а кто же ещё?

— Ты не права. Никто не виноват, просто я такой, как есть, и ничего с этим невозможно поделать.

— И ты, значит, будешь упорствовать в этой гадости?

— Я не могу по-другому, неужели ты не понимаешь?

Это были последние нормально произнесённые слова, после которых снова начались ковровые бомбардировки:

— Артём, я не понимаю, почему ты не хочешь по-другому. Это противно природе — то, что ты делаешь. Это отвратительно и грязно, ты что, не видишь этого? Я всю неделю об этом думала и честно себе пыталась представить себя в такой же ситуации, с женщиной. Но мне каждый раз становилось противно, когда я представляла, что женские руки меня трогают. Это мерзость, — мама снова начала плакать и кричать. — Ты что, не понимаешь, что у меня хорошо развитое воображение? Что я всё время представляю, как тебя в жопу трахают?!

— Мама, перестань...

— Что перестань? — снова оборвала она меня. — Что перестань? Ты ничего не хочешь менять, прекрасно устроился,

а я что должна делать по-твоему? Ты будешь трахаться с кем попало, а мне сквозь пальцы на это смотреть? Мне гомики в квартире не нужны, понял? Так что решай сам — или ты будешь нормальным, как все остальные, или вали себе к своему Андрею, Херею или кому там ещё, мне всё равно. Я тебя не для того воспитывала, кормила все эти годы, чтобы ты стал пидором! Я себе во всём отказывала, новых сапог купить не могла, чтобы ты сыт был всегда и одет! И что я получаю взамен? Сына-пидораса?! Нет! Меня это абсолютно не устраивает, — крикнула она и вышла, громко хлопнув дверью.

Она это всё, конечно, несерьёзно. Она не могла иметь всё это в виду... Или могла? То есть она ставила меня перед выбором — или оставить Андрея, или уйти из дому? Она не представляла, что совместная жизнь с Андреем была пределом моих мечтаний, но она не могла знать, что это невозможно, потому что об этих сложностях я в своих дневниках не писал.

Я достал тетрадку и ручку и, то и дело заглядывая в англо-русский словарь, чтобы отыскать незнакомые слова, описал всю эту сцену.

Воскресенье, 18 февраля, 01:00

...Почему в моей жизни всё так сложно? Раньше я был один, совсем один, у меня были друзья (с которыми было невозможно поговорить по душам), была девушка (в которую, мне казалось, я влюблён, но теперь-то я понимаю, что это совсем не так). И не было никого, кто был по-настоящему близок, кто понимал бы меня. И вот теперь у меня есть Андрей. Он меня не любит, наверное, потому что иначе он был бы со мной, но он самый близкий мне человек. Почему я не могу быть с ним, и чтобы всё было просто?

И почему она должна делать мою жизнь ещё сложнее? Почему она не оставит меня в покое? Почему она так хочет, чтобы я был несчастен?

И все эти оскорбления. Зачем она так груба со мной? А я ничего не могу ей ответить. Я как был самым слабым, так и остался. Никогда не смогу бороться ни с парнями в спортивных куртках, ни с ней.

Да, они все правы. Я — педик. Андрей, по крайней мере, рано или поздно заведёт семью, детей, и никто не рискнёт его так называть, даже если он будет встречаться за углом с мальчиками вроде меня. А я никогда, никогда не буду заниматься этим с женщиной. Это отвратительно!

Я оказался в вакууме. Мама не разговаривала со мной, ожидая, что я сам приду и скажу ей, что со всем завязал и остаюсь дома. Андрей не звонил. В школе я старался оставаться один, потому что не хотел ни с кем общаться. Больше всего меня мучило молчание Андрея, конечно. Мама не имела никакого значения, коль скоро она не кричала на меня, не предлагала поменять пол и не выгоняла из дому. Но Андрей. Неужели у него и правда столько работы, что он не мог урвать для меня один вечер в неделю?

Когда мы встретились в следующий раз, он завёл странный разговор, который хоть ничем и не закончился, но заставил меня ждать его звонков с ещё большей тревогой:

— Знаешь, воробей, всё это не очень правильно, то, что мы делаем, — немного отстранённо произнёс Андрей.

— В смысле? — напрягся я.

— В прямом смысле. Это же не очень-то нормально, когда два парня... Ну, ты меня понимаешь.

— Нет, не очень.

— Ну ладно, проехали. Всё окей.

Но всё было не окей. Зачем он сказал это? Почему даже он вторил моей маме в оценке ненормальности наших отношений? Почему нельзя просто наслаждаться друг другом и не думать о том, насколько правильным это видят другие?

Когда я поздно пришёл домой в этот раз, мама решила изменить стратегию. Моё отсутствие яснее слов говорило о моём выборе, а она не могла оставаться безучастной. Она вылетела, словно фурия, из своей комнаты, из губ всё ещё вырывался дым от сигареты, которую она только что закурила, так что она была похожа на дракона, бросившегося на свою жертву.

— Так, значит, ты ничего делать не намерен? Значит, так и будешь трахаться с этим грязным мужиком? Значит, так и будешь меня позорить и издеваться надо мной? Ты же специально это делаешь, чтобы меня злить, я знаю. Тебе же не нравится, когда тебя в жопу трахают, ты сам об этом писал. Ах ты, упрямая тварь такая!

Она орала так, как не орала давно, вся красная от гнева. Казалось, она сейчас бросится на меня с кулаками, но я был уже почти на голову выше её, поэтому она сдерживалась и к физическому воздействию прибегнуть не решалась.

— Это сколько всё будет продолжаться? Ты думаешь, я тебе позволю делать, что тебе вздумается? Ты думаешь, ты так удобно устроился, что мать молчит, так он будет делать, что хочет?!

Это могло продолжаться часами. Не было смысла стоять и слушать, тем более что хотелось спать, а завтра идти в школу. Я стал раздеваться, опустив глаза, делая вид, что я в коридоре один. Это ещё больше заводило её. В том, что она говорила, не было ничего нового. Всё крутилось вокруг одного и того же. Она мне столько всего дала и так меня прекрасно воспитала, а я, неблагодарная скотина, вот чем ей отплачиваю.

Я прошёл в свою комнату, расстелил постель и сел на край, чтобы не раздеваться при маме. Должна же она когда-нибудь закончить. И действительно, поняв, что от меня ничего не добьёшься, и, наверное, просто выбившись из сил, она, выходя, бросила последний камень:

— Да и ладно. Хочешь быть пидором, так и будь, только меня не впутывай в это!

Так же, как сезоны сменяют один другой, и после затишья наступает период бурь, молчание в нашей квартире закончилось, и началась пора истерик. Сцены устраивались почти каждый день. Иногда она просто орала с порога, если был повод. В другие дни приходила с серьёзными предложениями — лечь в психиатрическую лечебницу, найти психотерапевта или пропить курс мужских гормонов. И опять орала, когда я с её предложениями не соглашался. Из дому она меня больше не выгоняла, хотя исключать это я не мог. Крики, крики, крики... Я не понимал, откуда только у неё берётся столько сил, чтобы так много и долго кричать. Но эта атмосфера постоянной войны нимало не волновала бы меня, если бы только Андрей звонил чаще. В конце концов, мама орала всю жизнь, пусть и не так часто, но я к этому привык. А вот к тупой боли нервного ожидания привыкнуть было непросто.

В середине марта всё ещё держалась зима. Метель пронизывала насквозь, так что приходилось бежать от парадной до трамвая, от трамвая до метро и потом снова от метро до парадной. Мы встречались с Андреем вот уже почти два месяца. Он стал немного странный в последнее время. Не такой нежный, как в начале. Как будто эта холодная весна потушила тот огонёк, который и так с самого начала едва теплился. Наши встречи заканчивались раньше, чем могли бы, и начинались позже, чем мне хотелось. И, самое ужасное, мы встречались теперь совсем редко. Раз в две недели он звонил мне с работы, как сегодня, и говорил сухо, как будто я был его служащим: «Давай сегодня часов в десять?»

В этот раз всё снова произошло быстро. Я подумал, что так, наверное, бывает у проституток с их клиентами. Надо удовлетворить мужчину по полной, но с минимальными временными затратами, потому что тебя уже ждёт следующий.

Потом мы сидели на кухне и пили чай. Это была очень маленькая советская кухня, где стоял кухонный гарнитур, стол, плита и оставалось место только для двух табуреток, с которых можно было не вставать, если тебе что-нибудь требовалось, — достаточно было протянуть руку. Даже холодильник стоял в коридоре, так здесь было тесно. Мебель, кафельная плитка над раковиной, потолок — всё было грязно-белым, только стены выкрашены зелёной, выцветшей от времени краской, да на полу лежал протёртый жёлтый линолеум. Впрочем, я к таким кухням привык, так что вовсе не чувствовал себя неуютно.

— Знаешь, Артём, наверное, нам больше не нужно встречаться, — сказал Андрей, глядя в пол.

Надо признаться, как бы сильно я ни был влюблён, примерно этого я ожидал. Но как бы я этого ни ждал, мне стало страшно от надвигавшегося вслед за этими словами одиночества.

— Понимаешь, у меня семья, девушка, мне надо что-то строить и делать самому. И тебе тоже надо поступать в университет, делать карьеру, искать себе пару. Тебе же тоже жениться надо будет когда-нибудь.

— Никогда я не буду жениться, — прошептал я.

— Ну ладно, никогда не говори никогда. Ну, не будешь жениться, не нужно, а я вот хочу жениться, и мне кажется, что пора нам прекращать наше баловство. Я знаю, ты ко мне привязался, но тем лучше, если мы прервём это сейчас, пока всё не стало серьёзным.

— Всё уже и так серьёзно, — зло ответил я. Вот он как, значит, относится ко мне и к нашим встречам. Для него это

всего лишь баловство. Способ слегка разнообразить семейную жизнь.

— Ну тем более. Тем более надо прекращать.

— Почему? — спросил я, хотя Андрей, конечно, уже ответил на мой вопрос.

— Потому что я собираюсь жениться, Артём, я же говорю. У меня девушка есть, с которой я живу и которую мне не очень приятно обманывать. Она любит меня, я хочу построить с ней нормальную классическую семью, понимаешь?

Нормальную классическую семью. Значит, вот оно что. Всё-таки она победила — классическая семья.

— А твою девушку ведь Катя зовут? — спросил я.

Вместо того, чтобы удивиться, Андрей помолчал, потом пристально посмотрел на меня и сказал:

— Ну и когда ты всё понял?

Теперь настала очередь удивиться мне. Так он всё знал с самого начала и думал, что это я не узнал его... Вот почему я за всё время не видел ни одной Катиной фотографии.

— Да сразу понял. Я думал, ты меня не узнал.

— Ну, ладно. Знаешь так знаешь. Это ничего не меняет.

— Нет, — ответил я, — меняет.

Не могу сказать, что у меня созрел коварный план, как заполучить Андрея и расстроить эту свадьбу, — никакого коварства в моей голове не было. Слова вырвались сами собой, я даже не успел подумать о последствиях. Так, наверное, водитель на трассе должен среагировать на препятствие и вывернуть руль, не размышляя, что за этим последует — успешно ли он объедет помеху или вылетит в кювет.

— Я так хорошо знаю Катю, потому что она уже два года спит с моим лучшим другом.

И я выложил всё про Катю и Артура, про нашу дружбу с Катей, про то, что не только узнал его сразу, когда увидел в метро (ну, тут я приврал немного), но и что он понравился

мне с первого взгляда во время той нашей мимолётной встречи. Всё это выглядело так неправдоподобно, что можно было бы, наверное, написать роман. Но для Андрея это была реальная история о его невесте.

Я не мог ограничиться только основной информацией. Как вода, прорвавшая плотину, слова лились из меня потоком. Я выдавал всё больше и больше подробностей их отношений, иллюстрировавших, насколько далеко всё зашло. Я не просто раскрывал секреты, мне хотелось, чтобы Андрей знал всё, что было известно мне. В процессе этого увлекательного монолога я постепенно осознавал, что делаю это не просто из злости или ревности: у меня появился шанс спасти наши отношения. Ведь когда Андрей увидит, что его Катя — просто лживая изменница, он должен будет остаться с тем, кто любит его по-настоящему, то есть со мной.

Андрей не стучал кулаком по столу, не задавал вопросов, не изображал из себя разгневанного рога носца. Он вообще никак не реагировал. Правда, весь он посерел и осунулся, и только смотрел в пол. Когда я закончил свою исповедь (ну, или донос), он стал молча одеваться. Мы вышли на улицу, я, как всегда, остался ненадолго у подъезда, а Андрей пошёл в сторону метро — мы давно так делали в целях конспирации.

Мне стало немного страшно. Вдруг он вовсе не позвонит мне теперь? Разберётся с Катей, поругается с ней, а потом всё вернётся на круги своя? Нет, это было бы странно. Катя же не просто оступилась, она методично изменяла ему с одним и тем же человеком на протяжении двух лет. Такое сложно простить.

Оставалось только ждать, а ждать я научился.

Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день Артур пришёл ко мне и тут же выпалил:

— Тёма, такие дела, что просто пиздец. Катин хахаль всё узнал откуда-то, выгнал её на хуй из дома, она теперь у меня, заплакала, блядь, все подушки.

Будто камень с души — я вдруг понял, что помимо Андрея я волновался и за Артура: догадается ли он о том, каким образом раскрылась их тайна. Несмотря на то что ради Андрея я бы заложил кого угодно, я вовсе не хотел терять Артура. Надо было, впрочем, демонстрировать крайнее удивление и сочувствие.

— Артур, да ты что! Откуда? На улице вас встретил?

— Нет, бля, я без понятия, он такие подробности выдал, что я даже не знаю.

— Может, она сама ему рассказала?

— Да нет, чел, зачем ей это нужно. Бля, я не знаю, что делать.

— Ну, ты же хотел с ней быть, нет?

— Хотеть-то хотел, только как мы жить-то будем? Думаешь, меня родители по головке погладят, что я бабу домой притащил?

Снова я убедился в том, что когда люди заняты собой, они готовы съесть любую ложь. Мне казалось, что во время этого диалога я сидел красный, как рак, и будь Артур чуть внимательней, он наверняка увидел бы, что моё удивление — всего лишь имитация. Но он был так расстроен, что я мог бы вообще ничего не отвечать, он всё равно не обратил бы на это внимания.

Родители его и правда по голове не погладили. На следующий день Артур пришёл ко мне вместе с Катей. Катя была зарёванная, видно было, что она провела не самую лучшую ночь. Артур был мрачен и старался не смотреть ни на неё, ни на меня.

— Артём, как это всё произошло, я понять не могу, — начала причитать Катя. — Кто мог рассказать? Откуда он узнал? Никто не был в курсе, кроме нас троих. Значит, выследил кто-то? Два года не было ничего, и тут вот, как кирпич на голову.

Я старался не смотреть на неё, потому что знал: если мы встретимся глазами, я непременно покраснею. На Артура я не смотрел тоже. Вот уже второй раз в жизни получилось, что я, как бы сказать, не очень красиво поступил по отношению к нему. Но ведь оба раза я хотел сделать лучше ему же. Тогда, с Дианой, он совсем запутался, и ему нужен был выход из ситуации. Да и теперь хотя я и преследовал свои личные цели, мне казалось, что Артур обрадуется, когда узнает, что Катя будет принадлежать ему всецело. Я как-то не подумал про родителей и трудности с самостоятельной жизнью.

— Что же я делать-то теперь бу-у-у-ду-у-у, — ныла Катя, — теперь только домой к ма-а-аме, у меня ведь тут никого в городе. И в лицей я не поступила. Теперь мне только в колхоз. Дояркой работать. Да и то не факт, что возьмут, там тоже связи нужны.

Я не жалел о сделанном. А с какой стати? Моё счастье зависит от того, будет ли Андрей со мной или с Катей, и я не готов жертвовать своей любовью даже ради неё. Да и кто она мне? Девушка моего друга? Уж сердце у неё вряд ли будет разбито, потому что я не понимал, как можно кого-то любить и в то же время встречаться с другим. Может, для неё это вообще брак по расчёту: ну да, конечно, дояркой работать не надо, живёшь себе в прекрасной двухкомнатной квартире с серьёзным умным мужем, от которого каждый день чему-нибудь учишься. Её же слова! Так что нечего её жалеть, сама виновата в том, что всё так получилось.

Но вообще-то было жалко её, конечно. Первый раз за эти два года я видел её в таком состоянии, когда её оставил извечный оптимизм. Если и присутствовала доля расчёта в её отношениях с Андреем, было неприятно думать, что именно я стал причиной крушения её надежд. Но у меня ведь не было другого выхода. Я был бы готов на то, чтобы встречаться с Андреем тайком, так же, как мы делали до этого, но он ведь сам лишил меня выбора этой женитьбой.

Для Артура и Кати начались непростые времена. Несмотря на перспективы работать дояркой, к маме она не уезжала. Не было понятно, то ли она надеется помириться с Андреем, то ли решила строить серьёзные отношения с Артуром. Жили они у его родителей, а те каждый день им напоминали, что если они такие взрослые, то и жить должны отдельно. Денег не было, мне даже приходилось прикармливать их осторожно, чтобы мама ничего не заподозрила. Я надеялся, что долго это не продлится. До окончания школы оставалось совсем немного, потом Артур сможет найти работу, а Катя поступит наконец-то в свой лицей. Мне казалось, что не всё так плохо: им осталось потерпеть всего лишь несколько трудных месяцев, чтобы потом жить долго и счастливо и умереть в один день. Примерно в таком ключе я проповедовал Артуру, который жаловался на ужасы их существования.

Несколько дней я терпеливо ждал звонка Андрея. Я понимал, что он вряд ли объявится сразу, ему, наверное, нужно время, чтобы переварить все новости, но я не сомневался, что он не сможет остаться совсем один и рано или поздно отыщет меня. Но он не звонил. Катя с Андреем не встречалась, это я знал. Что же тогда происходило? Может, эта женитьба вовсе не была настоящей причиной, по которой он хотел порвать со мной? Или он просто охладел ко мне, и я наскучил ему? Или он нашёл другого мальчика? Или он не был готов к серьёзным отношениям с молодым человеком и поэтому, почувствовав, что всё заходит слишком далеко, решил сбежать, пока не поздно? Артур так делал раньше со своими девушками.

Через неделю молчания я решил предпринять самостоятельные шаги. Я позвонил ему пару раз, но трубку никто не поднял. Я подумал, что он, наверное, боится Катиних звонков, и решил действовать активнее. Вечером, когда Андрей при любых раскладах должен был уже вернуться с работы,

я пошёл к нему сам. Сначала походил немного вокруг дома, отыскал его окна: на кухне горел свет, я подумал с горечью, что можно только надеяться, что он ест свою жареную рыбу один. Я поднялся по лестнице и замер на лестничной площадке перед его дверью. Я вспомнил свои ощущения пару месяцев назад, когда пришёл сюда в первый раз. В тот день меня привело сюда любопытство, может быть, страсть, но теперь была совсем другая причина — любовь. Мне было так же страшно, даже больше, потому что тогда я мог предположить, что ждёт меня за этой дверью, а сейчас могло произойти что угодно.

На звонок долго никто не откликнулся, внутри заняло: конечно, он не один. Но вот что-то зашуршало с той стороны, дверь открылась. Андрей стоял в костюме, видно, только приехал. Он молча пропустил меня в коридор, прикрыл дверь и встал передо мной, не давая ступить ни шагу. Наверное, я должен был сказать что-то, хотя бы просто поздороваться, но я впал в какой-то ступор, потому что не вполне понимал, рад ли он меня видеть и чем закончится это моё непредвиденное появление в его квартире.

- Ну, — наконец произнёс он, — что скажешь?
- Привет, — только и нашёлся сказать я.
- Ты со мной просто поздороваться пришёл?
- Ну, повидать тебя пришёл, — мне стало не по себе.
- Ладно, проходи, — вдруг смягчился он.

С утра, когда мы пили на кухне растворимый кофе, а Андрей, как всегда, опаздывал на работу (я решил, что на первый урок всё равно не пойду, так что не особо торопился), он сказал:

— Слушай, Артём, несмотря на то что произошло, я всё равно считаю, что нам не надо больше встречаться, — он произнёс это так буднично, будто попросил меня обойти двор с другой стороны, где не так грязно и не запачкаешь брюки.

— Почему? — спросил я ошарашено. После этой ночи я был уверен, что всё складывается, как я хотел.

— Ну, так нужно, Артём. Понимаешь, неправильно это всё, что мы делаем. Нельзя так дальше. Тебе надо найти девушку. А мне — я теперь сам не знаю, что, но не то, что мы с тобой делаем.

— М-м. Я понимаю, — ответил я, хотя я ничего не понимал.

— Артём, как ты видишь наши отношения? Мы что, сможем жить вместе? Что мы людям будем говорить? Даже если представить, что мы переедем в другой район и не будем встречать твою маму в магазине? Что мы братья? Или ты мой племянник? И что мы будем делать через год или два? Каждому человеку нужна семья, понимаешь, нормальная полноценная семья, а у нас с тобой что будет? Я уже не мальчик, чтобы прятаться по подворотням и заниматься сексом в кустах, понимаешь? Мне большее нужно, а у нас с тобой этого не будет никогда.

Вот оно что. Нормальная полноценная семья. Опять она вылезла в самый неподходящий момент, чтобы разрушить мои надежды. Почему, если я люблю его, я должен стыдиться этого и искать какую-то там девушку, которая мне вовсе не нужна. Да и никто мне не нужен, кроме него. Почему отношения с женщиной, которая его обманывает, он считает семьёй, а со мной, значит, можно только прятаться по кустам...

Значит, это всё было зря? Я предал своего друга, разбил Катини мечты, я готов всем пожертвовать ради него, но мы не можем быть вместе, потому что не хватает воображения, что бы такого придумать для соседей? Я был готов расплакаться от обиды. От обиды на Андрея, на себя, на весь мир, который не позволяет нам быть вместе.

— Артём, нам надо сейчас всё это прекратить, — продолжал Андрей, — иначе потом ты влюбишься, и будет поздно. Ты такой молодой, я бы не хотел делать тебе больно.

— Поздно уже, — почти прошептал я, чтобы не заплакать.
— Что? — не расслышал Андрей
— Поздно. Я уже влюбился.
— Ну ладно тебе, воробей, — вдруг сказал Андрей, придвинулся ко мне на табуретке и обнял меня.

Я уткнулся в его плечо, в его тёплое сильное плечо, которое я так хорошо знал и мог представить себе каждый обтянутый этой смуглой кожей мускул. И я больше не увижу его, потому что непонятно, что сказать людям. Я заплакал. Навзрыд, не в силах остановиться. Мне так не хватало этого плеча, в которое можно было уткнуться и с которым можно было поделиться своими горестями. И теперь, когда я только обрадовался, что оно, наконец, появилось, что я в первый раз в жизни буду не одинок, оно снова уходит от меня, уводимое условностями, правильностями и неправильностями этого мира.

Андрей гладил меня по голове, как маленького, и от этого мне хотелось плакать ещё больше. Смутное воспоминание робко протиснулось сквозь толщу времени. Уже было в моей жизни плечо, в которое я плакал от того, что предстояло расставание. Мамин мужчина. Боксёр. Тогда речь шла всего лишь о неделе, но и один день казался бесконечно длинным без него. Теперь Андрей не хотел, чтоб мы виделись вовсе. Наконец я успокоился, и мне даже стало немного смешно от того, что я так разнюнился. Я посмотрел на него и засмеялся:

— Ну, как я теперь в школу пойду, такой заплаканный? Все подумают, что меня мама наказала.

— Ну, ты им скажи, что не мама наказала, а что поломалась твоя любимая машинка, — ответил Андрей.

— Так примерно и есть, так что и врать не придётся, — сказал я более серьёзно: внезапная весёлость прошла, оставив ощущение пустоты.

Мы оделись и вышли на улицу, Андрей побежал к остановке, он и так сильно задержался, а я решил не ходить в

школу вовсе. Стоял пасмурный зимний мартовский день, но было сравнительно тепло. Домой я тоже решил не идти, чтоб не наткнуться на маму.

Да. Пора назвать вещи своими именами. В конце концов, я ведь неспроста полюбил мужчину. Эти истории с Сергеем, Артуром и мои фантазии — всё говорило только об одном. Я — гомосексуалист. Очень приятно, а вас как? Ещё можно меня называть гомиком, гомосеком, педиком, голубцом, педрилой, голубым, петухом или просто пидором. Ничего от этого не изменится. А роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть чем. И все эти определения, созданные чтобы оскорблять «нормальных» мужчин, для меня не играли никакой роли, потому что были просто немного обидными номинативами моей сути.

Я не хотел верить, что мы больше не увидимся с Андреем, но даже если и так, я был благодарен ему уже за то, что он помог мне понять, что не стоит даже пытаться найти какую-то там девушку. Наоборот, мне нужно искать, как сказала бы мама, единомышленников среди таких же, как я. Я не знал, где и каким образом их искать, но был уверен — рано или поздно они найдутся, не в деревне же я живу, в самом деле.

Мне стало легко от того, что я нашёл то слово, что так долго скрывалось и боялось быть произнесённым. С Андреем или нет, теперь я знал, что я такое.

Пятница, 20 марта, 23:30

МАСТУРБАЦИЯ

*Синее небо стремительно мчится,
Бег свой скрывая в белой пыли,
Могут угнаться за ним только птицы.
С птицами я — Сальвадор Дали.*

*Мысли взлетают и тают звуки,
Струны сорвутся — напряжены,
Нервно зажали их нежные руки,
Под неослабным гнѐтом вины.*

*Бездной бесцветной окрашена память,
Временно снят сакральный запрет,
Линии тела боятся поранить
В образах прошлого тусклый свет.*

*В бешеном темпе проносится время,
Ружья готовы, команда: «Пли!»
Вверх. Но всего на одно мгновенье.
Смерть. Ты в глаза ей сейчас смотри.*

*Пальцы расплавятся в пламени страсти,
Терпко целует сладкий порок,
И это мертвенно-бледное счастье
Стонет о том, что ты одинок.*

Целую неделю я был страшно занят. Днём я выслушивал жалобы Артура или Кати, или их обоих вместе, а вечером ругался с мамой. Не было ни секунды покоя. Андрей не звонил, но его имя произносилось так часто, что мне казалось, мы живѐм впятером. Несмотря на нашу последнюю беседу, я был уверен, что мы увидимся. Но даже если и нет, всё равно он навсегда останется в моём сердце, как мой первый любовник, моя первая любовь, мой первый мужчина. Достаточно было прокрутить в голове эти словосочетания, как на душе становилось хорошо и спокойно, и казалось, что всё сложится так, как мне того хочется, и мы непременно будем вместе.

Через неделю он и правда позвонил и предложил увидеться. Наутро, впрочем, снова завѐл разговор на тему, что нам

не стоит больше встречаться, но в этот раз я уже не расстраивался, потому что знал, что пока рядом нет Кати или ещё какой женщины, Андрей будет моим.

Наша связь стала похожа на отношения сигареты и курильщика, который решил завязать. Иногда Андрей пропадал на неделю или две, потом его прорывало, и мы встречались каждый день. Никогда нельзя было предсказать, когда случится следующая встреча, но я всегда был уверен, что мы увидимся, это знание согревало меня, и ожидание становилось не таким мучительным. Катя уехала-таки к маме, но отнюдь не работать дояркой, а готовиться к поступлению в лицей, до которого оставалось не так много времени. Никто из нас четверых не представлял, что будет дальше. Артур не собирался съезжать от родителей, Катя рассчитывала летом приехать в город, чтобы остаться здесь окончательно, но жить у Артура было невозможно, а Андрей не думал прощать её (мы ни разу не обсуждали с ним этот вопрос, но мне казалось, что их отношения закончены). Может быть, они просто ждали какого-то бога, который вдруг явится в самый последний момент и решит все их трудности появлением какой-нибудь тётушки с большим сердцем и однокомнатной квартирой? По крайней мере, в будущее Катя и Артур смотрели с оптимизмом, пусть неоправданным, но немного успокоившим мою совесть. В конце концов, мне тоже предстояло непростое лето: я готовился к поступлению в университет. Так что вместо того чтобы страдать на диване, приходилось проводить всё свободное время с учебниками по истории и английскому.

Однажды утром Андрей разрешил мне остаться у него, потому что в школу мне нужно было только к третьему уроку, а мама сидела на очередном больничном и ругалась ещё больше. Уж она бы точно устроила мне головомойку из-за того, что я снова не ночевал дома. Мы позавтракали, Андрей ушёл, а я устроился с учебником за его столом. Даже при открытых

форточках в квартире было очень тепло. Вместе с солнечными лучами с улицы проникал в дом тот весенний запах, который бывает только в середине мая: свежие листья, перекопанная на газонах земля, чистота и какая-то свобода. Если бы меня спросили, чем пахнет свобода, я бы вспомнил именно этот запах.

Мне нравилось оставаться в его квартире одному. Можно было воображать, что мы живём вместе, как семья. Андрей вот ушёл на работу, а я готовлюсь к экзаменам. Катя, наверное, так же готовилась к экзаменам... Хотя нет. Она встречалась с Артуром и со мной в это время, изменяя не только Андрею, но и самой идее семейной жизни. Вот уж чего я точно никогда не буду делать, так это изменять тому, кого люблю!

Вдруг я услышал скрип открывающейся двери. Я решил, что Андрей что-нибудь забыл, и пошёл встретить его в прихожей. Но там меня ждал не Андрей. Воровато оглядываясь, в квартиру вошла Катя. Я стоял в дверном проёме, мне в спину светил яркий солнечный свет, слепивший Катю так, что она не сразу заметила и не сразу узнала меня. Эмоции пробежали по её лицу, выражая работу мысли, происходившую в голове: испуг, удивление, снова испуг, гнев и всё это сменилось выражением какой-то беспомощности. Катя хотела что-то сказать, но слова застряли у неё в горле, вместо них вырвался только хрип, какой издают актёры в кино, когда им в спину втыкают нож. Она вдруг вся собралась, всхлипнула, повернулась и побежала из квартиры, забыв в двери свои ключи. Всё это время я стоял не шелохнувшись. Вот она, та минута, когда за всё приходится расплачиваться. Слишком скоро она наступила.

Здесь мне было оставаться нельзя, Катя могла вернуться. В школу я тоже идти побоялся, потому что Артур уже наверняка обо всём знает. Что я скажу ему? Рассказать ему правду? Признаться в том, что я сделал это из-за любви? Открыться ему в самом сокровенном, что известно только Андрею и,

по несчастливому стечению обстоятельств, моей маме? Это было бы слишком. Он никогда не сможет понять меня. Лучше быть в его глазах предателем, чем пидорасом.

Я залёг на дно на неделю. Дома было сидеть невозможно из-за мамы, так что я брал с утра рюкзак и болтался по городу.

В один из вечеров мне позвонил Андрей и сказал, что мы больше не сможем видаться, потому что он не хочет рисковать своей репутацией. Последнее слово он произнёс с ударением, вкладывая в него некий особый смысл. Было странно слышать это от него, как будто он был Алексеем Карениным и существовал какой-то там высший свет, в котором никак нельзя было потерять репутацию. На этот раз было видно, что Андрей говорит абсолютно серьёзно. Я не задавал ему вопросов, да и вообще ничего не ответил, но понял, что он знает о Катином посещении. А раз они встретились, вполне возможно, что снова сойдутся. Что ж, обычная стандартная семья опять в победителях. Мама была бы довольна.

В школу надо было идти. До выпускных экзаменов оставалось совсем немного времени, и пропускать уроки было нельзя. Я решил, что должен поговорить с Артуром при первой же возможности: может, он не слишком сердится на меня, а даже если и сердится, лучше знать об этом, чем жить в неведении.

Уже давно я приходил в школу как придёт: за опоздания нас теперь не слишком ругали, а если я появлялся раньше, не было ничего страшного в том, чтобы перебросится парой слов с кем-то из одноклассников. Но в этот день я вспомнил старое и пришёл ровно так, чтобы зайти в класс первым, но не стоять в рекреации ни минуты.

Артур зашёл последним и в первый раз за всё время нашего знакомства сел один. Он даже не посмотрел в мою сторону, так что я задался вопросом, заметил ли он меня вообще. Заметил, конечно. Значит, он сделал те же выводы, что и Катя:

что я по непонятным причинам (или они нашли объяснение?) открыл их тайну Андрею. Чем бы я смог мотивировать своё поведение? Хотел, чтобы Артур был с Катей? Ерунда, никогда он в это не поверит. Придумать какую-то историю про то, как Андрей всё узнал случайно? Но тогда как объяснить моё присутствие у него дома спустя несколько месяцев после скандала? И почему я скрывал наше с ним знакомство?

На перемене я разыскал его на улице, где он обычно курил в одиночестве. Это было то самое место, где я рассказал ему о предположительной беременности Дианы несколько лет назад. Тогда тоже, кажется, был конец весны... Или март?

Я не успел даже поздороваться, как Артур посмотрел на меня зло и сказал:

— Слушай, чел, давай пиздуй отсюда, иначе я тебя так уебу, что тебе мало не покажется.

— Артур... — попытался возразить я.

— Я говорю, уёбывай отсюда на хуй, понял Тёма? — почти прокричал Артур.

Я повернулся и молча поплёлся обратно в школу. Вот так, значит. Даже и спрашивать ни о чём не стал. Конечно, зачем ему знать, почему я это сделал, если это уже случилось.

Я только сейчас понял, как дорог мне Артур и как больно его потерять. Я не знал, кто из них двоих важнее, потому что любил их обоих, просто то были разные чувства.

Моё такое хрупкое счастье, наконец, рухнуло окончательно. Я, наверное, всегда предчувствовал, что всё рано или поздно именно так и случится, но старался не думать об этом и наслаждался моментом. Раньше жизнь омрачалась только скандалами дома, а теперь ничего не осталось кроме этих самых скандалов.

Апатия. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, ни учиться, ни поступать в университет. Хотелось убежать куда-то ото всех эти проблем, которые я создал себе сам. Осознание, что

они все здесь, рядом, люди, которых я люблю, но которые не любят меня, давило на меня. Андрей живёт так близко, но мы не можем видиться. Артур сидит за соседней партой, но даже не здоровается со мной. Катя тоже где-то здесь, то ли с Артуром, то ли снова с Андреем, — мне и спросить-то было некого. И мама, у которой снова началась полоса молчания, — она только кивала головой, встретив меня в коридоре. К тому же она почему-то перестала краситься и вообще ухаживать за собой, ходила вечно то ли заспанная, то ли заплаканная, похожая на ведьму. И весь этот маскарад был затеян лишь затем, чтобы я в полной мере ощутил свою вину. Если бы она только знала, что её настроение и состояние — последнее, что меня заботило.

Убежать, скрыться куда-то. Оставить их всех навсегда в этом городе, пусть варятся в своём соку, а мне нужны другие друзья и другие горизонты. Жаль только, нельзя найти где-то другую маму.

В один из дней я проснулся со словом, которое приснилось мне и будто прилипло к губам: Москва. Вот решение всех моих проблем. Андрей говорил, что в тамошнем университете тоже готовят журналистов, так почему бы не поступить туда? Ведь они даже общежитие дадут. А экзамены наверняка те же самые.

Я решил не говорить ничего маме, чтобы у неё не было возможности помешать мне, но начал собирать информацию о поступлении в МГУ. Даже если я вдруг провалюсь на экзаменах в этом году, то уж непременно поступлю в следующем, но из Москвы точно не уеду. Буду работать официантом, барменом, а может, получится найти работу в каком-то журнале? В любом случае я должен уехать отсюда, уехать навсегда.

Артур ждал меня на скамейке возле парадной. Видно было, что он сидит здесь давно, наверное, специально ушёл с последнего урока, чтобы опередить меня. Зачем он пришёл? Уж точно не мириться, больно воинственный был у него вид.

Не говоря ни слова, я сел рядом и посмотрел на двор, прищурив глаза от солнца. Вот он, мой двор. Совсем не изменился за последние 17 лет. Правильный прямоугольник между двумя длинными девятиэтажными домами. С одной стороны растут кусты, в которые мама, помнится, запрещала ходить, чтобы не порвать одежду, а с другой — низкий металлический заборчик, его постоянно красили то жёлтой, то зелёной краской. Большие каменные фигуры Крокодила Гены, Чебурашки и ещё какого-то фиолетового монстра, я уж и забыл, из какого мультика. Они немного пообтрепались за эти годы, но были ещё во вполне сносном состоянии. Ничто не менялось, разве что песочницу по весне обновляли, вот и теперь посреди детской площадки возвышалась гора песка, ещё не растасканного малышняй. Яркое майское солнце освещало каждый закоулок, каждую скамейку, каждое деревце вокруг площадки. Сердце вдруг защемило от мысли, что я должен бросить всё это и никогда больше сюда не возвращаться. Почему именно никогда? Я и сам не знал.

— Ну, что ты мне скажешь, Тёма?

— В смысле?

— Ну что в «смысле», — передразнил меня Артур, — я хотел бы знать, Артём Сергеевич, зачем вы устроили всю эту хуйню.

Мне вдруг захотелось всё ему рассказать. Всё равно мы скоро расстанемся, и, возможно, больше не увидимся. Было неприятно думать, что в глазах лучшего друга ты навсегда останешься предателем. Хотя предателем я и так останусь, но по крайней мере этому будет объяснение. И, кто знает, может, не сейчас, так через много лет, когда эмоции останутся в прошлом, он поймёт и простит меня?

Но как сказать всё это? С чего начать? «Артур, я гомосексуалист и люблю Андрея», — так, что ли? Звучит слишком дико, чтобы произнести это вслух.

— Ну, что ты молчишь, Тёма? — начинал раздражаться Артур.

— Я не знаю, что тебе сказать, Артур. А что с Катей? — вдруг зачем-то спросил я.

— А тебе, блядь, какая разница, что с Катей? Или тебе твой новый друг не доложил до сих пор? Что же так всё странно у вас, ты ему всё рассказываешь, а он тебе нет?

Значит, она вернулась к нему. Значит, надежды нет.

— Ну, так что же?

— Что?

— Тёма, блядь, чё ты чтокаешь? Я тебя спрашиваю, зачем ты всё это наделал? Кто тебя просил? Зачем ты, блядь, рыло своё поганое суёшь везде, где не нужно?

— Не знаю, — только и смог промямлить я.

— А кто, блядь, знает? Я, блядь, думал ты мне друг, а ты просто подстава. Зачем ты вообще полез туда? Тёма, скажи мне, может я не понимаю чего?!

Да, да, да, Артур, Артурчик, милый мой дружок, ты ничего, ничегошеньки не понимаешь, но, боюсь, и не поймёшь. Как мне объяснить тебе?

— Тёма, ну что ты молчишь-то? А я тебе скажу, зачем ты это сделал. Ты всегда был, бля, таким правильным: это можно делать, это нельзя. Матом не ругайся, на людях не дрожи, трахайся только с теми, с кем мама разрешит, так ведь, правда? Ты ради этого всё сделал, чтобы все были такими же правильными, как ты? А тебе мама не говорила в детстве, что нехорошо друзей подставлять? Этому тебя, блядь, не научили?! А что обманывать нехорошо, это-то ты прекрасно, знаешь, так ведь? Только вот это нам всем обманывать нельзя, а как тебе, так можно, да, бля?

Я молчал. Из трещины в асфальте выполз муравей. Всё ему нипочём, ни с кем не надо объясняться.

Артур понял, что он не вытянет из меня ни слова, встал напротив и замолк, ожидая хоть какой-то реакции. Но я всё смотрел вниз, теперь перед моими глазами были джинсы Артура, муравья больше не было видно, и мне хотелось, чтобы он отошёл и позволил мне снова смотреть на асфальт.

— Эх, Тёма. Я думал ты мне друг. А ты просто... пидор, — сказал Артур, повернулся и быстро зашагал в сторону остановки.

Да, Артур. Ты прав. Я пидор. Просто пидор.

Я сидел у мутного окна плацкартного вагона, который увозил меня из этого города. Колёса перестукивали свою чечётку, за окном было темно, и лишь мелькали фонари на полустанках. Весь вагон давно уснул, только в другом его конце поскуливал младенец. Мне вовсе не хотелось спать, я смотрел на мелькавшие мимо тёмные тени деревьев, станции, проносящиеся встречные поезда.

Я дезертировал и не мог бы сказать, кто взял верх. Я уезжал не со спокойным сердцем, о нет. Несмотря на то что моя жизнь до этой минуты, в общем, приносила мне больше огорчений, чем радостей, она всё равно была моей. А теперь я ретировался, бежал в неизвестность. Но я смертельно устал. Устал бороться с мамой, не видел возможности заполучить Андрея и не хотел больше видеть Артура. Мне казалось, что я выбрал лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — просто оставил поле боя. Но закончилась ли главная битва, та, что происходила внутри меня?

Эпилог

Я приехал в свой родной город по делам спустя десять лет. Вот уже лет пять как мы не разговаривали с мамой, которая так и не приняла ни мою жизнь, ни меня самого. Я не видел ни Артура, ни Катю, ни Иру, ни Андрея, и не было вестей ни о ком из них, лишь фамилия Андрея проскакивала то тут, то там в новостях — он сделал неплохую карьеру в журналистике.

Я и сам не мог жаловаться. Я был счастлив в своём мире, который создал для себя сам и куда не было доступа никому, кто мог бы не одобрить его.

Я вёл машину по заснеженным узким улицам и не узнавал их, потому что никогда не ездил здесь за рулём. Навигатор предупреждал о поворотах, но я то и дело пропускал их, так что он постоянно перестраивал маршрут. И мне уже казалось, что я еду не туда, куда мне нужно, а просто кружу среди этих улиц и домов, как в чаще леса, когда заблудился, и тебе кажется, что ты идёшь прямо, но на самом деле наворачиваешь круги. Снег валил стеной, дворники работали на полную, приходилось постоянно поливать лобовое стекло. В машине было тепло, но я знал, что за окном сыро и промозгло, и не спасёт никакая одежда. Поток двигался медленно, я стоял на каждом светофоре, стараясь смотреть прямо перед собой, не поднимая глаз и не глядя по сторонам.

Дома, серые дома, которые в этом снегу потеряли свою плоть и стали похожи на призраки домов, обступили, склонились надо мной. Они узнали меня, конечно, как бы я ни скрывался. Они ненавидели меня, они хотели бы сомкнуть-ся над моей головой, чтобы больше никуда никогда не отпустить. Я предал их десять лет назад и предавал с тех пор каждый день.

Вокруг брели сквозь метель люди, такие же бесцветные и бестелесные, как и здания, входили, выходили из подъездов, которые они называли парадными, и мне казалось, что я предал и всех этих людей тоже. Я должен был продираться сквозь пургу вместе с ними, и не только сегодня, а каждый год из тех десяти лет, прожитых далеко отсюда. Я только здесь и сейчас понял, что мог бы ведь и остаться, стать частью этой жизни, которая теперь обступала меня со всех сторон.

Беспросветная тоска навалилась на меня. Мне захотелось закрыть глаза, открыть их снова и увидеть, что я в другом городе, стою в пробке на Садовом кольце, что до дома осталось всего ничего, а дома меня ждёт мой любимый, и есть сыр, тосты, вчерашний кусок сёмги и початая бутылка вина. Но не было ни Садового кольца, ни сёмги, ни вина, был только этот серый зловещий город, который лучше бы убил меня, чем отпустил обратно.

Я обещал бабуле посетить её на даче в этом нашем Головлёве, где прошло моё детство, уж не знаю, было ли оно счастливым, мне сравнивать не с чем. Бабуля жила там зимой, а мама приезжала туда летом, отправляя бабулю в душную городскую квартиру. Покончив с делами, я ввёл название деревни в навигатор и покатил по широким проспектам спальных районов. По крайней мере, на душе здесь было спокойнее, такие районы везде одинаковы.

Выехав за город, я какое-то время катил по шоссе, а потом свернул на небольшую дорогу, где в снегу была наезжена

только одна полоса посередине, да и по ней приходилось ползти очень медленно, потому что асфальт был разбит, машина то и дело грозила вылететь в кювет. В свете фар мелькали названия станций, которые я так часто проезжал раньше на электричке, но если железная дорога обходила деревни стороной, то шоссе пересекало их надвое. Ни в одном окне не горел свет, ни один фонарь не был включён. Вокруг стояла кромешная тьма, которая была ещё глубже из-за обильного снегопада. Вот тут-то ничего за последние десять и даже двадцать лет не изменилось. И не изменится никогда. Тут вечно будет валить снег, всегда будет ночь, и ни одного огонька вокруг.

Как и в городе, меня охватил животный ужас. Но если там меня окружали все эти чужие жизни, которые могли бы быть моими, здесь не было жизни вообще. Казалось, не только вокруг всё мёртво, но что и всё, что было до этого, — лишь иллюзия, сон. Может, и не было этих десяти лет? Может, мне это всё привиделось? Где она, моя жизнь?

Я остановил машину прямо посреди дороги, потому что обочины были завалены снегом. Передо мной виднелся узкий мостик через замёрзшую речку. Я знал, что эта речка через несколько километров прожурчит через мою деревню, притечёт к той самой опушке, на которую я засматривался в детстве, обогнёт её и растворится в лесу, чтобы где-то совсем далеко впасть в большое, как море, озеро. Я порылся в бардачке и достал постаревшего, затасканного бубнового валета, на котором возбуждённый свинопас с огромным, на полкарты, членом шёл в направлении принцессы, задравшей юбку так, что её головы не было видно, зато всё остальное занимало вторую половину картинки.

Я вышел на улицу, оставив фары включёнными, зашёл на мостик и облокотился на ржавые обледенелые перила, стряхнув с них пушистый снег. Контровой свет фар выхватил для

меня сугроб слева у въезда на мост и упёрся в стену ёлок по ту сторону ручья. Моя длинная угрюмая тень перекликалась с чёрными перилами, просвечивающими сквозь толщу снега. Было морозно и свежо. Если бы не слабое урчание мотора, нарушавшего тишину, эта сцена могла бы превратиться в нарисованную на холсте картину. Впереди зияла темнота, в которой всё же угадывался просвет, проторённый речкой между елями. Я посмотрел на валета в последний раз, улыбнулся и разжал пальцы, карта плавно опустилась в бездну.

Весной, когда середина ручья с тяжёлым уханьем просядет, и по льду заструится живая радостная вода, она подхватит моё детство и унесёт его мимо деревни, мимо моей опушки далеко-далеко к невидимому озеру, где оно растворится и исчезнет навсегда. Или, может, пройдёт по льду маленький мальчик в огромной фуфайке и валенках, который найдёт эту карту, и ему придётся задать себе сразу так много вопросов, что всегда были в его голове, но раньше боялись выйти наружу. Хотя, может, будет рядом кто-то, кто сумеет на них ответить?

Мать

А я знаю, что во всём виноват этот его экс-отец — педофил. Ну, то есть и я, конечно, хороша — не разглядела в мужике таких пагубных наклонностей, когда выходила второй раз замуж, но, поверьте, тогда было не до того, чтобы разбираться в безднах этой мерзкой душонки. Надо было срочно записываться на второй круг ада, оформлять усыновление, чтобы спасти ребёнка из сетей уголовщины, куда его неминуемо затянул бы предок биологический, которого отцом назвать язык не поворачивается. Разумеется, и тут можно было остановить мгновение, задуматься, поосмотреться. Но куда там! Тут ведь не обошлось без советчиков. И главный, конечно, — моя маман. Сама вышла замуж за алкаша и поздно, так решила на мне отыграться и выпихнуть за первого пришлого. Вот и выпихнула, так что получила? Проблемы с внуком!

Впрочем, что ей эти проблемы с внуком?! Она-то всё равно пока ничего не знает, потому что все берегут это её, видите ли, сердце. Да с таким сердцем, как у неё, она ещё пробежит марафон Париж–Дакар. Рано или поздно я непременно всё ей выложу: кем стал её ненаглядный Тимурка. Потому что пока я приняла весь удар на себя и продолжаю бороться с этой нечистью, которой не место в этом мире, не говоря уже о моём доме.

Тимурку я ничего не сказала, ведь он не совсем виноват в этой своей наследственности. За семь лет, что с нами сожительствовавший человек, отчество которого он носит, сожительствовал, потому что жизнью это назвать невозможно, тогда-то

он, падла, и передал свои грязные пороки моему на тот момент ещё ангелочку. И как можно было сразу не догадаться? Эти его вечные усы, от которых мурашки по коже бегали каждый раз, когда он пытался меня целовать. И эта его флейта, ни разу не сыгравшая, но упорно хранившаяся под кроватью. Вот вам — фаллический символ! Никогда не подпускайте к себе мужчин с флейтами! Разумеется, моё женское естество всё это чувствовало, поэтому мне было так не по себе, когда он даже думал о том, чтобы ко мне прикоснуться. Но я понимаю теперь, что моя внутренняя глубокая Женщина содрогалась при мысли, что он, когда хочет делать это, хочет его делать не со мной, а с воображаемым мужчиной, если и не того хуже.

Я так считаю, что всех мужчин нужно подвергать обязательному психологическому собеседованию, и если только есть малейший намёк на такого рода отклонения, тут же кастрировать или ещё как-нибудь изолировать от общества. Потому что иначе потом они своими душевными миазмами отравляют людей. Вот так вот один латентный педофил испортил мне раз и навсегда ребёнка!

Но об этом после, сначала по порядку.

С Тимурчиком было сложно. С детства он был капризным мальчиком, потому что знал себе цену. Каждый раз, когда появлялись новые вещи, устраивался скандал на тему: «Этого я носить не буду, а не то меня в садике засмеют». Я уж объясняла ему на все лады, что кто засмеёт-то? Все ходят, как оборвыши, в старых перелатанных сёстриных пальто, да в укороченных бабушкиных колготах. А на обувь и взглянуть боязно: думаешь, обобрали музей, и не стыдно! А у него: пальто на фланели, длинное немного, но так на вырост! И рейтузы новёхонькие, материн муж достал, хоть какая польза от бутылки. А шапка, пусть и от соседской девчонки, но мы помпон-то отрезали, так что получилось вполне для мальчика. А самое главное, всё это тёплое, не в пример тому,

что у него там другие в садике носят — чуть ветер дунет, так сразу с ангиной. Но нет. Никакие доводы разума ему были не указ. Пока всю душу не вывернет, не изорётся до того, что уже просто голоса нет, пока сама уже не выйдешь из себя и не отведишь ему хороший подзатыльник, ни в какую не оденется. Потому что выбора нет. Небожь, тут ему не гардероб королевы Англии, так что каждый раз приходилось смиряться и идти в сад в чём мать послала, но нервы-то у меня не железные, после каждого скандала сердце кровью обливалось из-за того, что снова он вынудил меня проявить строгость.

И хоть бы раз эта усатая харя, которая, несомненно, должна была разбираться в одежде, ну вы меня понимаете, хоть бы раз она помогла, объяснила ребёнку, что он в своих предпочтениях совершенно не прав. Нет. Всё приходилось и приходится делать самой, ни от кого никогда никакой помощи не дождёшься.

Потом. Всё у Тимурчика всегда валилось из рук. И тут уже явно прослеживается передача негативных сторон от старшего к младшему, которая объясняет и всё остальное. Потому что у того тоже всё валилось из рук, если он вообще что-то кроме ложки и вилки в эти руки брал: как сам гвоздя вбить не мог, так и у ребёнка руки из жопы выросли. Сколько посуды перебито, сколько вещей переломано обоими. Три чашки из сервиза «Мадонна», который мать мужа сестра расщедрилась и подарила на свадьбу. Хрустальная ваза для фруктов, которой цены нет: её я, конечно, склеила, но всё равно видно, что была бита, так что на стол не поставишь. Чешского хрусталя статуэтка: дама с собачкой. Кувшин фарфоровый, купленный на премию и по такому благу, про который и думать страшно. Это только то, что сразу приходит на ум и что было дорого. А сколько там ещё чего упало в эту бездну — не счесть! А с игрушками и подавно. Я говорила Тимурю сто раз, что если он так будет относиться к вещам,

то я просто перестану покупать ему что бы то ни было. И так у меня тут не печатный станок, а папашка его если и принесёт рубль в семейный бюджет, то выест потом из этого бюджета все три. Но всё как об стену горох. Купишь ему машинку сборную на Новый год или, там, день рождения, уже через пару недель можно нести на помойку.

Ну а тот, другой, никогда, ни разу ничего не смастерил. Чтобы мы молоток взяли в руки или, не дай бог, отвёртку — это ни-ни. Родному (почти) ребёнку можно было бы половину игрушек починить, а не выбрасывать. Я бы и сама починила, но не всё же валить на хрупкие женские плечи, которые и так уже превратились в круп ломовой лошади.

И то сказать, сколько сил положено на то, чтобы создать уют в семье. Знаешь, бывало, что, несмотря на все козни, выпишут тебе неплохую премию. В ожидании её звонишь Белле Константиновне, заискиваешь. Родственница — седьмая вода на киселе, но у неё у сестры зять работает, шутка ли сказать, завскладом в Гостинке. Так вот, звонишь, выслушиваешь на полтора часа монолог про внуков, у кого какой зубик выпал, кто в школе пятёрку получил и подаёт надежды, а кто плохо покакал и надежд боле не подаёт. Думаешь, на фига столько детей, когда и с одним-то не справиться, о чём вот только люди думают. Как наговорится, можно переходить к делу.

— А что там, Беллочка Константиновна, как бы у Павлика спросить, нету ли завоза какого хрустального?

— Э-эх, — тянет, — у них там теперь такой контроль с Москвы, что и не подступишься. Каждую рюмку нумеруют.

Цену, значит, набивает. Но нам ничего, у нас премия, нас нумерованными рюмками не испугаешь.

— Да что вы говорите, совсем ошалели! Все рюмки-то как пронумеруешь?

— Ой, Наденька, не говори. И так ничего не достать нигде, так теперь даже и по каналам всё стало так сложно, так

сложно (а сама, небось, и ходит на хрустальный унитаз, вынесенный со склада по каналам безо всякого контроля и совершенно бесплатно).

В общем, через полчаса плача Константиновны выясняется, что будет завоз и что можно выгадать салатницу, селёдочницу и ещё набор фужеров столько-то в розницу, столько-то сверху.

И эти все жертвы для того только, чтобы потом варварские руки одного из этих слонов разбили в осколки с таким трудом добытые вещи!

Уже тогда можно было при некоторой прозорливости предсказать дальнейшее развитие событий. Но, конечно, когда надо кормить такую прорву народу, да ещё на работе Людка, сука, всё время вставляет палки в колёса, думает, зараза, я у неё выбиваю начальника. Да он мне на фиг не сдался, этот её лысенко-носенко, которого родная жена уже который год пытается сбagrить, да всё не получается: она его в окно, а он в трубу. Так что, какая тут прозорливость, когда война на всех фронтах: ребёнка накорми-одень-отправь-забери; так называемого мужа накорми-напой-уму-разуму-научи; и ещё эта мать постоянно суётся со своими советами: мол, надо было раньше смотреть, с кем расписываешься, а теперь только и остаётся, что безотцовщину плодить. Так вот и проморгали.

И лишь спустя много лет всё открылось, и снова благодаря одной только моей ловкости. И подумать только: это же не просто так надо уметь телефоны прослушивать, чтобы никто не догадался: нужно ведь трубку снять именно в тот момент, когда её снимает его, Тимура, собеседник, потому что иначе щелчок любому идиоту даст понять, что на проводе кто-то третий. А потом попробуйте сохранить хладнокровие, когда ваш сын говорит не о чём-нибудь, а о любви, а на том конце провода не какая-нибудь деваха, которой лишь бы

от мальчика из приличной семьи залететь, а другой такой же придурок с яйцами в трусах и полным вакуумом в голове.

Ну и вот представьте себе картину маслом «Опять в садик». С утра просыпаешься, холод собачий, потому что Флейта с усами не позаботилась о том, чтобы заклеить окна. Вылезаешь осторожно, чтобы не разбудить, иначе придётся кормить завтраком. Идёшь в комнату к Тимурчику, он спит, как ангел, только весь под одеялом, потому что и ангелы ведь мёрзнут. Будишь его сначала по-хорошему, раскачиваешь, чтобы солнце моё встало само, но хрен тебе, оно разве само встанет: всё в папашу, который может до двух часов валяться, пока голод не тётка не выгонит из постели. Ну, когда все мирные приёмы испытаны, приходится действовать по-серьёзному и просто срывать одеяло. Так и есть, опять обоссался и молчит. Это и раньше было понятно, запашок стоит такой, что любой хоспис позавидует, но стараешься же всегда не обращать внимания, надеешься, что, может, сам сознается. Ах ты, говорю, зассанец, сколько можно, уже ведь пятый год! Все дети как дети, ходят на горшок, а этот только в кровать! Я, говорю, тебе в горничные не нанималась, вставай и иди стирай простынь, причём бегом, потому что иначе в садик опоздаешь.

Встаёт. Молчит. Обиженно разбирает кровать, снимает простыню, похожую на японский флаг, только с жёлтым пятном, а не красным, несёт её в ванную. Ничего он там стирать, конечно, не будет. Так, мылом поводит и пополощет в холодной воде (горячую-то три дня как отключили). Потом всё равно мне придётся перестирывать, иначе желтизна эта вовсе никуда не денется, но какой-никакой, а урок надо задать.

Стоишь, смотришь на себя в зеркало. Думаешь, какая всё-таки ты, Надька, красивая девка. Чуть бы сбросить пару кило, и будет совсем Венера с руками. Пугачиха рядом не лезла. Тем более что, говорят, у неё кудри накладные, а у меня

свои, хоть и после бигудей. И ради чего пропадаю? Раньше на танцах все штабелями ложились. Как придёшь в кожаной мини, в чёрных колготах, волосы перманентом выкрашены, макияж слегка броский, груди под обтягивающей кофтой стоят, как две Джомолунгмы, так они все тут как тут. И можно было выбирать, кого хочешь, но такая я дура была, что остановилась на уголовнике! Ну, тогда он ещё не был уголовником, а был только что закончившим пэтэу красавцем в варёнках и многообещающей майке с надписью Дэпеше Модэ. И достался-то он мне не просто, как ничто в жизни просто не достаётся, даже если это полное «Г». Я-то и виду не подавала, что он мне приглянулся, а вот Танька моя так за ним увивалась, что аж противно. Любовь у неё тоже была, видите ли. Караулы у парадной, звонки с автоматов, слёзы, стихи. «Поругано сердце, разбита мечта, и в темень могилы глядит красота». Никакой красотой там и не пахло, разумеется, но в постель она его в итоге затащила. Несложно представить, что за этим последовало, потому что кто хоть раз видел Таньку без лифчика, того уже второй раз это зрелище и впрямь заставит поглядеть в темень могилы. А тут я. В новых серьгах а-ля цыганка. Конечно, у него просто не оставалось выбора, как влюбиться в меня без памяти. Тем более что я какое-то время была неприступна, а по всем известному замечанию поэта «чем меньше мы кого-то любим, тем больше нравимся мы им». Со стороны Таньки снова начались караулы, звонки, стихи и сопли, только теперь я стала выступать врагом номер один, разлучницей и змеёй. Но, видит бог, мне этот её Тимур (да, да, его тоже по счастливому совпадению звали Тимуром) был совершенно не нужен, но раз уж так сложились звёзды, и нам было суждено быть вместе, то против судьбы не попрёшь. Верно?

Потом-то я, конечно, пожалела, когда всё случилось, надо было оставить его Таньке.

И вот представьте. Три месяца, полные ночей любви в его комнате, которую ему освободила уехавшая в деревню тётка. Никаких больше танцев, только кино, прогулки по паркам, коньки (дело было зимой), поцелуи в сугробах и полное счастье, омрачённое разве что скандалами дома: маман прознала про наш роман и сказала, что замуж я за него выйду только через её труп, потому что в семье инженеров такому плебсу не место.

Практически одновременно выясняется, что я на третьем месяце, а Тимур проходит подозреваемым по делу о краже гитар и какого-то электрического пианино из клуба самодеятельности. Блата ни у кого в прокуратуре не было, так что впяили ему даже не условные, а самые что ни на есть настоящие три года в составе преступной группы.

Мама, конечно, ликовала, потому что оправдались самые смелые её предсказания. Но я-то была упёртая, как Пенелопа, так что приготовилась своего суженого ждать. И вот ещё через полгода после ареста и некоторых скоропостижных пертурбаций со скорой помощью и медсёстрами мне приносят ужасно противного сморщенного пищащего квазимодика, который теперь будет навечно записан в моём паспорте в качестве сына.

И только позже, когда он, такой сонный, беспомощный и абсолютно умиротворённый, старался высосать что-то из моей груди, которая, как назло, была пуста уже на третий день после родов, только тогда я поняла, что он-то и есть то самое важное, что только может быть в моей жизни.

Мой архангел, мой победитель, который покорит для меня мир. Я дышала этим младенцем. Я знала, что через двадцать лет он станет моей опорой и поддержкой (почему-то уже тогда в моих мечтах отсутствовал Тимур-старший, хотя я всё ещё дожидалась его). Я знала, что буду любить его так, как ни одна мать не любила до сих пор своё чадо. Это

было несложно. Нужно было просто понимать, что в моём сердце теперь бьётся ещё одно, которое будет теперь расти и взростеть и рано или поздно станет совсем самостоятельным, но всё-таки останется моим.

Мама хотела назвать его Олегом, но я возразила, что если пойдут внуки, то отчество у них будет не очень. Остановились на Сергее. Но он был так похож на Тимура, моего Тимура, как будто тот вернулся из своих неотдалённых мест, уменьшился в несколько раз и залез в колыбельку. Я не уставала смотреть на него и, в конце концов, пошла в ЗАГС и переписала метрику. Тимур Тимурович Второй. Завоеватель. Разве это звучит не гордо?

— Шизанутая шизанутой и осталась, — только и сказала моя матушка, когда увидела новую корочку. Мы не знали тогда, что корочку эту мы ещё поменяем не раз.

Потом вдруг ни с того ни с сего ночью вломился участковый ещё и с незнакомыми милиционерами. Обшарили всю квартиру, ничего, кроме младенца, не нашли, ушли.

А ещё через две недели заявился мой ненаглядный собственной персоной. Грязный, обросший, вонючий и злой. «Собирайся, — рычит, — едем к друзьям в Парголово на дачу, там зиму пересидим, а потом в Карпаты поедem к тётке. С Карпат выдачи нет».

Мы с мамой так и сели. «Какие, — говорим, — Карпаты, у нас грудник еле живой. Диатез на диатезе. И техникум закончить надо. К тому же если поймают, то посадят теперь всех — за укрывательство. И родительских прав лишат непременно. А маленького — в дом ребёнка».

В общем, спорили, спорили, налили ему водки, конечно, накормили, уложили. И по какому-то необъяснимому совпадению с утра снова пришёл участковый, но с другими милиционерами, и на Тимура надели наручники прямо в кровати. Мама даже не вышла из своей комнаты, а Тимур так жутко

посмотрел на меня в коридоре, что аж сердце похолодело, и прошипел прямо в лицо: «Убью обеих. Бляди». Вот тут я и поняла, что надо что-то срочно решать с отцовскими пра-вами и вообще нашим будущим с Тимуром, но без Тимура.

И вот несколько лет спустя сидим на кухне перед выходом в садик. Пять минут тишины: ест хлеб с колбасой, запивает чаем. Хотела сказать, чтоб не резал колбасу так жирно, но ладно, думаю, зачем начинать новый день с агрессии. Лучше подождать пять минут, пока не придёт время одеваться.

Потому что даже если всё уже одёвано раньше, и шлягер про «засмеют» не прокатит, всё равно каждый день у нас битва за шапку. Я ему объясняю, что менингит не мною придуман, что стоит только уши простудить — и всё: или идиот на всю жизнь, или на кладбище. А я с двумя придурками сидеть не нанималась, мне одного хватает, того, что сейчас ещё валяется. Он возражает, что, мол, мама, на улице тепло, он проверял в форточку, но я не верю всем этим его проверкам, потому что на улице зима, а значит не май месяц, и шапку надеть придётся. В результате приходится применить силовые методы, так что шапка на месте, то бишь на голове, и мы с заплаканными глазами и испорченным настроением выдвигаемся.

Как, бывало, раньше я любила зиму! Выйдешь с утра на морозец в лёгких сапожках, красивых, пусть и на рыбьем меху, втянешь этот воздух свободы и юности и идёшь себе в школу, где тебя ждут твои верные соратницы-подруги. Где теперь те подруги? Кто смылся за бугор, кто здесь так при-блатнился, что при встрече задирает нос, того и гляди корона слетит. Танька, свиноматка, выскочила замуж сразу, как разочаровалась в высоком, нарожала одного за другим четверых сосунков и уехала с мужем по распределению в Узбекистан. Там солнце и хурма, а главное, жильё сразу, в очереди стоять не надо: любви, как говорится, не нашла, так решила искать жилплощадь, хоть и за тридевять земель. Всех раскидала

жизнь, одна я осталась со своими двумя привесками, да с занудой матерью, которая после выхода на пенсию неминуемо превратится в третий привесок.

И теперь вот каждое утро приходится продирааться через сугробы, потому что дворники в этом городе перевелись ещё до рождения Тимура. И он, Тимур, сам не зная того, протестует против наличия сугробов и отсутствия дворников, потому что плетётся за мной, как нарочно, медленно. Ему невдомёк, что я снова опаздываю на работу, так что Людка будет пялиться, а потом донесёт лысенко, что ей (мне то есть), значит, можно опаздывать, а всем остальным нельзя. Тварь. Сама живёт как у бога за пазухой: с матерью да с мужиком, который за её принесённым в подоле убожеством пелёнки стирает, а на других ещё вякает. Ну ничего, я вот заведу в следующий раз разговор о том, что некоторые дома не ночуют, оттого и на работу вовремя приходят, а у всех остальных помимо этой самой работы ещё и домашнее задание имеется, да что же ты в сугроб полез, сволочь, рейтузы ведь все замочишь, в чём потом гулять будешь в саду?!

Уф. Попробуйте тут сохранять хладнокровие и самообладание, когда слушаешь такие вещи по телефону и при этом понимаешь, что сразу скандал устроить никак нельзя, иначе потом вообще больше ничего не узнаешь. И потом, после этого рокового разговора про любовь (да ещё какие пафосные слова употребляют по отношению к разврату!), так вот, потом, после этого разговора, он ещё продолжает ходить по квартире с совершенно невинным видом и задавать мне не имеющие отношения к делу вопросы, типа: «Мам, а где мои кроссовки?». Да я бы тебе эти кроссовки затолкала бы в одно место, тебе и твоему дружку, прости господи.

И как, объясните мне, как мне теперь смотреть своему ребёнку в глаза, зная, что всё, что он говорит мне, — откровенная наглая ложь? Что не кроссовки ему нужны, а совершенно

другое. Как жить, ощущая себя королём Лиром, которого собственные дочери только и мечтают, чтобы обмануть, а самим поскорее устроить свою жизнь с первыми попавшими? Но то хоть дочери, а тут — родной сын, ради которого столько огня, столько жизни растрачено даром!

Воспитательница, конечно, паскуда.

— Мамаша, на вашего Тимура простыней не напасёшься, каждый раз, как тихий час, так замачивает. У нас принято менять раз в три дня, а тут постоянно приходится. Нянечки жалуются.

Ага. Нянечки жалуются. Так я и поверила этой сказке про жалостливых нянечек. Денег, стерва, хочет, но не на ту напала. У меня у самой на шее столько ртов, что никакой зарплаты не хватает, так что не с руки ещё и нянечек прикармливать.

— А вы, — советую, — Марья Игоревна, его поднимайте посреди тихого часа и ведите в туалет. Мы так делаем. А то он говорит, что у вас не разрешают в туалет во время тихого часа, так приходится в кроватку. А если отпускать, то и с простынями всё в порядке будет. Я, если нужно, могу с Диосфирой Брониславовной поговорить (это заведующая, все знают, что она меня боится, потому что я на неё в РОНО дважды писала, и ей звонили оттуда).

Молчит. Покраснела. Вот как я её, по всем фронтам. Нашлась тоже наезжать на моего Тимурчика. Да на то они тут все и собраны, эти бесполезные создания, которые зовутся воспитательницами, чтобы менять простыни. Надо каждый день, значит, будет каждый день. Не нравится — проваливай, небось, вон очередь стоит таких же, которые не побрезгуют поработать побольше и слова не пикнут.

И на кого бочку катить надумала? На моего Тимура, который в сто раз лучше всех этих остальных поскрёбшей, которые, может, больны чем, оттого и вовсе не писают. А нор-

мальному пацану жизни не дадут из-за того, что собрали тут не детский сад, а лазарет.

Раздеваю его умело и быстро, но гляжу по сторонам на других мамаш. Боже мой! Нарожают, наплодят, смотреть боязно. Детки все страшенькие, что твои уродцы, личики синенькие, как мёртвенькие, губки сжаты, бровки сдвинуты, глазки опущены, видно, не кормят их дома-то, ждут до садика. А мамыши зато все прифранчённые. Экономят на детях, чтобы выкроить себе на эти курточки — пальтишки. Не то что я — последнее из горла достану и всё ему, Тимурчику. А сама питаюсь крошками с его трапезы. Его да его троглодита папаши, который ест больше, чем взвод арестантов, а в дом приносит с гулькин нос.

Зато уж они и сюсюкаются со своими выкормышами.

— Ути пути хрюти муси.

— Леночка, лапочка, садись на стульчик, дай мне ножку, я сниму ботиночек.

— Ну, пока, зайка моя, веди себя хорошо.

Обнимашки. Томные взгляды. Поцелуйчики. Сначала настоящие, потом воздушные. Всё показуха. Дома-то, небось, крик на крике и криком погоняет. Всем этим мусечкам и зайчикам по любому поводу наверняка дают такого ремня, что они потом на заднице сидеть не могут, потому и в туалет не ходят. А на людях — пожалуйста: совет да любовь.

Я держусь строго, но мудро. Нам с Тимуром скрывать нечего: я привержена классическому образованию, когда ребёнка нужно держать в узде, но позволять ему некоторую свободу творчества. И никаких всенародных выступлений с демонстрацией неземной материнской любви, потому что любовь такая гроша ломаного не стоит, если за ней не стоит настоящая сила воспитания.

Любовь, значит, у него. Противоестественные фантазии, рождённые в разгорячённой гормонами голове подростка,

внушённые в раннем детстве отчимом-педофилом, он называет любовью. И что он, интересно, собирается с этой своей любовью делать? Жениться будет на таком же молодом идиоте, как и он сам? Может, операцию решит сделать, чтобы хоть видимость придать этим отношениям и этой, как они выражаются, любви?

Им, конечно, начхать на сердце матери, которая не выдержит рано или поздно осознания, что её собственный сын решил отправиться в голубые дали нестандартных отношений. Но они не могут также наплеватьски относиться к другим окружающим людям! Растишь, кормишь на свою голову, себе в куске отказываешь, чтобы потом этот твой кусок сам своими руками начал разрушать ещё не построенную молодую жизнь! Институт, аспирантура, работа, может быть, даже в министерстве. Почему нет, вон у Галки простая семья, а брат как скакнул, так теперь в Москве зам с личным водителем. И всё это коту под хвост, потому что «у нас любовь»?! А в какое, извините, министерство вас возьмут с такой любовью? Раньше бы взяли в ГУИН, но только по другую сторону решётки, там, где и замы, и водители все только с приставкой «бывший». А бедной матери осталось бы только обливаться кровавыми слезами, отправлять передачи и ждать, что её драгоценному сыночку либо вправят мозги, либо окончательно раздерут задницу.

Всю жизнь всё для него, всё. Едешь на работу в полном народе метро, все распаренные, потные, немые, с нечищеными зубами и грязными воротниками. Шубы на искусственном меху пахнут мокрыми крысами. Носки нестираны годами, так что приходится задирать голову кверху, чтобы поймать струю прорезиненного воздуха из вагонной вентиляции. И папашка-то его, ну, вернее, тот, кого он считает папашкой, тоже ездит по этим туннелям, только не в вагоне, а в кабине. А что ещё остаётся, когда больше ничего не умеешь? Работа для дебилов. Я-то знаю, я с ним ездила.

Нажал, поехал, остановился, снова поехал. Даже шофёру и тому больше навыков нужно, чем этим. А ещё называются как гордо: машинист!

Называются гордо и ставка больше почти в два раза, чем у нас в депо. А ты попробуй посиди с проводами весь день, подыши канифолью, да успеешь сделать драконовский план, рассчитанный на роботов, а не на людей. И всё это при постоянных интригах со стороны Людки, которая молчит, молчит, а потом аккуратно перед начальником и спросит:

— А как же ты, Надюшка, на больничном лежала со сломанной ногой, а, говорят, ремонт в квартире успела сделать? Али теперь обои можно и с поломанными конечностями клеить? — и игогокает так противненько, изображая смех и злорадное кокетство в одном лице.

— А я, — улыбаюсь, — Людонька, выходные потому что не с чужими мужьями провожу, а со своим обои клею. Вот так оно потихоньку и получилось.

Пятнами пошла. Насупилась. Заткнулась.

Но всё можно было перенести ради одного только взгляда его преданных глаз, голубых, как небо перед грозой. Особенно когда он смотрит на тебя так внимательно, а потом выдаёт что-то типа:

— Мама, а ты ведь меня не сдашь в макулатуру?

— Тимурчик, мальчик, отчего ты решил, что я тебя могу сдать в макулатуру? Разве ты где-то слышал, чтобы детей сдавали в макулатуру?

— Да. Нам воспитательница в садике рассказывала сказку про бумажного человека, который был злой, и его сдали в макулатуру.

Вот тварь, думаю, пугает мне ребёнка. Ну, я ей завтра устрою. Она сама у меня сдастся, причём сразу в металлолом.

— Нет, моё золото, — отвечаю нежно, — никто тебя не сдаст в макулатуру, тем более если ты будешь хорошо себя вести.

После ухода, вернее увода, Тимура Первого я, конечно, погоревала немного, но потом решила, что судьба княгини Волконской меня не прельщает и надо искать замену. Тем более что объявилась приехавшая то ли с Карпат, то ли ещё откуда мама, представившаяся свекровью и объявившая права на внука. Ей популярно объяснили, что внука у неё отродясь не было, а занималась бы лучше своим сыном, чтобы он вырос у неё не уголовником, а нормальным членом общества. На что она ответила, что членом он уже вырос и доказательство тому сопит сейчас в моей коляске, а по поводу общества — то не наша забота.

И тут мне подворачиваются усы с флейтой. То есть как подворачиваются: иду я по депо, куда меня отправили на практику из техникума, а он навстречу:

— Откуда, — спрашивает, — в наших селениях такие женщины?

— Оттуда, — отвечаю игриво, — из лесу, вестимо.

Ну и заигрались.

Замуж он, конечно, так сразу не позвал. Только когда понял, что аборт делать уже поздно, припёрся с гвоздиками, кольцом, «Киевским» тортом и шампанским. Шампанское выдул сам, потому что мне по понятным причинам нельзя, а кольцо пришлось отложить до лучших времён — пальцы распухли невероятно. Ну, хоть торт.

Жить было решено у него, потому что у нас у мамы сложный характер, а его мама переехала к овдовевшей бездетной сестре, освободив нам маленькую распашонку в новом микрорайоне рядом со строящимся метро. Метро, впрочем, до конца нашего супружества так и не достроили.

Одновременно с женитьбой этого моего усатого Фигаро мы с мамой разложили другой пасьянс, который стоил мне нескольких килограмм нервных клеток, утраченной веры в людей и выкидыша, случившегося практически вместо

предполагаемых родов. Лишение отцовских прав, усыновление, решение суда о недопустимости общения с ребёнком со стороны родственников бывшего отца (читай мамани с гор), смена отчества и фамилии ребёнка. Всё это растянулось, конечно, гораздо дольше, чем моя неудачная беременность. В середине пути, то есть после выкидыша, Фигаро даже попытался сбрыкнуть, но ему рассказали, что жён на переправе не меняют и что он много потеряет, если откажется от готового семейного счастья.

Если бы я знала, какое семейное счастье ожидает меня! Впрочем, вряд ли бы и тогда я что-то сделала иначе, потому что надо было вылезать из преступной трясины.

В общем-то отцом он ему числился только на бумаге. За все эти годы даже в футбол с ребёнком не поиграл, и теперь мне понятно, почему: к спорту такие относятся плохо. Но я, я-то старалась выжать всё из моего Тимура, потому что понимала: второго шанса мне судьба не даст. Тимур Завоеватель, покоритель мира, должен будет спасти свою мать от козней окружающих её мерзавцев и от его псевдоотца в первую очередь. Я сидела и часами мечтала, как он вырастет, будет такой высокий, стройный, как кипарис, красавец парень. Но будет, конечно, не только красавец, дадут знать о себе задатки ума и смекалки, которые в него закладывались с самого детства. Институт, аспирантура и т.д. Для того чтобы мои расчёты превратились в явь, я водила его по кружкам и секциям: шахматы, карате, бассейн, стрельба из лука, просто тир, ориентирование на местности, кружок юного садовода. Редко где он где задерживался надолго, потому что рос у меня необычайно скрытным и скромным мальчиком, а эти сапожники, заделавшиеся преподавателями в кружках, его душевной особенностями не понимали и только настаивали на том, что ребёнок «должен дружить со сверстниками и развивать социальные навыки», конец цитаты. Зачем ему эти сверстники, никто мне

так и не удосужился объяснить. Так что каждый раз после того, как сверстники клали Тимуру в портфель половую тряпку или «забывали» его в лесу во время ориентации, приходилось со скандалом его забирать и искать новое место.

Другое дело школа. Из школы так легко было не забрать, приходилось ходить туда по три раза в месяц и орать на классную, а то и звонить родителям особо отличившихся одноклассников. В общем, школа давалась нам с трудом.

А тут ещё эти бессонные ночи с домашним заданием, когда я читала на скорую руку учебники на работе, чтобы вечером предстать перед ребёнком во всезнании. Людка, тварь, шутила, что у меня снова не то запор, не то золотуха, а мне что — в известных помещениях информация усваивается гораздо эффективнее. И он, мой покровитель, приходил ко мне сначала с правописанием, а потом уже и с уравнениями, смотрел доверчиво, пока я объясняла ему раз, и второй, и третий. Но он был ленив, что и говорить, надеялся, что я сделаю всё за него (и иногда приходилось, особенно если совсем не было времени на объяснения). Но чаще всего раскладывала по полочкам несчётное количество раз, пока не выходила, наконец, из себя и не начинала кричать, что не пойму, откуда такой остолоп свалился мне на голову. Он, конечно, надувался и даже пускал слезу, но потом до него всё-таки доходила математическая логика и уравнения решались сами собой. Вот что значит иногда сила внушения.

И тут, представьте себе, этот мой сын, про которого даже учительница физики в старших классах говорила, что из него получится академик, самолично отказывается от своего блестящего будущего в угоду сексуальному извращению.

Я, конечно, надела маску принца Гамлета и стала наблюдать. Кроссовки? А они там, в ванной, я их помыла.

Беда в том, что помимо этого своего Гоши (тоже ведь и нашёл нацмена, я вообще-то не расист, но всё же) он ещё

мог часами говорить с некоей Дашей, которая, как я поняла, училась уже в институте, но всё ещё на что-то с моим Тимуром надеялась. Дашу эту при других обстоятельствах я бы быстро отвадила, но тут понимала, что она может стать моим невольным союзником в борьбе с отклонениями. Так вот, эта Даша была для моего Тимура (и для меня) снотворным замедленного действия. Она могла часами нести в трубку абсолютную ерунду, на которую Тимур отвечал только мычанием, по той простой причине, что, как мне казалось, спал. Я тоже иногда отключалась, но потом быстро восстанавливалась на своём посту, чтобы не остаться наедине с Дашей, когда Тимур повесит трубку. Вы спросите, зачем я так себя мучила? По двум причинам: во-первых, я не могла исключить вероятности того, что Тимур расскажет этой своей подруге о его сердечных волнениях, а во-вторых, сняв трубку для прослушивания чужой беседы, обратно её можно было положить только с окончанием этой самой беседы: иначе предательский щелчок заставил бы Тимура заподозрить неладное.

И вот так вот практически ежедневно после работы, на которой с течением времени ничего не менялось, только вместо Лысенко прислали нового придурка, который постоянно грозился лишить меня премии, мне приходилось часами вылёживать с телефонной трубкой в руке и слушать такую ахинею, от которой шевелились волосы. Но эта ахинея была ничем по сравнению с их разговорчиками с Гошей, от которых волосы вставали дыбом и не ложились обратно уже до следующей беседы с Дашей. О, как они ворковали, эти голубки, как они пели друг другу. Было так противно их слушать, что каждый раз я жалела, что не взяла тазик, в который можно было бы вылевать все эти их разговоры, не отходя от кассы.

Но я не зря терзала себя все эти долгие недели. Во-первых, я выяснила, что Гоша был хоть и из нерусской, но очень

непростой семьи и боялся папу, как огня. Не перевелись всё же ещё папы, от которых есть какая-то польза. Во-вторых, я поняла, что оба они ни с кем до этого ничего такого не пробовали, так что в смысле всяких грязностей были не то, чтобы совсем невинны, но, по крайней мере, не испорчены до мозга костей, если таковой в нашем случае имел место. И, наконец, самое главное — я выяснила, в какой школе учиться этот наш Гоша, а учился он в специальной английской 58-й. Как хорошо, что я не отдала туда своего Тимурчика, хотя очень в своё время из-за этого расстраивалась: единственная в районе школа с уклоном. Но вот теперь становится ясно, что там учатся одни извращенцы, так что нормальным детям надо от неё держаться подальше.

Более того, мой неустанный ночной дозор позволил мне вычислить минуту встречи этой парочки, которая, разумеется, не могла рисковать быть застигнутой страшным Гошиным папой и избрала плацдармом своих мерзостей нашу повидавшую виды, но всё же в некотором смысле свято-невинную квартиру.

Одновременно со слежкой за извращенцами я старалась собрать как можно больше информации о самой болезни, чтобы потом в день X выложить всё Тимуру и убедить его переключиться на нормальные отношения. Пусть даже и с Дашей, лишь бы не с Гошей. И нашла один труд, где обосновывалась интереснейшая вещь. Оказывается, педерастия и педофилия — это одного поля отклонения, из одного лагеря можно легко перейти в другой, откуда, как известно, прямая дорога в третий — строгого режима. Это и натолкнуло меня на мысль, что усы и флейта не просто так прошли, оставив лёгкие следы в виде отчества и алиментов.

Как известно, между лежанием в постели, едой, подстриганием усов и вождением поездов в метро у нашего отчества больше не было других интересов. Ну, ещё был один — ругаться со мной, когда я указывала ему на очевидные вещи,

вроде того, что муж моей матери, хоть и алкоголик, но всё же раз в три года стандартно переклеивал обои во всей квартире, а у нас до сих пор на стене следы младенческих какашек, хотя сын уже в школу пошёл. Справедливость ему, конечно, резала глаза, но он только огрызался, что рабский труд не указан в условиях его рабочего контракта. Я, разумеется, вполне резонно отвечала, что стирание его трусов и зашивание носков также не входит ни в чей контракт. В общем, такие беседы могли длиться до полного изнеможения обеих сторон. И тут вдруг ему поменяли график на работе. То есть не то чтобы даже поменяли, а добавили часов, не прибавив при этом зарплату. Реформа транспорта — так он это объяснил. По телевизору тоже что-то такое говорили, но нигде не упоминалось, что теперь машинисты с детьми должны рулить своими поездами 24 в сутки за тот же оклад, что и раньше.

Я никогда не верила реформаторам и ещё задолго до 90-х оказалась права в своих подозрениях. Пара звонков по правильным телефонам позволили выяснить, что никакого изменения графика не произошло и в ближайшее время не предвидится. Оставалось только выяснить, на что эта скотина растрачивала оторванное от семьи время.

Не знаю, почему я не пошла в разведчики. С моими данными все эти рассказы про Мату Хари показались бы просто детскими баснями. Но вместо заметной роли в истории приходится постоянно распутывать грязные истории, которые хоть и выводят на чистую воду их героев, но не превращают в родник омут моей жизни.

Далеко ходить не пришлось. Однажды он снова не вовремя поднялся ни свет ни заря, а я вместо того, чтобы собирать ребёнка, лежу лежмя в кровати, хриплю и изображаю смертный одр.

— Не могу, — сиплю, — родной, — пошевелиться. Будь человеком, отведи Тимурчика в школу.

— Да как же, — удивляется, — в школу, я же на работу опоздаю.

Ага. Знаем мы твою работу. Кобель.

— Не могу никак, слабость, кости ломит, еле живу. Сейчас вы уйдёте, буду врача звать, — медленно всё так говорю, с вытяжкой.

— Ладно, — разжалобился, — давай уж по-быстро.

Сама лежу и думаю: ведь наверняка, сукин сын, забудет что-нибудь — или портфель, или сменку, или форму (физра была как раз в тот день).

Слышу: зашуршали, завозились, потихоньку, полегоньку, вышли, дверью хлопнули так, что окна зазвенели.

Я сразу с кровати, надела на себя что под руку попало, платок большой материн намотала для камуфляжа, готова. Смотрю — так и есть: мешок со сменкой лежит у двери, всеми забытый. Вот же придурок, чем думает: как ребёнок будет весь день преть в зимних сапогах на уроках? Но, в общем, и хорошо: взяла сменку с собой, думаю, если увидит меня на улице, скажу, мол, принесла Тимуру обувь.

Иду к школе с другой стороны, подстерегаю за решёткой футбольного поля, закрытой занесёнными снегом акациями. Смотрю: сошёл с крыльца, пошёл в сторону трамвайной остановки. Я за ним. Вокруг такое снежное марево, что даже если оглянется, ничего, кроме тёмной фигуры в платке, не разглядит. Я ещё сгорбилась специально. Кулёк со сменкой в руках (хорошо, что они забыли не лыжи). Дошёл до остановки, дождался восьмёрки, причём не в сторону метро, а в противоположную! Я тут же бегу на остановку такси, чудом нахожу в это время машину, бужу задеревеневшего водителя: «Следуйте, — говорю, — за трамваем». Еду, а сама думаю, денег-то хватит или нет? Восьмёрка долго по всему району петляет. Но вышел на пятой остановке возле универсама и в том же доме вошёл в подъезд. Вот, думаю, куда ты работать ходишь!

«Работали» они там недолго и вышли из подъезда вместе. И что бы вы думали? Наша, из депо: Женька Сармыгина! Ладно бы кто другой, а то Женька! Ни кожи ни рожи, худющая, как жертва Освенцима, грудь впалая, как у мальчишки-подростка, стрижка ёжиком и повадки бандерши. Курит без перерыва, говорит таким голосом, что не понятно вообще, бабе он принадлежит или парню. Только спустя много лет, прочитав известную литературу, я нашла психологическое объяснение этому подлому предательству. И называется оно одним словом: педофилия! У моей Флейты с усами кишка-то была тонка с мальчиками мутить, так он нашёл себе девку, но которая и за парня сходила. Слава богу, Тимур ещё был маленький, так у него ни рука, ни что другое на него не поднялось, а не то я бы за себя не отвечала. Тогда я, конечно, просто была ошарашена самим фактом измены и её объектом, но рефлексировать особо по этому поводу не успела: просто подошла к парочке и хрясь их обоих по мордам кульком со сменкой!

Кобель мой растерялся, даже челюсть отпала, а Женька — в слёзы. А я себя не уронила и так хладнокровно им говорю: «Ты, сука, пишешь сегодня же по собственному, иначе я тебя в депо сгною. А с тобой мы будем говорить в ЗАГСе, причём очень коротко. Сегодня домой не появляйся, а завтра мы с Тимуром уезжаем».

Вот так закончилось моё второе замужество, а Тимуру снова поменяли метрику: вернули мою девичью фамилию на круги своя.

Остаётся благодарить небеса, что я прозрела не слишком поздно, хотя и не совсем вовремя: заразные ростки извращённых страстей были исподволь заложены в моего будущего Завоевателя.

И вот теперь я снова в костюме Маты Хари выслеживаю, вынюхиваю, стараюсь узнать правду, на этот раз о собственном сыне. Значит, завтра они должны встретиться дома

в 12.00. Я сверилась с расписанием уроков, которое у меня, разумеется, хранилось отдельно: прогуляет физику!!! Физику!!! Вот уже начинается манкирование святыми вещами ради минутного удовольствия, а что потом?

Всю ночь не сплю от волнения и предвкушения, на утро выгляжу, как после большой пьянки. Уезжаю для вида на работу, на Людку ноль внимания, в половине двенадцатого говорю, что умру, если не вернусь домой, и под ненавидящие взгляды отчаливаю. Еду домой в полупустом метро: граждане не на работе, ездить некому. Сердце стучит, стучит, стучит, как колёса поезда, которым управляют педофилы. Стучит на перегонах и останавливается на станциях. Осторожно, двери закрываются, следующая станция... Осторожно, сердце останавливается... Уступайте места...

В двенадцать с четвертью я дома. Стою, как дура, перед дверью и боюсь её открыть. Боюсь. Что я там увижу? С Флейтой было просто: нужны были доказательства его падения, чтобы забрать ребёнка и уехать. А что делать в данном случае?

Я, конечно, мать-героиня. На моих плечах столько всего, что другая на моём месте давно бы сломалась. А я нет. Держусь и не унываю. Всё, что меня не убивает и так далее.

Открываю дверь осторожно. На лице — смирение и всемирная боль (я же по болезни с работы ушла). Слышу, разговаривают (слава богу, никакого пока криминала). Бу-бу-бу из-за стенки, потом смех. Ладно, думаю, не буду пугать молодёжь. Громко хлопаю дверью. Выходят оба из Тимуровой комнаты. Тимур красный, как рак, его дружок тоже. Ширинки застёгнуты. Немая сцена, только с настоящим ревизором.

Он красив, как царица Тамара, этот Гоша. Волосы смоляные короткие, брови густые с чуть удивлённым разлётом, глаза чернющие и такие большие, как у моего Тимура 16 лет назад в роддоме. Губы чуть припухшие и чуть приоткрытые,

как будто собирался сказать что-то, да замешкался. А сам статный, плечи широкие, как у мужчины, бёдра узкие и сильные, выше моего Тимура на голову. Вообще мой светловолосый, голубоглазый, худенький и хиленький Тимур рядом с ним выглядел таким несчастным, что хотелось обнять его и защитить от этой варварской красоты.

— Мам, у нас физру отменили, — врёт и не краснеет, — это Георгий.

Георгий кивает мне и шепчет что-то, смущённый моим пристальным взглядом.

— А я вот заболела что-то, мальчишки, — говорю быстро, быстро иду в свою комнату, чтобы не выдать себя, потому что понимаю, что срок ещё не настал.

Он скоро настанет, этот срок, я это знаю. Не может не настать, даже несмотря на все трагические последствия, но о них позже.

Лежу в кровати, кусаю подушку, чтобы не завывать. Так, наверное, воют звери, загнанные охотничьими собаками в угол. Так воют матери, которые понимают, что неисправимо, бесследно теряют своих сыновей и пока что ничего не могут с этим поделать. Все мои надежды, вся моя жертвенная жизнь, все мои мечты рушатся на глазах под восточной пятой красавца Георгия. Да что он вообще знает, этот Георгий, о материнских чувствах? Какое он вообще имеет право отнимать, попирать то, ради чего положено столько сил и жизни? Нервные клетки не восстанавливаются, все это прекрасно знают, но до нервных клеток матери никому никогда нет дела. Хотелось встать и пойти разрушить эту жестокую красоту, безразличную к чужим страданиям. Как некоторые вандалы обливали серной кислотой творения великих художников, так же и я чувствовала в себе потребность испортить, уничтожить навсегда то, что с таким равнодушием создала природа.

Но не время, не время, пока ещё не время. Нужно выяснить всё до конца, чтобы нанести один, но решающий удар.

Самое трудное время, конечно, наступило, когда мы превратились в бледного юношу с горящим взглядом. Волнения материнские не поддаются описанию. Во-первых, у нас наследственность. Один отец — уголовник, второй — педофил. Что получится из такой гремучей смеси, одному богу известно, но я старалась прикрыться со всех фронтов и тайком от мамы и Тимура ходила иногда в церковь, ставила свечку, чтобы оберёг и оградил от соблазнов и искушений (как потом выяснилось, от искушений оградил, а вот от соблазнов нет). Но если от Флейты мало что осталось, то как же он был похож на Тимура Первого! И внешне, и повадками, и манерой говорить. Иногда если злился на меня (что случалось довольно часто), то вставал так в дверях и смотрел. Я пугалась до смерти, мне казалось, что сейчас он голосом своего отца скажет фразу, которую я от него слышала: «Убью обеих. Бляди». Пугалась, но виду не подавала.

Если представить себе волнения членов Временного правительства в осаждённом Зимнем, то это будет тибетский монастырь по сравнению с тем, что пережила я. Каждый день кажется, что вот сегодня оно начнётся. Водка, наркотики, компании, приводы в милицию, незащищённый секс, СПИД, сифилис, использованные шприцы, наконец, тюрьма, перегляды соседей, сочувствие на работе и одинокая материнская старость. Всё это мы видели у других, и не раз, и это всё мне мерещилось в его прогулках после уроков, в продолжительных телефонных разговорах, в прогулах и вызовах в школу, в пятнах на простынях и в новой манере запираяться в своей комнате.

Потом. Я не сразу заметила, но как-то тихой сапой стала врагом номер один. Ему как будто установку спустили: всё делать наоборот. То есть, я понимаю конфликт отцов и де-

тей, но Базаровым и не снилось, что можно специально не опускать крышку унитаза и мыть жирную посуду исключительно холодной водой с той только целью, чтобы привести меня в бешенство. И эта цель достигалась каждый раз, вернее, практически ежедневно, потому что с моим темпераментом сложно удержаться от того, чтобы не кричать, когда твои просьбы систематически не исполняются.

Надо признать, что шприцы и разогретые на конфорке столовые ложки с подозрительными жидкостями так и не обнаружили в доме, хотя я уже и к ним была готова. Мои ненавязчивые, но регулярные напоминания о том, что наркотики — это яд, а улица таит в себе только смертельные опасности, привели к тому, что мальчик мой всё больше сидел дома с книжкой или часами болтался по микрорайону с соседским мальчиком Сенечкой и его собачкой (Сенечка — такой же тупой, как его спаниель, с такими же огромными ушами, но совершенно безобидный, я всё быстро выяснила). Но тем было обиднее домашнее противостояние. На лице высыпали прыщи, но было такое чувство, что и вместо мозга в голове у него вскочил один большой прыщ. На все мои просьбы о помощи, касались ли они походов в магазин или выноса мусорного ведра (в доме был мусоропровод, это так, к сведению), встречали в ответ только тупое разглядывание пола и мычание про то, что у него нет времени. Он был постоянно чем-то занят за закрытыми дверями! (Долго эти секреты продолжаться, разумеется, не могли. На стеклянной двери в его комнату был нарисован пейзаж: берёзка на зелёном фоне. Я быстро проковыряла дырочку в коре этой берёзки, что позволило мне понять, что занятость его по большей части заключается в лежании на диване с ногами на стене и чтением книг явно не из школьной программы).

Все мои попытки прорваться за эту берлинскую стену были не такими успешными, как подглядывание сквозь

берёзку. Если быть точным, они потерпели фиаско. Тимур либо вообще со мной не разговаривал, либо отвечал какими-то односложными бессмысленными междометиями, так что хотелось пристукнуть его, чтобы он заговорил живее, но он, к сожалению, слишком повзрослел для этого.

Куда? Куда, спрашивала я себя, подевался тот милый кудрявый мальчик, который обнимал меня за ногу и смотрел вопросительно, немного прикусив губу? Где тот ребёнок, который поверял мне свои страхи, свою детсадовскую любовь к Любе Марусевой, свое желание поскорее вырасти и купить мне лисью шубу? Да, так и говорил: «Мама, я вырасту, заработаю много денег и куплю тебе лисью шубу». И я верила ему. До сих пор жду свою шубу, но уж, верно, сдохли те лисы, из которых она должна быть пошита.

Но всё это можно было перетерпеть и пережить, потому что я понимала ведь тоже, что это переходный возраст и рано или поздно мы снова должны стать друзьями. Надо было только проплыть между всех сирен, циклопов, сцилл и харибд, чтобы пристать к гавани, в которой мой Тимур станет победителем, а я получу первый приз в виде счастливой семьи. И я думала уже, что гавань близка. Я чувствовала себя колумбовым матросом, который первый увидел землю, но я ошибалась, так же, как и тот матрос, ибо вместо Индии они приплыли совсем в другое место. Так было написано в Тимурином учебнике по географии. Но тут параллели с великой экспедицией заканчиваются, потому что туземец, ожидавший нас на этой земле, звался Георгием и вовсе не золото он предлагал мне, о нет.

Так, спокойно. Главное — это спокойствие, как говорил любимый Тимурин герой (когда у него ещё были герои).

Даже Шерлок Холмс наверняка пользовался техническими новинками своего времени, если таковые имели место. Он, конечно, не был матерью-одиночкой и не был так стеснён

в средствах, но у него, несомненно, были друзья, которые могли помочь в трудную минуту. Вспомнив старые забытые связи, я позвонила одному мужчине, с которым дружила много лет назад после развода с Флейтой, и попросила его одолжить мне на пару дней цифровой телефон с определителем номера. Я почему-то не сомневалась, что у него такой телефон был, и была на сто процентов уверена, что он мне не откажет.

Короткая встреча, ах, ты совсем не изменилась, а ты немало постарел, да, да, животик, но ничего, это признак успеха, чмоки, чмоки, большое спасибо, до скорого.

В тайне подключаю телефон у себя в комнате и жду. За первый вечер никакого урожая собрать не удалось, потому что Тимур проболтал три часа кряду с Сенечкой, с которым до этого только расстался. Но телефон Сенечки я и так давно вычислила по адресу, так что ничего нового он мне не принёс. Тимур, правда, пришёл спрашивать, отчего у нас гудки, как будто стоит АОН, так что пришлось изобразить святую простоту и заверить, что мне неизвестно даже, что это.

На день аппарат отключила и спрятала на антресоль, чтобы заранее не спалиться, а после работы установила снова. И вот: телефон Георгия у меня в кармане!

Дальше всё было делом техники. Позвонила на следующий вечер, пока Тимур болтался со спаниелем и его вислоухим хозяином: «Здравствуйте. Вы отец Георгия? Очень приятно. Надежда, мать Тимура, его приятеля. Он ничего не рассказывал? Очень странно, мне казалось, что мальчики давно общаются. Нет, нет, ничего пока не случилось, но необходимо поговорить. Нет, не по телефону. Да. Завтра удобно. В шесть. У метро».

И вот сидит передо мной Гоша, только на тридцать лет старше, на десять килограммов больше и с сединой в волосах. Очень представительный такой папа. Говорит по-русски чисто, но чувствуется, что мать его говорила с ним на другом

языке. Как у такого мужчины мог вырасти такой сын? Уму непостижимо.

Я, конечно, не рассказываю ему всего. Только выкладываю голые факты, которые мне удалось выяснить, намекая, что это южная кровь его сына завлекла моего бедного Тимура в дебри нестандартности. Гоша плюс тридцать слушает молча и без тени какой-либо эмоции, как будто я ему передаю результаты хоккейного матча Уругвай-Парагвай. Мне даже в какой-то момент становится неловко, но потом я вижу, что внутри у него что-то закипает, медленно, но с повышением градуса. Как если кипятить подсолнечное масло в кастрюле: оно вообще не будет подавать признаков жизни, пока вы чего-нибудь туда не опустите. Я не хотела оказаться тем самым куском, которым зашкварчит вся кастрюля, так что когда сказать было уже нечего, вежливо пожала ему руку и пустилась наутёк.

Мне предстоял другой разговор.

Я начала издалека. Спросила, как дела в школе, не нужна ли моя помощь и как вообще настроение. Он немного удивился такому интересу, отвечал, как всегда, на грани хамства. Но я эту грубость решила игнорировать. Спросила его, есть ли у него девушка, на что он изумлённо вскинул брови, посмотрел на меня внимательно, стушевался и покраснел. Так, думаю, сбили немного спесь, теперь можно приступать к главному.

— А что за отношения у вас с Георгием? — спрашиваю с абсолютно невинным видом.

— Ну, что за отношения, — мычит, — мы друзья.

— Так уж просто и друзья?

— Мама, — краснеет ещё больше, — что за вопросы, говорю же, просто друзья. А что ещё может быть?

— Не знаю, что ещё может быть, но мне кажется, это всё зашло слишком далеко и надо закругляться.

Молчит, смотрит.

— Да, — говорю. — Мне в доме не нужны такие выкрутасы и разные гомосексуальные, — чеканю это слово, смакую его, повторяю ещё раз для непонятливых, — го-мо-сек-су-аль-ные штучки.

— От-откуда ты знаешь? — заикается и чуть не давится котлетой.

— Мать всё знает, Тимур. У неё сердце прозорливое и чуткое, оно всегда спасёт своё дитя, если то пойдёт по неверной дорожке, — тут я распрямила грудь и посмотрела на него со значением.

Он встаёт, краснеет и начинает, так же заикаясь, бросать мне в лицо обвинения (мне! в лицо!). Ты шпионила за нами? Да как ты могла? Почему тебе до всего всегда дело? Почему ты везде мешаешься и никому никому не даёшь жить спокойно? Почему нельзя просто оставить меня в покое, в конце концов? Тебе что, жалко, что ли? Я, конечно, отвечаю ему, что я не для того его растила-кормила-одевала-ночей-не-спала, чтобы у меня вырос сын П (даже произносить это слово противно). И про университет ему говорю, и про министерство. Призываю одуматься и посмотреть в будущее, где нет места свободной любви, но зато есть место карьере. Но он, как и все последние годы, не слушает, совершенно меня не слушает. Всё, что я говорю, все мои доводы разбиваются о слепую уверенность, что все слова, слетающие с моего языка, — просто маразм и бред, чего бы они ни касались. Он кричит в ответ, что я хочу разбить ему жизнь, что я не мать, а шпионка, что он никогда не простит мне, если я буду снова вмешиваться в его личные дела. Как в детстве, когда он верещал, что не будет надевать майку с клоуном, потому что его засмеют, так же и теперь он не желал отказываться от своей преступной, порочной привязанности.

И так же, как и в детстве, терпению моему приходит конец, и я применяю силовые методы. Говорю ему, что встречалась

с родителями Гоши, что с ним тоже проведут работу и что больше они не увидятся под страхом заключения Гоши и Тимура в психиатрические клиники (откуда взялись эти клиники, не знаю, сорвались как-то с языка). Говорю ему, что он не выйдет никуда из дому в течение недели и что ему запрещается отныне пользоваться телефоном. Бесстрастно это всё выдаю, потому что понимаю — другого выхода нет. И что же делает Тимур? Он проходит в коридор, одевается и пытается выйти на лестницу. Я стою на его пути и заявляю, что он уйдёт только через мой труп, но он смотрит мне прямо в глаза, чего я не припомню за последние лет десять, и говорит так тихо, что снова напоминает мне того, другого, Тимура 16 лет назад: «Мама, отойди пожалуйста».

Когда за ним закрывается дверь, я сползаю по стене на пол прямо в коридоре и, уже никого не стесняясь, начинаю по-деревенски выть, причитать, жаловаться потолку и стенам на свою нелепую судьбу.

Потом он пропадает почти на неделю. Сижу на телефоне, обзваниваю морги и больницы. Есть три места, куда надо съездить на опознание, но что-то держит меня дома: ведь мальчик ушёл без ключей, а вдруг вернётся (мама на даче, и она по-прежнему не в курсе, так что помощи, как всегда, ноль). На третий день звоню Гоше и нарываюсь на его мать, которая начинает наезжать на меня с сильным южным акцентом: «Зачём вы эму сказали. Зачём нэ мнэ. Он убьот эго, просто убьот», — плачет она, как будто это моя, а не её вина, что её сын вырос таким недоразвитым. Бросаю трубку, понимая, что ничего тут не добьюсь. Хожу кругами по квартире, не сплю, не ем, только плачу и звоню, звоню без цели, потому что никуда не могу уехать. Ставлю себе срок — ещё два дня и поеду посмотреть трупы чьих-то чужих детей, среди которых может оказаться и мой Тимур. Тимур Завоеватель, проигравший собственную мать.

Потом он приходит, ложится на свой диван лицом к стене в чём был, даже не стянув ботинки, и проваливается в какую-то лихорадку, в которой валяется почти месяц. То есть даже лихорадкой это назвать сложно, потому что температуры нет, просто он лежит в сознательной коме (а ведь выпускной класс!!!) и не реагирует на внешние раздражители, то бишь на меня. Врач говорит, что переутомление, и нужен покой и почаще проветривать (а то, что на улице мороз, и можно схватить воспаление, это он забывает).

Я сижу рядом с ним, над ним, жду, проветриваю, вливаю в него куриный бульон, чуть не читаю ему сказки, потому что он снова стал таким беспомощным, как когда-то давно, когда болел ветрянкой. И мне кажется в какой-то момент, что вот она, та самая гавань, в которую мы плыли, только я чувствую, что счастье это какое-то неполное.

Через месяц он просто очнулся и вернулся в себя. Начал ходить в школу и готовиться к поступлению. Только на все мои вопросы стал отвечать уклончиво, но я и не особо спрашивала, боясь рецидива. Лишь бы поступил.

Ну а то, что Гоша выбросился со своего восьмого этажа и умер, не приходя в сознание, от травм, несовместимых с жизнью, я узнала позже, и не от Тимура. Болтливая продавщица в булочной рассказала. Я никогда не говорила с Тимуром об этой истории. Мне жаль, конечно, Гошу и его представительного папу, и его жалостливую маму с акцентом, но почему-то мне кажется, что если так предуготовано судьбой, то ничего тут не исправишь.

Литературно-художественно издание
Хазов-Кассиа Сергей Андреевич

Редактура Анна Болотова

Вёрстка Иван Степаненко

Оформление обложки Ирина Павликова

Фото на обложке Howard Sochurek,
Time & Life Pictures, Getty Images, Fotobank.ru

Kolonna publications

Подписано в печать 24.01.2017. Формат 84×108 1/32

Гарнитура Вильям. Печ. л. 15,8

Доп. тираж 300 экз. Заказ № D-302

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»
Ленинский проспект, д. 4, стр. 1 А, Москва, 119049

Тел.: (495) 926-63-96, info@bukivedi.com

www.bukivedi.com

Издательство Kolonna Publications и Митин журнал представляют

Александр Маркин

ДНЕВНИК 2002–2006

Меня интересуют морские змеи (хотя они почти не кусаются), мужская истерия, готические романы, травмы, землетрясения, сны и порнозвёзды. Я думаю, что по конstellациям порнозвёзд тоже можно раскрывать тайны.

Тони Дювер

ВЫСЛАННЫЙ

Роман Тони Дювера был написан во Франции, охваченной молодёжной революцией. И сама эта книга революционна. Дювер взорвал синтаксис и дал слово «высланным» — изгоям, которые прежде не имели права голоса. Персонажи романа — люди ночи, ищущие любви под парижскими мостами и на бульварах, мужчины, которым «слишком трудно хранить верность, если возле дома есть общественный туалет». Их голоса переплетаются, и все они рассказывают одну историю о похоти, которую невозможно утолить.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, — загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Герард Реве

ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ

С 1963 по 1980 гг. Герард Реве переписывался с врачом Яном Гротхёйзе, который помогал ему преодолеть депрессию, вести борьбу с Королём Алкоголем, лечил Реве и его милых мальчиков от различных недугов, а позднее стал психоаналитиком. Спиртное, религия и смерть — темы, которые доминируют в письмах Реве. Гротхёйзе опасался, что писатель наложит на себя руки, однако покончил с собой не пациент, а врач.

Франсуа Сантен

УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–2010) рассказывает запутанную историю казнённого в 1939 г. убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

Барон Корво

ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО

Впервые на русском языке публикуются сочинения славившегося своей эксцентричностью Фредерика Роуфа (1860–1913), в том числе знаменитые «Венецианские письма», посвящённые красоте каналов, гондол и юных гондольеров.

Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЁННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждёт новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнажённого меча на предплечье. Но началась ли война или это тёмные иррациональные силы испытывают рассудок героя?